ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПАМЯТНИКИ
РУССКОГО
БЫТА

Н. И. СВЕШНИКОВ

Воспоминания пропащего человека


ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПАМЯТНИКИ
русского
быта



Н. И. СВЕШНИКОВ

Воспоминания пропащего человека



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
С24

Оформление художника
А. Балашовой

Свешников, Н. И.

С24 Воспоминания пропащего человека / Вступ. ст. И. Владимирова. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2016. — 336 с. — (Литературные памятники русского быта).

ISBN 978-5-4224-1139-9

Н. И. Свешников (1839–1899) — бродячий торговец книгами второй половины XIX века, мемуарист и автор «Воспоминаний пропащего человека», являющихся ценным материалом по описанию быта городских низов.

«Петербургские книгопродавцы-апраксинцы и букинисты» — не менее важные мемуары, в которых подробно описывается книжная торговля Петербурга, сосредоточенная на Невском проспекте, в Апраксином дворе.

Также в данное издание вошел фрагмент воспоминаний Свешникова, обработанный Н. С. Лесковым, — «Спиридоны-повороты».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4224-1139-9

Это не европейский плутовской роман, это — русская жизнь

Автор, он же герой одной из множества историй и судеб, бывших на нашей земле, назвал свою жизнь «неумеренным житьем». Но такого состояния своего бытия Николай Иванович Свешников (1839–1899) достиг не сразу. Благодарная память возвращает его в золотую пору жизни — в детство, проведенное в отчем доме. Она же позволила автору «Воспоминаний...» дать подробнейшее описание мещанского дома на одной из центральных улиц города Углича, которое сделало бы честь исследователю-этнографу.

Отец Николая Свешникова занимался скупкой продукции крестьянской самодеятельности: холщовых тканей, выделанных шкур, предметов кустарного промысла с последующей перепродажей уже крупным торговцам. Его посредническая работа была связана с постоянными разъездами, и поэтому все домашние заботы лежали на женских плечах. «Крестная у нас была, что называется, краеугольный камень в доме: до ее смерти в доме у нас не терпелось никакой нужды, никто ни о чем не заботился, и как она справлялась и вела хозяйство, никто знать не хотел.

Пока она была жива, дом наш можно было назвать по-мещански полною чашей».

В возрасте 7 лет будущий автор уговорил «крестненькую» и мать отдать его в начальную школу. Учеба вначале шла ни шатко ни валко, но постепенно мальчик втянулся в учебу, к вящему удовлетворению домашних. Эпидемия холеры в 1848 году унесла жизнь крестной. Стала сильно болеть мать, через год умерла и она. Жизнь в доме разладилась, и отец, как это у нас бывает, стал выпивать.

В 1852 году отец отправил 13-летнего Николая в Петербург, где тот должен был начать свою трудовую деятельность в качестве мальчика при фуражечной лавке. Этот и последующий

периоды своей жизни Николаем Свешниковым описаны довольно подробно и живо. Мы даже можем сказать, что эта часть воспоминаний может служить своеобразной энциклопедией мелкой и уличной торговли середины XIX века. В людской стихии полно соблазнов, она насыщена людскими инстинктами не самого лучшего свойства. Опорой для недавнего провинциала может служить землячество, если нет родственников в чужом городе. В этом отношении подростку Свешникову повезло.

Следует отметить семейство Басаргиных, которые приняли большое участие в судьбе Николая Свешникова. В этом семействе книги были в большом почете, и давнее увлечение чтением получило новую поддержку. Впрочем, все это не смогло уберечь подростка от стремления казаться более взрослым и, соответственно, пороков, свойственных им. После некрасивой истории с покражей хозяйского добра и денег, рассказанной им с предельной откровенностью, юный Свешников вынужден был покинуть столицу. Такие путешествия Николая Свешникова, Петербург — Углич — Петербург, повторялись не раз и не два. По собственным подсчетам мемуариста, аресты и высылки в отношении его самого производились властями более десяти раз.

Уже во время второго своего приезда в Петербург Николай Свешников близко сошелся со славным племенем книжников-букинистов. Вот как он пишет: «Во время этой торговли картинами (лубочными листами. — *И. В.*) я познакомился с моим земляком, букинистом Серапионом Хорхориным. Как и прочие букинисты, он торговал с перекидными мешками, но торговал он не по господам, а преимущественно по рынкам, продавая и давая читать книги разным торговцам». После третьего возвращения в Петербург Николай Свешников начал свою уличную торговлю именно старыми книгами. «В апреле 1868 года я торговал у цепного Банковского моста. Торговля была недурна: покупки книг у разных лиц попадались хорошие и недорогие». Далее он рассказал о букинистической торговле «на ларях». То есть при помощи довольно громоздких деревянных переносных ящиков-ларей. Для размещения своих мобильных прилавков букинисты выкупали места у городской управы Петербурга. Увидеть, как выглядели эти лари, наши современники могут в Париже, где по берегам Сены торгуют до сего времени французские букинисты. Живописные фигуры книжных торговцев с древними ларями привносят в городской пейзаж Парижа существенную черту очарования, а также исправно служат непременным сюжетом для художников и сувенирных открыток. Мало того, один из этих парижских букинистов стал главным героем романа Жоржа Сименона «Господин с собачкой». В голову

закрадывается крамольная мысль, что, не случись Октябрьской революции, букинисты с ларями по набережным Мойки и Фонтанки дожили бы до сегодняшнего дня. И еще — относительно старый анекдот из девяностых о встрече столетнего жандарма с таким же старым университетским профессором, торгующим пирожками на улице. Жандарм спрашивает: «Ну что, когда ты студентом устраивал революцию, тебе царь-батюшка разве запрещал торговать пирожками?» Впрочем, свидетельствует Николай Свешников, лучшие места для книжных ларей были на Полицейском и Аничковом мостам.

Следующей ступенькой в карьере уличного букиниста была должность поставщика или распространителя книг какого-либо государственного учреждения — библиотеки или музея. Знаменитый дореволюционный букинист Клочков с гордостью носил звание комиссионера Императорской публичной библиотеки — главной библиотеки Российской державы, присвоенное ему в знак признания заслуг по розыску и доставке в эту библиотеку редчайших изданий. Другой питерский букинист исхитрился стать книжным комиссионером самого папы римского, к вящему неудовольствию и зависти коллег. К сожалению, эта традиция за годы советской власти куда-то улетучилась одновременно с уличными букинистами и их ларями. Вместо них возник толкучий книжный рынок, который годами милиция гоняла с большим энтузиазмом вверх и вниз по Кузнецкому Мосту, вплоть до проезда Художественного театра. Не помогло и назначение в книжно-бермудский треугольник «Пушкинская лавка» — Бук в Столешниках — «Книжная лавка писателей» матерого участкового с говорящей фамилией Пауков. Но любовь к книге неизменно возвращала москвичей и гостей столицы на прежнее место. На самом своем излете, в короткое правление генсека Андропова, советская власть покончила-таки с этим книжным безобразием. На улицу Жданова с обеих сторон Кузнецкого Моста пригнали две колонны автобусов, в которые невесть откуда взявшаяся туча людей в милицейской форме загнала всю книжную тусовку поголовно, прихватив для верности десяток-другой случайных прохожих. Куда их всех увезли, как долго где-то продержали и о чем с ними беседовали — осталось глухой тайной. Одновременно прошли обыски в домах «Бегемота», Новикова и прочих столбовых фигур книжного рынка. Практика облав на людей при свете дня была распространена на кинотеатры, магазины и даже бани, но это уже другая история. После означенных мероприятий Кузнецкий Мост с прилегающими переулками был навечно очищен от сомнительного вида личностей с книгами за пазухой, а сама советская власть,

предварительно накрывшись медным тазом, трансформировалось в некое «социально ориентированное государство».

Наконец и Николаю Свешникову представился случай подняться по социальной лестнице — он получил предложение стать комиссионером дирекции Педагогического музея и заняться продажей его изданий во время народных чтений, проводимых музеем. В его книжной деятельности помимо извлечения материальной выгоды появились и другие мотивации, чему он посвятил следующие строки: «...мне хотелось торговать не теми книгами, которыми обыкновенно торгуют владимирские офени. Я желал разносить издания Святейшего синода, Общества распространения религиозного просвещения, Комитета грамотности и другие популярные, но полезные книги. Я сознавал, что от этой торговли не может быть большой выгоды, но мне хотелось попробовать провести это полезное, по моему понятию, дело в провинции».

В мае 1877 года наступил новый этап в жизни «пропащего человека» — он отправился санитаром действующей армии на Балканский полуостров, где шла война за освобождение болгарского народа от Османского ига. За многие месяцы пребывания на театре военных действий Николай Свешников побывал во многих «горячих» точках, выполняя многотрудные обязанности военного санитара. С другой стороны, пребывание в организации, деятельность которой регламентировалась военной дисциплиной, животворно сказалось на финансовом благосостоянии Николая Свешникова. Он вернулся в Петербург, имея на руках солидный капитал в 500 рублей ассигнациями и золотыми монетами.

После того как ослабла хватка каждодневной нужды, у Николая Свешникова появилась возможность заняться писанием воспоминаний. Первый мемуарный опыт, послуживший центром организации последующих текстов, содержал описание злоключений автора во время административной высылки из Петербурга на родину, в Углич. Очерк изобиловал босяцко-уголовной лексикой, даны были описания Бутырской тюрьмы, допросов и прочих реалий, не известных большей части «непропащей» публики. Продолжение работы над воспоминаниями составило восемь тетрадей. С ними Свешников отправился к Антону Чехову, который описал этот визит в письме Алексею Суворину: «Сегодня у меня был бывший букинист Свешников. Оборван и в лаптях. Глаза ясные, лицо умное. Идет пешком в Петербург заняться прежним делом. Пить он бросил. У меня были его воспоминания, которые Вы видели. Помните?»[1]

---

[1] *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 12 т. Т. 3. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1976. С. 196.

Алексей Суворин, в свою очередь, отнесся к Сергею Шубинскому с тем, чтобы тот ознакомился с рукописью Свешникова, но Шубинский был в отъезде, и дело с публикацией отложилось до лучших времен.

Знаменитого тогда уже писателя Николая Лескова и «холодного» букиниста Николая Свешникова связывали давние тесные отношения. Это были вначале чисто коммерчески-книжные дела. Лесков, обладая неоспоримым писательским талантом, мнил себя еще и выдающимся библиофилом. Но не всякий писатель может быть библиофилом, поскольку для этого необходим особый талант. Обычных книг в громадной библиотеке Лескова не было, были только «редкие» книги, «исключительно редкие» книги и уже даже не книги, а что-то такое, именовавшееся «величайшей редкостью», которое в чужие руки не давалось, а только показывалось на безопасном расстоянии из своих рук. Мы можем полагать с изрядной долей уверенности, что большинством книг «исключительной» и «величайшей» редкости Лесков был обязан Свешникову, как и убежденностью в их феноменальной редкости. Мы далеки от мысли, что, выражаясь грубым языком книжных спекулянтов, Николай Иванович «втюхивал» или даже «впендюривал» Николаю Семеновичу обычные книги под маркой редких, приговаривая: «Редкость! Величайшая редкость! Берите, отдаю себе в убыток! Просто деньги нужны, потому как трубы горят!» Когда-то частый посетитель «Пушкинской лавки» Слава-телеграфист в подобных ситуациях вспоминал ныне полузабытого писателя Засодимского. Имея скромный опыт по части подобных словопрений, мы можем легко реконструировать давние разговоры, бывшие около полутора веков тому назад. Итак, к писателю Николаю Лескову пришел «холодный» букинист Николай Свешников.

— А книги где? — спросил Лесков.

— Книг сегодня нету (последняя книга была пропита месяц назад. — *И. В.*), зато есть рукопись, — ответил Свешников.

— Рукописи не покупаю, — сказал Лесков. — У меня своих рукописей — девать некуда.

— Да я не рукопись принес вам продать, а содержание этой рукописи. Содержание исключительной ценности.

— Неужели? — недоверчиво спросил Лесков и скосил глаз на пачку грязных листов с легким запашком немытой человеческой плоти.

— Истинный крест. — Свешников осенил себя широким крестным знамением.

— А вот что это за слово — «в-в» — «ве-ве» и это тоже — «ш-ш-ш»?

— Первое слово «вертухай», что означает надсмотрщик в тюрьме, второе — «шмон». От этого слова и «шмонать», что значит обыскивать. Вы не сумлевайтесь, Николай Семеныч: материалец высшего сорта, через нутро пропущенный. Да вы с вашим талантищем из него такой роман сконструируете, что все писатели земли русской от зависти передохнут!

— Да, это было бы неплохо, — вздохнул Лесков. — Завистников чересчур много развелось.

— Опосля того, как вы издадите новый ваш роман, у всей читающей и мыслящей России такие слова, как «вертухай» и «шмонать» станут самыми употребляемыми, а Достоевскому только и останется, что застрелиться.

Услыхав имя своего давнишнего обидчика, Лесков еще раз вздохнул:

— Сколько вы хотите за эту рукопись?

При этих, давно ожидаемых словах Свешников обрадовался, но не подал виду. Дальнейший разговор пошел по давно наезженной колее.

— А вы сколько дадите?

— Вы хозяин, вам и цену назначать.

— Я только с ценами на книги работал, а с ценой за рукопись, вам как писателю виднее. . . Сколько дадите — мы и тому будем радешеньки...

— Три рубля дам! — твердо сказал Лесков, так ни разу и не дотронувшись до рукописи.

— Три! Рубли!! Всего-то за все муки, пропущенные через нутро?! За все испытанные на собственной шкуре тычки и зауშеницы?! — возвысил голос Свешников. Потом схватил рукопись и, что было сил, прижал к собственной груди. — Три рубли! Вы шутите, Николай Семеныч! Дак я лучше порву да спалю в печке! — Он сделал вид, что собирается изорвать бумаги.

— Три рубля дам сейчас, а тридцать после того, как напечатаю, — еще тверже заявил Лесков. — По рукам?

Вид зелененькой бумажки, за которой в сознании всплывал графинчик с прозрачной живительной влагой почти полностью лишил Свешникова воли.

— Там у меня не только шмоны с вертухаями, а еще есть и сексоты. Николай Семеныч, добавили бы рублишко за сексотов.

— За сексотов не дам ни копейки. Сексотов себе оставьте. Извините, голубчик. Мне работать надо. — Хозяин стал выпроваживать посетителя.

Но разные мысли не оставляли Свешникова и на улице. «Три рубли сейчас, да еще тридцать потом — всего получается тридцать три рубли. И выходит, что я сам себя продал за

тридцать три...» Он не додумал эту мысль и завернул в ближайший кабак.

Рукопись, о которой идет речь, была опубликована Николаем Лесковым в слегка измененном и дополненном виде в толстом журнале «Русская мысль» под названием «Спиридоны-повороты»[1].

Публикация имела большой успех не только среди широкой читающей публики, но и в узкой профессиональной литературной среде. Это можно объяснить тем, что хотя тема каторги и ссылки была исчерпывающе освещена Сергеем Максимовым в капитальнейшем труде «Сибирь и каторга» и вознесена в заоблачную высь Федором Достоевским в «Записках из Мертвого дома», но вот пространство между условиями сомнительной свободы, в которых мы существовали, и тюрьмой / каторгой было мертвой или нейтральной зоной, никак не разработанной писателями. Это было пространство, которое есть одновременно зыбкая и незаметная грань, отделяющая русского человека от сумы и тюрьмы, в полном соответствии с вековечной народной мудростью.

Из литераторов по поводу этой публикации вполне определенное мнение высказал Глеб Успенский. Он посчитал, что данный очерк Свешникова вполне мог быть публикуем с указанием истинного автора произведения, что убрало бы оттенок некоей сомнительности от всей этой истории. Этот более чем благожелательный отзыв сыграл положительную роль в судьбе остальных рукописей Николая Свешникова. Издатель «Исторического вестника» Сергей Шубинский после отзыва Глеба Успенского и появившегося в 1892 году в суворинском «Новом времени» очерка Николая Свешникова о «Вяземской лавре» совсем по-другому взглянул на его труды и вошел с ним в рабочие взаимоотношения. В 1896 году Николай Свешников закончил написание основного корпуса «Воспоминаний...», затем они были отредактированы и напечатаны в знаменитом журнале «Исторический вестник».

В следующем, 1897 году в том же «Историческом вестнике» был напечатан очерк Свешникова «Петербургские книгопродавцы-апраксинцы и букинисты», упрочивший его репутацию внимательного и умного бытописателя. Читатели не должны удивляться тем сложностям, которые возникали на пути рукописей Николая Свешникова к страницам печатных изданий. Общепринятое суждение об описываемом нами времени,

---

[1] *Лесков Н. С.* Собрание сочинений: в 11 т. Т. 11. М.: Гос. изд. худ. лит., 1958. С. 429.

как наступившей эпохе всеобщей реакции в России, может быть истолковано и как тотальная зачистка духовного поля от неугодных, но уже состоявшихся, литераторах и всякого рода нарождавшихся в народе талантах, которые предполагалось уничтожать на корню, дабы сохранить в чистоте поле для последующего засева семенами французского символизма. Созданная попечением Брюсова и Гиппиус с Мережковским первая отечественная попса получила наименование Серебряного века.

Хлопоты видных литераторов по выпуску «Воспоминаний...» отдельной книгой в издательстве Ивана Сытина окончились безрезультатно, что не могло не отразиться на духовном здоровье Николая Свешникова. Рискнем высказать банальную мысль о том, что пьянство на Руси является только следствием тотального угнетения народа и высасывания средств из населения с помощью неподъемных налогов и поборов в виде разнообразных штрафов. В последние годы здоровье Николая Свешникова сильно пошатнулось, и в 1899 году он скончался в петербургской больнице. «...букинисты-библиографы были незаменимыми помощниками писателей и ученых в разыскивании нужных и часто редких книг»[1], — сказано в некрологе, напечатанном после кончины Николая Свешникова.

К этому тексту «Исторического вестника» необходимо добавить, что предельно искренние и живые воспоминания Николая Свешникова о своей жизни служат бесценным свидетельством в пользу утверждения Михаилом Лермонтовым того, что русский народ глубоко страдает, даже не осознавая всей глубины собственного страдания.

Первое издание отдельной книгой «Воспоминаний пропащего человека» было осуществлено в советское время издательством «Academia» в 1930 году прошлого века. Причем этот выбор издательство оправдывало тем, что автор был якобы причастен к некоему революционному кружку и был как-то допрошен жандармами. Таковы были тогдашние правила игры.

Игорь Владимиров

---

[1] Исторический вестник / Под ред. С. Н. Шубинского, А. С. Суворина. Петроград, № 8, 1899. С. 1056.



Воспоминания пропащего человека

Тяжелое, грустное, безвыходное положение. Все от меня отступились: и любимая женщина, и родные, и товарищи, и знакомые. Всем я, что называется, насолил. Меня называют эгоистом... но я не считаю этого эпитета ко мне подходящим, потому что, по моему разумению, эгоист — человек себя любящий... А между тем есть ли еще такой себе враг, как я?.. Нет! Хотя я и делал много подлостей перед своими ближними и благодетелями, но я не эгоист. У меня мягкое, доброе и жалостливое сердце. Я всегда готов похлопотать о другом или помочь другому, если у меня есть возможность... Меня называют пьяницей. Но я и не пьяница. Я так, что-то такое... какая-то бесхарактерность, не умеющая смотреть на жизнь как следует и не могущая перенести настоящего ее течения. Но я не хочу оправдываться: пускай другие как хотят, так и судят о моей неисправимости и порочных наклонностях, а я опишу только мою жизнь, не скрывая ничего из того, что в ней совершилось. Может быть, эта откровенная и тяжелая для меня исповедь принесет кому-нибудь пользу.

Глава первая

Мой отец. — Наш дом. — Крестная. — Дедушка Василий. — Поступление мое в школу. — Порядки тогдашних приходских и уездных училищ. — Историк города Углича Ф. Х. Киссель. — Кончина крестной и матери. — Подлекарь Петр Иванович и лекарка Елена Ивановна

Родился я в городе Угличе. Родители мои были мещане. Отец занимался холщевничаньем по ярмаркам и по базарам, то есть скупал у крестьян холст, пряжу, лен, пеньку, кожи и другие крестьянские произведения, и все это перепродавал — или на месте, или дома — более крупным торговцам. Жили мы сначала, как говорится, не бедно и не богато: роскоши у нас не было, но и нужды мы не терпели.

Дом у нас был на одной из больших улиц города, близ рынка, или, как у нас в городе называют — торга, хотя и не очень большой, но и не маленький. Такие дома теперь уже более не строятся. Он был двухэтажный, в шесть окон на улицу, имея низ каменный, а верх деревянный. В каждом этаже, на улицу, было по две равные комнаты, которые у нас назывались, по-тогдашнему, горницами. В верхнем этаже, кроме того, была еще отдельная комната (называемая светелкою) и кухня с небольшою горенкою, носившие у нас общее название стряпущей. Все эти помещения разделялись одно от другого большими сенями, имевшими с двух сторон по крыльцу. В сенях были устроены два чулана (в которых хранилась праздничная одежда, посуда

и другие вещи, редко требовавшиеся в нашем хозяйстве), лестница на чердак, называвшаяся у нас подволокою, и несколько стенных шкафчиков. На обширном дворе, обходившем вокруг всего дома, были построены два амбара, конюшни, коровники, ледник и баня; средину двора занимал небольшой ягодный сад, сбоку которого находился колодезь; за конюшнями и ледником, с левой стороны, до угла улицы, простирался узкий клинообразный огород.

Отец наш, впрочем, мало занимался хозяйством, и все домашние заботы и обязанности лежали на его матери, а нашей крестной: нашим же воспитанием занималась мать. Отец, приезжая домой с ярмарок, всегда почти на короткое время, дома ничего не делал.

Крестная у нас была, что называется, краеугольный камень в доме: до ее смерти в доме у нас не терпелось никакой нужды; никто ни о чем не заботился, и как она справлялась и вела хозяйство, никто знать не хотел: не знали мы вовсе и того, много ли, мало ли она брала от отца денег на расходы по хозяйству. Пока она была жива, дом наш можно было назвать по-мещански полной чашей: была у отца всегда добрая лошадка для его торговли, с полной летней и зимней упряжью, были даже немецкие, то есть легковые, лакированные, с полостью сани, которые, впрочем, употреблялись не более двух или трех раз в год — в Рождество и Масленицу: было по летам по две и по три коровы, из которых одну осенью постоянно закалывали и мясо ее солили для зимнего мясоеда; было также дюжины полторы кур, а огород всегда хорошо обработан, и из него на зиму запасалось довольное количество овощей и солений. Старушка крестная была очень трудолюбива, набожна и постница, то есть совсем не ела мясного. Она, по смерти своего мужа, нашего дедушки, оставшись еще очень молодой, не хотела в другой раз выходить замуж, а посвятила себя богомолью и воспитанию детей (кроме моего отца, у нее была еще дочь, которая была выдана замуж и умерла). Она ходила на богомолье к Соловецким чудотворцам, в Новгород, в Москву, в Киев, в Воронеж, в Почаев и прочие святые места, а дома, когда была возможность, никогда не пропускала службы божией. Трудолюбива же

она была настолько, что до самой смерти никогда не сидела без дела и, если у нее не было работы по хозяйству (а по хозяйству она все делала, и печку и баню топила, и за коровами ухаживала, и огород исправляла и только редко когда прихватывала поденщицу постирать, да полы помыть), вязала рукавицы. Кроме того, она держала нахлебников, именно: поверенных при питейных откупах.

Мать наша была из купеческого звания, грамотная, не глупая, но очень смирная женщина, почти никогда не входившая ни в какие домашние дела. С крестной, то есть со своей свекровью, она жила очень мирно, и я не помню, чтобы между ними происходила когда-нибудь хотя бы маленькая ссора, кроме тех случаев, когда дело касалось меня, как, например, мать за шалости захочет меня побить, а я бегу к крестной в стряпущую и прячусь за ее подолом.

Меня, как единственного наследника, опору и надежду семейства, любили и баловали более, чем сестер, которых у меня было две: одна старше меня, а другая младше. Особенно крестная, как говорится, души во мне не чаяла. Пойдет ли, бывало, за чем-нибудь на рынок, непременно принесет мне какой-нибудь гостинец, или если печет печиво (как у нас называлось вообще все, что делалось из пшеничной муки), то всегда испечет для меня или масляный колобок, или лепешку и пихнет мне в руку тихонечко от сестер. Но более всего крестная доставляла мне удовольствие своими рассказами: в длинные осенние и зимние вечера сидит она, бывало, за своей работою, а я пристану к ней: «Крестненькая, расскажи мне что-нибудь?» — «Да полно, дурачок, что я тебе буду рассказывать? Уж тебе рассказывала, рассказывала, да и говорить больше не знаю чего». Но я не отставал и настойчиво требовал, чтобы она рассказывала что-нибудь. И вот она, нередко в пятый или десятый раз, начнет мне рассказывать сказку или житие какого-нибудь святого. Хотя она была и неграмотная, но, любя слушать, как читают, и обладая хорошей памятью, знала много сказок, песен и житий угодников. Кроме того, она могла кое-что порассказать о нашествии Наполеона на Москву, чему была современницею, о ста-

ринном богатстве и обширности нашего города и о своих странствиях по другим городам и монастырям.

Из всего нашего семейства я более всех любил крестную, и привязанность моя к ней простиралась до того, что я почти не отставал от нее; пойдет ли она на Волгу за водой или в церковь, я всюду за ней: но более всего я любил ходить с нею к дедушке Василью.

Дедушка Василий был родной брат моей крестной и посаженый отец и опекун ее и моего отца. В молодости своей он торговал железным товаром и, кроме того, как поговаривали, давал деньги под проценты, чем и составил большой капитал. Но, овдовев, лет сорока пяти, он прекратил торговлю и посвятил себя исключительно богомолью. Он также много странствовал по монастырям и прочим святым местам России; а потом, когда сделался уже стариком, постоянно ходил на церковную службу в собор. У дедушки Василья был довольно хороший каменный дом на богатой Ярославской улице, с большим фруктовым и ягодным садом, с пчельником и громадным огородом, выходившим на набережную Волги. Летнее время он проводил так: вставал в третьем часу утра и шел в сад, где работал до заутрени, затем, когда ударяли в колокол, он шел в церковь, по окончании заутрени опять принимался за свою работу до ранней обедни; промежуток между ранней и поздней обедней он тоже проводил в саду или огороде, а по окончании поздней обедни шел трапезовать. Чаю он никогда не пил, а пил мяту или другую какую-нибудь траву, с медом из своих ульев: мясного он тоже ничего не ел с начала своего вдовства, а ел только то, что полагалось по уставам монастырским. После легкого обеда он постоянно отдыхал — летом в саду на дерновой скамейке, им самим устроенной, а зимой в своей горнице, стены которой походили на часовню, так как были увешаны и уставлены иконами: вся мебель состояла из узенькой кровати, с жесткою войлочною постелью, двух или трех скамеек по стенам, простых деревянных стульев и простого же стола с шкафчиком, в котором находились церковные книги, и ящиком, имевшим вверху десять отделений, где по порядку лежали серебряные монеты, начиная с пятачка и кончая талером,

т. е. полуторарублевиком: под этими же отделениями, внизу ящика, лежали кредитные билеты и золото. Через коридор, против его горницы, была кладовая, где хранилось около трехсот мешочков с медными деньгами. Отдохнув час или полтора после обеда, дедушка опять принимался за работу до вечерни; затем шел к вечерне, и если была всенощная, то и ко всенощной. В церкви, за каждою службою, он постоянно становился сзади правого клироса, против иконы спасителя, и молился очень усердно: на все тарелки во время церковного сбора подавал от пятачка до алтына (так называлась тогда у нас копейка), а по выходе из церкви, всегда почти последним, он оделял всех нищих по грошу. Мне же, когда я ходил в церковь с крестною и молился хорошо, при поздравлении его с праздником, всегда дарил серебряный пятачок, а когда худо молился, то — грош. На большие праздники — Рождество и Пасху — дедушка покупал целый воз муравленых горшочков, чашечек и кувшинчиков, которые насыпал пшеничною мукою, гречихою, пшеном и дарил всем приходившим к нему. Кроме того, он иногда оказывал бедным помощь, хотя и небольшую, на похороны и на свадьбы. Все свободное от работы время он проводил в чтении Божественного писания, а по ночам очень долго молился. Говорили также, что он носил на теле железные вериги.

Впрочем, говоря о благочестивой жизни дедушки, я должен сказать, что отец мой хотя наружно и почитал его и боялся до самой его смерти, но не особенно долюбливал, потому что, по рассказам отца, доставшийся ему при семейном разделе капитал в семь тысяч рублей перешел весь в руки дедушки, как опекуна, и из этого капитала разновременно получено было отцом моим только от трех до четырех тысяч, а остальные с процентами на капитал остались у дедушки. Некоторые подьячие предлагали отцу моему судиться с дедушкой и вытребовать с него на законном основании тысяч до двенадцати, т. е. весь капитал с процентами, потому что дедушка не брал никогда от отца никаких расписок в получении отцом от него наследства, верно рассчитывая, что отец не посмеет с ним тягаться. Отец, может быть, и решился бы просить через суд полного возвращения ему наследства, но крест-

ная этого не дозволила. «Если ты, Иванушка, — говорила ему крестная, — будешь судиться с батюшкой (так наши родители и сама крестная звали дедушку, потому что он был и ей отцом посаженым), то не будет тебе от меня божьего благословения». Отец мой, тоже воспитанный в благочестивых правилах, очень уважал свою мать и дорожил ее благословением.

Здесь кстати сказать несколько слов об отце моем. Он был красивый мужчина, высокого роста, статный и ловкий: любил повеселиться, попеть песни и до шестидесятилетнего возраста обладал превосходным тенором. По торговле он был хорошим знатоком своего дела и считался первостатейным торговцем. Характер у него был хороший, мягкий; но воля, как и у меня, слабая. При жизни крестной он всегда был у нее в повиновении, а когда женился во второй раз, то им владела мачеха. Прожив с двумя женами с лишком сорок лет, он, кажется, никогда не дрался, а это в нашем городе и доныне редкость. Имея уже около сорока лет, он никогда не осмеливался ослушаться крестной. Случалось нередко, что он выпивал и погуливал, но никогда, в каком бы ни был он ненормальном состоянии, при крестной ни с матерью, ни с кем бы то ни было не смел завести ссоры, а на все нотации крестной только отмалчивался. Так тихо и спокойно текла наша жизнь до 1848 года, когда холера похитила у нас крестную.

В 1846 году мне минуло семь лет, и я стал просить, чтобы меня отдали в школу. Меня сначала не пускали, говоря, что я еще мал (я действительно был очень маленького роста), что меня будут обижать мальчишки — мои товарищи, — притом же наступало очень холодное время, родители и крестная опасались, чтобы я не простудился: одним словом, меня жалели и не хотели еще отдавать учиться. Но я слушать ничего не хотел, плакал, капризничал и просился в школу. И вот, наконец, 1 ноября мы с крестной сначала сходили в церковь, отстояли обедню и отслужили молебен св. Козьме и Демьяну как молитвенникам о ниспослании Богом разумения, а потом крестная, запасшись десятком копеечных кренделей, повела меня в школу.

Придя в школу, я, как научили меня дома крестная и маменька, поклонился учителю в ноги, а крестная

поклонилась ему в пояс и, вручив в подарок принесенные крендели, просила его не оставить меня своею заботливостью, а главное — не дать в обиду моим товарищам. В первый же день меня поставили к так называемому форшту с буквами, довольно большого размера, наклеенными на папке, и я начал выкрикивать вместе с другими стоящими тут мальчиками: а, бе, ве и т. д. Первую строчку азбуки — шесть букв. На первый раз не скоро мне дались эти шесть букв, и почему — не знаю, но только я их зубрил целую неделю и едва одолел. С какою радостью, как сейчас помню, бежал я домой из школы, чтобы заявить о своем успехе. Я мечтал, что меня расхвалят и расцелуют, и, едва только вбежал в горницу, закричал: «Знаете ли, что я первую строчку совсем уж выучил!» Но мать сразу осадила меня словами: «Да ведь уж целую неделю учишься; пора одну-то строчку и выучить». Хотя я был и мал, но мне стало стыдно, что я похвастал так некстати. Крестная же, по обыкновению, расхвалила меня, погладила, поцеловала в головку и дала масляный сочень. В первом приходском классе учение наше ограничивалось только букварем, начатками православного учения и писанием палок.

Мало помню я теперь из первого года моего учения, не помню даже, выучился ли я там хоть сколько-нибудь читать, а писать, кажется, и палок не начинал. Но я помню очень хорошо, что розги у нас в то время очень часто пускались в ход и ученики друг дружку пороли с каким-то удовольствием. Как только бывало учитель скажет, что такого-то нужно выпороть, то непременно человек пять сломя голову бегут за розгами. Хотя мне в этом классе не приходилось еще пробовать розог и не удавалось никого сечь, но один раз я вздумал дома похвастаться, что сек товарища, и, придя из школы, сказал:

— Маменька, нонче одного у нас секли, я побежал, схватил розги, да так его нахлестал, даже до крови, четыре мальчишки его держали, насилу сдержали.

— Ах, ты, мерзавец, ах, ты, дурак! Да как ты осмелился? Вот возьму я сейчас хороший ремень да задам самому тебе такую порку, что ты у меня с неделю не сядешь.

Долго она меня бранила и усовещевала... Помню, что она меня сравнивала с палачом...

И я понял, что нехорошим делом похвастался, но уже не захотел сознаться, что солгал.

Хотя я и не очень успешно учился в первом приходском классе, но на экзамене все-таки попал к переводке во второй приходский класс. Этот класс и три уездных находились почти против нашего дома. Смотритель и учителя, жившие в училище, все хорошо знали наше семейство, потому что крестная продавала им молоко и яйца, а иногда, ради меня, и дарила. Но мое ученье и тут шло не блестящим образом. «Начальное чтение» и «Друг детей» я еще почитывал порядочно, потому что разные анекдоты и мелкие повести меня занимали; арифметика также шла у меня не совсем дурно, но чистописание и Закон Божий мне вовсе не давались; я помню, что два месяца твердил наизусть второй член Символа веры, но как только священник начинал меня спрашивать, то я непременно забывал его и сбивался. Отец Петр, так звали законоучителя, не раз собирался меня выпороть; но пороли ли меня в этом классе или нет, я теперь уже забыл.

С переходом в уездное училище я стал учиться прилежнее, потому что преподаваемые там предметы меня более интересовали; только чистописание и рисование были моими нелюбимыми предметами, и, несмотря на то что учитель этих предметов был очень строгий и на его уроках мне не раз приходилось попробовать розог, я все-таки до конца учения был самым худым учеником у него. Зато русская история, преподаваемая учителем и историком нашего города Ф. Х. Кисселем[1], была моим любимым предметом именно вследствие того, что покойный Федор Харитонович очень редко заставлял нас зубрить «Краткое руководство» Устрялова и большею частью сам, в продолжение всего урока, ходя взад и вперед по классу,

---

[1] Федор Харитонович Киссель, учитель истории и географии в нашем училище, составил очень недурную и подробную историю нашего города, изданную в сороковых годах в Ярославле, которую я в детстве еще прочел с большим интересом, но затем, во всю долголетнюю мою практику по книжной торговле в Петербурге, я только один раз встретил эту книгу у покойного моего товарища Гумбольдта; после же, как мне ни хотелось приобрести ее для себя, я не мог найти. — *Здесь и далее примеч. Н. И. Свешникова.*

рассказывал нам историю гораздо подробнее и проще, чем она излагалась в учебниках.

В рассказах из географии он тоже не ограничивался одним перечислением границ, рек, морей и т. п., но обращал внимание учеников на экономическую и промышленную жизнь народов, на их обычаи, нравы и т. п.

В первом уездном классе я учился настолько хорошо, что переведен был во второй с похвальным листом.

В это время, именно в 1848 году, у нас в городе появилась довольно сильная холера, которая сразила краеугольный камень нашего дома: дорогую нам всем и незаменимую нашу крестную. Мать моя около этого времени тоже сильно захворала, а со смертию крестной совсем свалилась и, пролежав целый год в постели, отдала также душу Богу.

Отец же, частью от горя, частью оттого, что не видел уже над собою власти, стал чаще выпивать, и потому наше хозяйство и наш дом начали приходить в упадок. Много денег было потрачено на лечение матери; отец впоследствии рассказывал, что по смерти крестной у него было восемьсот рублей денег (положим, что тогда у нас деньги считались на ассигнации, но и на ассигнации, по тогдашнему времени, в нашем городе, эта сумма составляла чуть не капитал), а когда умерла мать, то на похороны ее пришлось занимать денег. Кроме того, покойница, во время своей болезни, на лечение, перезаложила почти все свое приданое.

Лечили мать несколько человек: сначала подпекарь Петр Иванович, потом лекарка Елена Ивановна, потом городской доктор, а потом какой-то приезжий военный врач, который прямо объявил старшей сестре, что вылечить больную очень трудно, почти невозможно.

Лечение Петра Ивановича и Елены Ивановны, насколько я помню, было таково: придет Петр Иванович (он ходил почти ежедневно, а когда матери было очень худо, то и два раза в день) и непременно принесет с собой стклянку какой-нибудь микстуры; есть ли какая перемена в больной или нет, он непременно настаивал, чтобы его микстура аккуратно выпивалась, каждый раз уверял, что с этого раза больная непременно поправится. Затем Петр Ивано-

вич рассаживался около постели больной, принимался, по приглашению матери, за постоянно выставленный к его приходу графинчик с очищенной, соленые рыжики и отварные белые грибки и начинал рассказывать больной что-нибудь из своей многолетней практики или городские новости. Беседу эту он постоянно продолжал до тех пор, пока в графине не оставалось ни одной рюмки, а на тарелках — ни одного грибка. После этого он еще раз уверял больную, что она должна непременно поправиться, и, получив свой полтинник гонорара, уходил до другого дня. На другой день он являлся также с заранее приготовленным лекарством, и совершалась та же церемония. Кроме получаемых им полтинников за визит, мать еще дарила ему и его жене некоторые свои вещи. Елена Ивановна, напротив, никогда не лечила микстурами; она постоянно приносила с собой разные спирты и мази для натирания. Во время бесед с больной она не употребляла очищенной и не уважала соленья, как Петр Иванович; но для нее ставили самоварчик, приносили моченой брусники с яблоками, кренделей, сладенькой водочки, а иногда и варенья. Эти два врача лечили нашу больную зачастую одновременно тот и другой, но они никогда не сходились вместе, и от них старались скрывать их одновременное лечение. Сколько получала Елена Ивановна за свои лекарства и визиты, не знаю; знаю только, что как от микстур Петра Ивановича, так и от ее мазей наша больная нисколько не поправлялась.

Как ни была больна мать, но она все-таки заботилась о моем ученье, часто просматривала мои уроки, заставляла при себе читать, поправляла неправильно произносимые слова, а уроки Священной истории поясняла своими рассказами.

Глава вторая

Последствия кончины матери. — Постоянные отлучки отца. — Хозяйство сестры. — Невыгодная отдача внаймы дома. — Нужда. — Замужество сестры и женитьба отца. — Мачеха и ее влияние на отца. — Окончание мною учения. — Отправление меня в Петербург. — Зять. —

Поступление мальчиком в фуражечный ларь. — Первое разочарование. — Отказ от места. — Неласковый прием у сестры. — Семья Басаргиных

Со смертью матери наше семейное благосостояние совершенно исчезло. Отец гораздо меньше стал жить дома; почти все время он находился в отъезде и только недели через две-три приезжал домой и, пробыв день или два, опять уезжал. Выпивать он начал уже не временно, как прежде, а почти постоянно. Хозяйкою у нас сделалась старшая моя сестра, которой было еще только четырнадцать лет. Отец, уезжая куда-нибудь на базар или ярмарку, постоянно уверял, что скоро приедет, и потому оставлял на семейные расходы очень мало: нередко случалось, что мы должны были с полтинником, а иногда и с четвертаком жить по неделе и по две. Хотя сестра моя тоже работала у квартировавшей у нас в доме модистки, но в то время женские работы ценились чересчур дешево; она получала только гривенник в день. Поэтому как ни дешева тогда была жизнь, но все-таки мы, привыкшие с детства к беленькому кусочку хлеба и к чаю (чай у нас в городе тогда был роскошью: в мещанских семьях его редко пили, да и в иных купеческих семьях пили только по одному разу в день, притом же в то время чай и сахар были гораздо дороже, чем теперь), мы не могли довольствоваться оставляемыми отцом деньгами и сестриным заработком, вследствие чего нередко случалось, что сестра моя, достав из чулана какую-нибудь вещичку, которая совсем в хозяйстве не употреблялась, посылала меня продавать на рынок, а так как ни она, ни я не могли еще знать цены вещам, то я и продавал за то, что дадут.

С переходом во второй уездный класс я стал учиться хуже, во-первых, потому, что за моим ученьем уже некому было следить, во-вторых, потому, что мне уже не покупали нужных в этом классе учебников; по некоторым предметам я мог прочитывать урок только в классе, взяв книгу у кого-нибудь из товарищей.

Так прошло более полутора года: я уже перешел в третий уездный класс и с горем пополам доучивался, де-

лая успехи только в арифметике, и смело могу сказать, что самые трудные задачи по этому предмету никто из моих товарищей не мог так скоро и верно решать, как я.

Отец в это время сдал более половины дома внаймы на десять лет одному нашему родственнику, имевшему пряничную и саечную торговлю, за сто шестнадцать рублей. И эта ничтожная сумма частью была засчитана за старый долг отца, частью рассрочена на несколько лет. Эта разорительная сделка, тяготившая нас много лет, была устроена отцом, как он сам выражался, с пьяных глаз и под влиянием неотразимой нужды.

Впрочем, я должен сознаться, что эта сделка мне тогда нравилась, потому что, вследствие переселения новых жильцов, в нижнем этаже нашего дома, состоявшем из двух небольших и низеньких комнат, устроился пряничный и саечный курень; а я, будучи небольшой охотник до детских игр и гулянья, все свободное от ученья время проводил там, пособляя работать пряники, крендели и сайки, где и бывал сыт. Бедность наша в то время так была велика, что сестра иногда потаскивала из куреня муку и потихоньку пекла пресное пекиво.

В феврале 1851 года у нас состоялось две свадьбы: сначала выдали сестру, а потом женился отец. Свадьбы эти могли состояться только вследствие помощи наших родственников, которые жертвовали вещами и деньгами, кто сколько мог, на приданое сестре и на свадьбу отца.

Новая хозяйка нашего дома, мачеха, как более опытная, повела хозяйство несколько лучше, чем оно велось при сестре. Притом, имея хороший характер, она своим влиянием на отца заставила его несколько образумиться, он перестал пьянствовать, поусерднее принялся за дело, и жизнь наша до некоторой степени поправилась; мы не голодали уже так, как это случалось во время его вдовства.

Вначале мачеха хотя и не обижала меня, но все-таки не так любила, как младшую мою сестру: она часто насмехалась надо мною, называя меня тюфяком, толстомясым и наседкою, потому что я действительно был не похож на моих сверстников: в зимнее время, исключая школы, я почти совсем не выходил на улицу и все время

проводил или в курене, или сидел на лежанке, поджав под себя ноги, за какою-нибудь книгою.

В июне того же года я кончил курс уездного училища, а через девять месяцев меня решили отправить в Петербург.

В марте 1852 года начались мои сборы в Петербург. Сшили мне, помню, суконный тулуп, казинетовую сибирку, сапоги и несколько пар белья. Отец, уезжая на ярмарку, благословил меня кипарисным распятием и наделил какою-то серебряною монетою на дорогу. Накануне отъезда я пошел прощаться с родственниками, которые также давали мне по нескольку копеек на дорогу, а дедушка Василий из своей кассы, т. е. описанного раньше стола, отсчитал мне двадцать пять серебряных пятачков и приказал, чтобы этих денег хватило на всю дорогу до Питера. Наконец, 17 марта, мачеха накупила мне на дорогу саек, баранок и неизбежное дорожное лакомство, покупаемое тогда всем вообще отправляющимся в Петербург мальчикам, — берестяной бурак с красным медом, благословила меня хлебом-солью и отправила в Петербург на протяжных, проводив сама далеко за город.

Расставаясь первый раз с родиной, я не особенно грустил по ней, во-первых, потому, что, по рассказам всех наших родственников и знакомых, Петербург представлялся мне каким-то золотым царством, где люди не живут, а блаженствуют; у меня не было и в мыслях, что там могут существовать нужда, бедность и горе, так как об этом мне никто не рассказывал, а говорили только, что там и нищие никогда не бывают без белого хлеба и без чаю или кофе, которых в нашем городе далеко не всем жителям, как я знал, приходилось видеть и в праздники, а во-вторых, потому, что на родине я уже мало был к кому привязан: старшая сестра, выйдя замуж, уже более года жила с мужем в Петербурге, и я рассчитывал, что буду видеться с нею.

Извозчик, взявшийся доставить меня и еще одного мальчика, моего товарища по школе, в Петербург, был наш угличский купец. Он был собственно лодочник, имел две лодки, так называемые тихвинки, и занимался перевозкою на них разного груза с реки Свири до Петербурга.

Он ездил туда ежегодно весною на своей лошади, что и называлось тогда «на протяжных», т. е. на бессменных.

От Вышнего Волочка мы должны были ехать по шоссе, и тут нам пришлось вследствие начавшегося теплого времени оставить сани и купить телегу, что и задержало нас на два дня, в которые я бродил по городу и особенно любовался рекою Цной, которая там выложена гранитом. Дальнейшее наше путешествие до Петербурга не представляло ничего интересного; останавливались мы в разных селах и городах лишь на столько времени, чтобы накормить лошадь и самим отдохнуть. Только в Новгороде, в Страстную субботу, мне пришлось побывать в Софийском соборе и в первый раз увидеть архиерейское богослужение. Останавливаясь на постоялых дворах на ночлег или днем, для отдыха лошади, мы пили чай или обедали, за что и платили, за обед копеек пятнадцать, а за чай копеек шесть или семь.

Наконец, 3 апреля, в среду на Пасхе, прибыли мы в Петербург и остановились на Калашниковой пристани. Харлампий Алексеевич, так звали нашего извозчика, в тот же день повел меня к сестре. Муж моей сестры был мясник и торговал на Сенной площади в так называемых номерах, то есть деревянных ларях, сдававшихся от города на каждые полгода, а квартировали они в Спасском переулке. Впрочем, приезд мой был не особенно вовремя: зять в то время попал в какие-то неприятности по торговле и должен был скрываться, вследствие чего я и застал только одну сестру, а о зяте она сказала, что он уехал в Финляндию. Но дня через два она повела меня в гости к нашим землякам, и там я увидел зятя, скрывавшегося от розысков полиции на антресолях. Еще через день мои родные переехали на Черную речку, летнее место торгов моего зятя, а меня, в понедельник на Фоминой неделе, по рекомендации земляка отдали в мальчики в фуражечный ларь на Апраксином дворе.

Слыша раньше рассказы только о великолепии и богатстве Петербурга, я не мог себе представить, чтобы в Петербурге существовал такой рынок, каков был в то время Апраксин двор. Грязные, маленькие ларьки, сколоченные вплотную один с другим, с самыми узенькими

проходами между ними, казались мне скорее какими-то клетками, нежели настоящими торговыми лавками. Я, мечтавший при отправлении в Петербург попасть в какой-нибудь богатый магазин в Гостином дворе или на Невском проспекте и воображавший, что буду жить в хорошей и чистой квартире, горько разочаровался, когда очутился в маленькой фуражечной лавчонке и в квартире, помещавшейся буквально на чердаке одного из больших апраксинских домов. Хотя хозяин мой был человек далеко не бедный — у него было три фуражечных ларя и кладовая с суровским товаром, — жил, можно сказать, очень серо. Притом же хозяин и некоторые приказчики были староверы, и я, с детства еще наученный родными смотреть на них как на отступников православной церкви, их невзлюбил. Все это вместе, и мизерность лавки, и мелочность самой торговли, и серенькая жизнь на квартире, до того мне не нравились, что я неохотно принимался за каждое дело; я или отнекивался от дела неуменьем, или делал вид, что не замечал его. Главное дело, лежавшее на моей обязанности по лавке, было зазыванье и затаскиванье покупателей, но я так был несмел, что никак не мог к этому привыкнуть. Отчего, не могу уже теперь объяснить, но только помню, что мне было как-то стыдно очень нахваливать свой товар и навязываться с ним; а когда я видел, что покупателя нужно было насильно тащить от других в свою лавку, то я, большей частью, если этого не видел хозяин или приказчики, отходил от него и делал вид, будто не приметил его; за это, конечно, мне несколько раз перепадали внушительные крепкие слова, тумаки и потасовки, но и этот способ исправления на меня мало действовал, и я все-таки оставался плохим мастером по части зазыванья. К тому же, по рекомендации одного московского фабриканта, комиссии которого мой хозяин исполнял, был прислан вслед за мной еще мальчик, вследствие чего через пять недель мне отказали.

Я отправился на Черную речку, надеясь найти там зятя уже торгующим и попросить его пристроить меня к себе в мясники; но я нашел только одну сестру, а зятя не было. Приход мой сильно огорчил сестру; она крепко меня

ругала за то, что я не умел служить и мне отказали; когда же я, желая похвастать и получше оправдаться, сказал, что мне не отказывали, а я сам отошел, то она еще более рассердилась и закричала:

— Ах, ты, дрянь мальчишка! И ты смел еще отказываться, жаль, что я раньше не могла сходить к хозяину... и если бы только услыхала, что ты не хочешь служить, то я непременно попросила бы хозяина хорошенько выпороть тебя, да так, что ты и не подумал бы отказываться.

Конечно, вследствие такого приема, мне было очень неловко жить у сестры, и я уже начинал тосковать по родине; хотя тоски этой я не смел выразить, но мне хотелось, чтобы представился какой-нибудь случай для возвращения обратно в Углич. Зятя я не видал и не знал, где он, потому что, на вопрос мой о нем, сестра только огрызнулась и сказала, что его нет и не скоро приедет; но я все-таки понял, что происходит нечто неладное. Прошло дней пять, а зять все не являлся, спрашивать о нем у сестры я более не смел, видя ее постоянно огорченною и часто плачущею. Однажды сестра, отправляясь в город, взяла меня с собой и привела в Пустой рынок к нашим дальним родственникам и оставила там. Добрые и хорошие это были люди — Иван Онисифорович и Анна Петровна Басаргины. Приняли они меня, как близкого родного, и я прожил у них более двух месяцев. Иван Онисифорович хотя и занимал очень невысокую должность — он был не более как рыночный сторож, — был человек очень неглупый и довольно начитанный; у него стоял довольно порядочный сундук с книгами преимущественно исторического содержания и русские романы, которые, впрочем, он очень берег и мало кому давал читать; зато он любил и, можно сказать, умел рассказывать прочитанное. Так как они держали порядочную квартиру, и у них было много жильцов — торговцев того же рынка, то у нас не проходил ни один обед, ни один чай без того, чтобы Иван Онисифорович не вел с кем-либо литературного разговора; особенно он любил потолковать по части истории. Иван Онисифорович меня лично не обижал, но мне приходилось слышать, как он гневался на сестру за то, что та оставила меня у них дня

на два или на три, а теперь и не думает взять к себе; хотя я был еще и не велик, но все-таки эти упреки кололи мое сердце: мне от них делалось еще грустнее, и я все более тосковал по родине. Зато Анна Петровна настолько была сердобольна, что ее можно было назвать воплощенной добротой. Она в таких случаях постоянно говорила:

— Ну, полно, Иван Онисифорович, у нее теперь и так горе, да чтобы ей еще с ним возиться. Бог с ним, ведь он нас не объест, у нас есть свой сын, неизвестно, что с ним может случиться; нас не будет, так и его добрые люди не оставят.

Сердце ее было — вещун... Здесь, кстати, скажу несколько слов об их сыне, этом замечательном талантливом, но погибшем человеке.

Василий Иванович, или Вася, как мы его постоянно звали, в детстве был отдан в приходскую школу, превосходно выучился читать и писать, но так как отец решил приготовить из него торговца, то на двенадцатом году взял его из училища и отдал в Гостиный двор в мебельный магазин в мальчики. Прослужив определенное число лет мальчиком, Вася оставался тут еще два года или три приказчиком, но потом почему-то был отказан. В то время, когда я поселился у Басаргиных на житье и узнал его, Вася уже был без дела и проживал у родителей. Он так же, как и его отец, любил много читать, но еще более любил писать стихи, которые действительно были хороши: это были большею частью своеобразные сатиры, писанные преимущественно на своих собратов по торговле, на гостинодворских хозяев и приказчиков; но они были до того метко, толково и складно написаны, что все удивлялись его способности.

В 1853 году от свирепствовавшей тогда в Петербурге холеры Вася в один день лишился своих родителей; не захотев взять доставшуюся ему по наследству должность рыночного сторожа, он продал ее за двести рублей и, распродав также оставшиеся после родителей разные вещи и хозяйственные принадлежности, начал порядком погуливать и скоро прокутил все денежки. После этого он записался в канониры, на учреждавшуюся тогда при Балтийском флоте канонирскую флотилию. Прослужив тут

несколько месяцев до распущения флотилии, он с моим зятем, тогда уже выпутавшимся из беды, уехал на родину, где у него также оставалось наследство: дом и земля. В Угличе Вася влюбился в сестру моего зятя, девушку действительно замечательной красоты и очень неглупую и образованную по своему званию и кругу, впоследствии жившую в Петербурге и сделавшуюся барыней. Но Екатерина Алексеевна, так звали сестру моего зятя, не ответила на любовь Василия Ивановича, и как он ни старался понравиться ей, хотя был хорош умом и наружностью, и сколько он ей ни писал посланий и в прозе и в стихах — все-таки не мог возбудить в ней ответного чувства. С горя Вася продал свои наследственные дом и землю и ушел в ратники. В ратниках он служил очень счастливо; в скором времени по поступлении его назначили ротным писарем и произвели в чин урядника, но служба не исправила уже укоренившегося в нем пристрастия к пьянству. По выходе из ратников он недолгое время проболтался в Угличе без дела, а потом продался в солдаты, где также служил в канцелярии и несколько раз получал галуны, которые у него за пьянство снимали; а потом года через три-четыре он исчез, и до сих пор никто не знает, жив он или нет.

Глава третья

Поступление мальчиком в свечную лавку. — Мои обязанности. — Торговля моего хозяина. — Горячка с покупкой золота и серебра. — Банковский кассир. — Первое покушение. — Первая кража. — Нравственные мучения. — Вторая и последующие кражи. — Костя. — Пьянство. — Потасовка. — Исчезновение из лавки. — Скитание по улицам. — Кража через окно. — Сознание трактирщику. — Безобразия. — Ночь в санях. — Неожиданная встреча с хозяином в банке. — Расправа в лавке. — Расчет с хозяином. — Приют у дворников. — Донос

Я прожил у своих благодетелей Басаргиных с лишком два месяца, а потом они пристроили меня в мальчики в свечную и меняльную лавку в Чернышевом переулке.

Лавка эта была очень небольшая, и торговали в ней только хозяин, приказчик и я. Семейство хозяина, жившее на квартире, состояло из старухи, матери хозяина, и двух девиц, его сестер. Работа моя на квартире состояла в следующем: встав в шесть часов, я должен был поставить самовар для хозяев, вынести помои, затопить печи и перемыть посуду, а по воскресным дням меня оставляли на квартире до обеда для того, чтобы наколоть и наносить дров на неделю. В лавке, первое время, я был только на посылках — ходил в банк и к другим менялам обменивать деньги, относил покупателям товар, ходил с требованиями на заводы и в склады и т. д.

По поступлении моем на это место в мальчики я первые два года жил относительно хорошо. Помня еще наставления моих родителей, что воровство всегда влечет за собой наказание и стыд и срам перед людьми и что, наконец, по пословице — вор ворует не для прибыли, а для своей погибели, я два года не попользовался ни одной копейкою, хотя у нас выручка никогда не запиралась, а денег в ней постоянно находилось более тысячи рублей, которые проверялись очень редко и то приблизительно, потому что, как я раньше объяснил, у нас вместе со свечной торговлею была и меняльная. Я слыхал от старых служак-приказчиков наставление, что для мальчика, желающего выйти в люди, необходимо соблюдать три правила, заключающиеся в следующем: перед хозяином быть честным, т. е. ничего не красть; на приказчиков никогда не жаловаться и не ябедничать хозяину, что бы они ни делали; и стараться услужить кухарке. Насколько эти правила были справедливы и честны, я не берусь решать, но все-таки должен сказать, что для мальчика, желающего выйти в люди, они были небесполезны в то время. Строго выполняя первое из этих правил, я крепко держался и второго: на приказчика никогда не ябедничал, хотя и знал за ним кое-какие грешки; зато и приказчик кое-какие мои беды — когда разолью что или разобью, большею частию скрывал от хозяина. Что касается третьего правила, то оно было для меня лишнее, так как у нас кухарки не было и мне приходилось прислуживать на кухне самой хозяйке.

Впрочем, для меня эти два года были довольно трудные; я буквально ходил в сапогах без подошв на одних портянках, и это в осеннюю и зимнюю слякоть, когда невозможно было ступить на улице, чтобы не обмочить ноги по моклышку; а я до Рождества, когда бывает темное время и вообще хорошая торговля в свечных лавках, должен был целый день (иногда не удавалось даже пообедать и попить чаю) разносить и развозить на санках, или, как у нас называли, на чуньках, покупателям товар; тринадцати и четырнадцати лет я уже носил на спине пятипудовые ящики, а на голове меня заставляли относить такие ноши, в которых было более чем два пуда, и их приходилось иногда тащить в Сергиевскую или на Васильевский остров. Бывало, когда снимешь корзину и поставишь на что-нибудь, чтобы отдохнуть, то минут пять или десять нельзя ни голову повернуть, ни спину разогнуть. Но я ни разу не простуживался и ничем никогда не хворал. Несмотря на такие трудности, я в эти два года относился к делу хорошо: хотя я был и не из бойких и не без лени, но все-таки первое время мне было не совсем дурно; положим, нельзя сказать, чтобы хозяева меня любили, но они не обижали. Одно для меня было неприятно: я сильно скучал по родине, и мне ужасно хотелось возвратиться в свой родной Углич. Насколько была трудна наша торговля в зимнее время, настолько летом было хорошо. Летом торговля была маленькая, свечи и масло мало требовались (тогда керосина еще не существовало); притом же и хозяин наш, исполнявший должность десятника или помощника браковщика на поташном буяне, ежедневно, кроме праздников, обязан был ходить на службу и возвращался в лавку только к вечеру, вследствие чего у нас с приказчиком было и работы мало и воли много, а под словом «воля» мы разумели то время, когда хозяина в лавке не было. Без хозяина, бывало, мы и пирожками позавтракаем, и чайку со сливками напьемся, и ягодок или яблочков поедим, и песенок попоем, и поговорим по душе: а при хозяине мы не только не смели распорядиться чем-либо, но даже разговору постороннего никогда не заводили. Кроме того, без хозяина к нам нередко заходили

знакомые приказчики чайку попить и покалякать. Без хозяина я также мог заниматься чтением: но только читать было нечего; разве когда что попадалось в бумаге, покупаемой на обертку. Без хозяина я и мечтал как-то свободнее, а помечтать я очень любил.

Я воображал себя то героем вроде Минина, спасающим отечество от гибели, то купцом-миллионером, ведущим громадную торговлю, то землепашцем, то рыбаком, охотником и т. п. Я создавал себе жену-красавицу с блестящим образованием, которая превосходно поет и танцует и т. д. Сидел ли я в лавке за какою-нибудь работою, вез ли «чунки» по лужам и слякоти, колол ли дрова — мысли мои не покидали меня ни на минуту.

В это время дела нашего хозяина шли прекрасно. 1852 год был особенно хорош по работам на буяне: отправка поташа за границу так была велика, что таких годов не запомнят, почему и заработки на буяне были втрое и вчетверо более, чем бывали ежегодно; а с 1853 года, по случаю войны, началась горячка с золотом и серебром, отчего все менялы зарабатывали неслыханные дотоле барыши. До этого года, я помню, мы старались избавляться от звонкой монеты и постоянно, когда накапливалось золото или серебро, носили его в банк для обмена на кредитные билеты, кроме мелочи, которую в банк не принимали и которая нам самим требовалась для размена. Наш хозяин был не из богатых, почему и оборотов по меняльной части не мог производить таких, какие производили другие менялы; кроме того, он был непредприимчив и несмел, иначе ему было бы легко подделаться к кассиру, заведывавшему выдачею звонкой монеты, потому что тот любил порядком погулять и не брезгал никакой компанией. Хотя я ходил иногда к Ивану Константиновичу Маркову — так звали кассира — с подарками, но наши подарки, состоявшие из свечей, мыла, масла и других хозяйственных принадлежностей, были ничто в сравнении с тем магарычом, который он получал от крупных менял, как, например, Смирнова, Соболева и других.

Золото и серебро, сначала выдававшиеся по номинальной цене, то есть по 5 рублей 15 копеек за полуимпериал, на какую угодно сумму безразлично, вследствие

сильного на него спроса от иностранных контор и большой потребности в нем для ведения войны в Турции в скором времени стало быстро подниматься и исчезать из обыкновенной внутренней торговли. Вследствие этого банк стал производить ограниченную выдачу: на каждое приходящее лицо положено было давать по пяти полуимпериалов, а серебра — не свыше как на двадцать пять рублей. Для лиц, отъезжающих за границу, то есть на заграничный паспорт, звонкой монеты по номинальной цене выдавалось на триста рублей. Но охотников получить золота и на такую маленькую сумму было столь много, что в подъезде банка происходила неимоверная давка, а к дверям кассы принуждены были, кроме швейцара, ставить еще военный караул. Кроме менял, почти все апраксинские, щукинские и гостинодворские торговцы посылали своих свободных приказчиков и мальчиков за золотом; даже барыни и барышни, в том числе и сестры нашего хозяина, лезли в эту разношерстную толпу для того, чтобы заработать рубль или полтора. Но, впрочем, посторонним это не всегда удавалось: они иногда не попадали в очередь; зато крупные менялы, как хорошо знакомые со всем банковским персоналом, проходили туда беспрепятственно, по нескольку раз в день, и выносили золото и серебро мешками. Мне не приходилось доставать много золота; пять штук положенных полуимпериалов я, конечно, приносил ежедневно, а через день или два Иван Константинович давал мне по двадцать штук, но тогда к номинальным ста трем рублям я прибавлял еще три рубля, то есть вручал ему сто шесть рублей за двадцать полуимпериалов. Конечно, эта операция велась так, что была по возможности незаметна для посторонних: прежде всего я должен был обратить внимание Ивана Константиновича на себя взглядом, то есть значительно подмигнуть и показать пантомимою просимое мною число золотых и предлагаемый магарыч; затем, отдав деньги, отойти в сторону и дожидаться, когда он меня позовет тоже взглядом или ловким кивком головы; затем он, взяв от меня деньги и проверив их незаметно от публики, немного погодя, то есть отпустив прежде некоторых близстоящих, приказывал счетчику

завернуть в бумажку мои полуимпериалы и передать мне. Получив сверток, я уходил, не пересчитывая его в кассе. Живший тогда у нас хозяйский племянник, Костя Воробьев, доставал почти ежедневно по сотне и более полуимпериалов, но об нем речь впереди.

Я сказал уже раньше, что жил у хозяина честно только первые два года, а потом меня начал искушать бес. Ходя по Петербургу с разными хозяйскими поручениями, я нередко видел, как другие мальчики лакомятся или курят папироски, и потому, при виде разных выставленных лакомств, у меня тоже слюнки текли, и я подумывал, как бы хорошо было попробовать того или другого. И в это время я вспоминал о нашей, постоянно открытой, выручке и соображал, что могу совершенно незаметно взять, сколько мне потребуется. Но я долго не поддавался бесовскому искушению; месяца два я не мог решиться на то, чтобы стащить из выручки, хотя она постоянно была не заперта, и я ежедневно оставался один в лавке столько времени, что мог свободно сходить в нее. Теперь меня удерживало уже не сознание бесчестности такого поступка, не боязнь греха, я уже забыл наставления покойной моей матери и крестной, а одно только опасение, что могу быть пойман в краже, и потому я так долго не решался на нее.

Наконец, в одно злополучное утро искушение было так сильно, что я, оставшись один минут на пять в лавке, сряду же, по уходе приказчика, открыл выручку и стащил оттуда четвертак... Но едва я закрыл выручку, как кровь бросилась мне в лицо, руки и ноги затряслись, и я весь задрожал. Я так испугался первой своей кражи, что хотел положить этот четвертак обратно в выручку; но тут явилась новая боязнь, что я не успею этого сделать и приказчик меня накроет: хотя приказчиком и дозволялось мне ходить в выручку, но только тогда, когда в отсутствие его приходил кто-нибудь за разменом или покупатель. Опасаясь, чтобы приказчик не заметил моего волнения и не догадался о причине его, я ушел в зад лавки и там спрятал краденый четвертак под лестницу. Затем я вошел опять в лавку, то есть в переднее ее отделение: в это время вернулся приказчик, а я, еще чувствуя

в себе неестественное состояние духа и опасаясь, что наружность моя может меня выдать, сряду же по приходе приказчика ушел на двор. Но не успел я отойти и пяти шагов от лавки, как мною овладело новое беспокойство: мне представилось, что приказчику вздумается зажечь огонь и что-нибудь посмотреть в заду лавки, и вот-вот сейчас мой четвертак, спрятанный под лестницею в шелке, бросится ему в глаза и как раз обличит, что он мною украден из выручки; поэтому я сейчас же вернулся со двора и увидел приказчика на галерее напевающим песенку. Я убедился из этого, что он ничего не заметил, и мое волнение стало уменьшаться. Я отправился опять в зад, достал из-под лестницы свой четвертак и положил в карман жилетки: но это место мне показалось почему-то неудобным, и я переложил его в карман штанов; но и этот карман показался почему-то ненадежным, я снова вынул злополучный четвертак, завернул его в бумажку и спустил за голенище. Дело происходило летом, в какой-то праздничный, но не табельный день, до обеда, а летом, при незначительности торговли, особенно в праздники, меня постоянно посылали обедать на квартиру, и оттуда я приносил обед приказчику. Так случилось и на этот раз: вскоре после того, как мой четвертак был уже спрятан в голенище, приказчик послал меня на квартиру обедать.

Здесь кстати заметить, что мы с приказчиком с самого начала жили довольно дружно, вместе рассуждали и осуждали хозяев и оба их не любили, а только боялись; оставаясь наедине, в свободное время, мы постоянно говорили о том, что хозяин наш ничего не понимает в торговле, что он какой-то необразованный, даже неуч, что он страшный скупердяй, скаредник и все его семейство также скаредное, хотя на самом деле они не были скаредными, а только немного скуповаты и жили расчетливо, по средствам. Но тогда всякая хозяйская экономия нам казалась скаредничеством, и потому мы постоянно, так сказать, оппонировали своим хозяевам. Вследствие всего этого я, конечно, нисколько не жалел хозяйского добра, лишь бы только не приходилось за него отвечать, а там хоть трава не расти.

Квартира наша в то время находилась довольно далеко от лавки: мы жили в пятой роте Измайловского полка, почему я хотел, идя после обеда в лавку, что-нибудь купить и полакомиться, но лишь только я стал подходить к дому, где мы квартировали, как мне представилось, что сейчас, как только я явлюсь на квартиру, хозяйка мне прикажет разуться, и мой четвертак опять выскочит на свет божий и уличит меня... Обеспокоенный такой мыслью, я, не доходя до своего дома, спрятался за забор, достал из-за голенища измучивший уж меня четвертак и спрятал его за пояс штанов, надорвав предварительно там дырку.

За обедом я сидел, как говорится, на иголках: пообедав, я наскоро завязал приготовленный хозяйкою обед для приказчика и свободно вздохнул только тогда уже, когда потерял из виду окна своей квартиры, заранее рассчитав, где и каких купить гостинцев и где их съесть. Но не суждено мне было на этот раз выполнить свое желание: лишь только я стал подходить к намеченному месту за гостинцами, как мне пришла в голову мысль, что тут меня может кто-нибудь увидеть и рассказать хозяевам; я пошел дальше, решив зайти в другое, более удобное место; но и тут явилась та же мысль; я направился в третье место — опять то же; наконец, дошло до того, что мне уже негде было покупать и не осталось времени, где съесть; таким образом, я принужден был возвратиться с тем же четвертаком в лавку.

Придя в лавку и отдав приказчику обед, я побежал в ретирадное отделение и там спрятал деньги за косяком в темном углублении. Наконец, дня через два после первой моей кражи меня послали зачем-то на Васильевский остров, и вот, захватив украденный четвертак, я на этот раз часть его пролакомил, а другую отдал какому-то попрошайке, от которого и сам старался убежать, опасаясь, чтобы он не пришел следом за мною в лавку и не объяснил хозяину о моей щедрости.

Нередко потом, в года зрелости, мне приходилось сожалеть, что меня не накрыли в первую же кражу; по крайней мере, меня бы изрядно поколотили, а может быть, и выпороли, что было бы еще лучше: этим, наверно,

с первого же раза отучили бы меня от воровства, подобно тому, как родители отучили от прогулок.

Первая моя кража сошла с рук благополучно, а дней через пять после этого я опять залез в выручку и снова стащил четвертак, но на этот раз волнение мое уже не было особенно сильно. Конечно, страх, чтобы как-нибудь не узнали о моем воровстве, существовал, но все-таки я был гораздо спокойнее, меня уже не трясло, и я не настолько менялся в лице, чтобы эта перемена могла быть приметна другому. За вторым разом пошел третий, четвертый и т. д.; воровство сделалось уже систематическим, постоянным. Крал я сначала понемногу, все серебряными монетами, копеек по тридцати, по сорока, потом стал уже красть по полтине и, наконец, по рублю.

Сделаю маленькое отступление: с детства я был очень набожен, хотя набожность моя, можно сказать, была фиктивная: я считал непременным долгом прочитать несколько молитв утром и вечером и положить узаконенное мною число земных поклонов; выходя из квартиры и подходя к квартире, помолиться у ворот на все четыре стороны; проходя мимо какой-либо церкви или образа, я также всегда молился, а выходя куда бы то ни было из лавки и подходя к ней, я всегда читал: «Отче наш», «Богородицу» и «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Молясь таким образом, я внутренно постоянно думал только о том, чтобы со мною не случилось какой-нибудь беды или неприятности, чтобы мне чего-либо не разбить или не разлить; чтобы мне удалось в этот день получше поесть и попить и полегче была бы работа; а главное — чтобы хозяева и приказчик не узнали, что я ворую. Поэтому каждый раз, залезая в выручку, я также читал несколько раз: «Помяни, Господи, царя Давида» и т. д. На краденные мною из выручки деньги я сначала только лакомился, а остатки их прятал в разных укромных местах, по большей части в сортирах, за заборами и в сарае; нередко случалось, что спрятанные таким образом деньги у меня пропадали, но я этим не особенно огорчался и не жалел их, потому что взять из выручки другие деньги было нетрудно, а во мне уже исчезло всякое сознание, что красть грешно и бесчестно;

существовала только боязнь, как бы не попасться. Потом на краденые деньги я стал покупать папиросы, заходить в трактиры и портерные, понемногу выпивать и закусывать и покупать книги, преимущественно русские романы. Конечно, книги, покупаемые на эти деньги, я также тщательно прятал и читал их украдкою, а по прочтении или дарил кому-нибудь, или просто бросал.

Около этого времени у нашего хозяина поселился его племянник, живший прежде мальчиком в книжном магазине Печаткина и отказанный от места. Костя, так его звали, не был у нас собственно служащим, но он, как свободный человек, постоянно ходил для нас в банк за золотом, и в этом, надо отдать ему справедливость, он был действительно полезен для хозяина, потому что сумел подделаться к кассиру, нередко с ним угощался и доставал золота много, ежедневно не менее ста полуимпериалов, которые за расходами на профит кассиру приносили хозяину пользы от пятнадцати и до тридцати рублей каждый раз.

Костя был на три или на четыре года старше меня и, можно сказать, был уже мальчик достаточно испортившийся: с ним я скоро сошелся. Несмотря на то что он был родной племянник хозяину, он не только дозволял мне при себе таскать из выручки деньги (надо заметить, что Костя сам не имел права, ни под каким видом, ходить в выручку), но даже меня поощрял и наставлял к воровству, а потом сам указывал и способ, как лучше и приятнее прогулять и пропить деньги.

С детства я был рьяным патриотом: любил все русское — старые русские обычаи, русскую одежду, русские кушанья, а потому предпочитал и пить русскую водку; любимым моим напитком была березовка, к которой я скоро пристрастился и выпивал ежедневно по нескольку стаканчиков.

За пьянством пошел сряду же и разврат, и потому мне уже не хватало потаскиваемого из выручки серебра: я начал потаскивать и кредитки, по три и по пяти рублей. Но в скором времени мне уже не удавалось так часто ходить в выручку, потому что однажды случилось следующее: когда приказчик отлучился по необходимости из лавки,

а я, по обыкновению, залез в выручку и, вынув оттуда небольшую пачку трехрублевых билетов, хотел отделить из них одну или две бумажки, приказчик вдруг воротился, и я, не успев положить пачку обратно, только закрыл выручку, а вся пачка, хотя и состоявшая только из семи билетов, так и осталась у меня. На мое счастье, приказчик, вернувшись в лавку, сейчас же послал меня куда-то, что и дало мне возможность спрятать деньги. Когда я вернулся, то приказчик спросил меня: «Не видал ли ты, кому я отдавал или менял трехрублевые билеты?» — и, получив от меня обыкновенный ответ: «Нет, не видал, не знаю», — предупредил меня, чтобы я не проболтался о пропаже этих денег хозяину, что, конечно, мне было слишком на руку.

С этого раза приказчик стал все-таки осторожнее; если он даже ненадолго отлучался из лавки, то и тогда запирал выручку... Зато я стал смел даже до нахальства в воровстве.

Сперва я попробовал подобрать ключ к выручке, раза два или три я покупал замки с ключами, похожими на наш ключ, но отпереть этими ключами выручки я не мог и потому обратился к самому отчаянному способу — воровать почти на глазах приказчика. Приказчик утром, после чая, когда не было покупателей, любил выходить на галерею, посмотреть на прохожих, а я в это время принимался заправлять лампы; так как одна лампа висела над выручкою, то я и доставал ее постоянно с той стороны, с которой находился ящик; доставая одною рукой лампу, я другою залезал в выручку, предварительно отперев ее находившимся в замке ключом, доставал оттуда один или два билета и опять запирал; а когда это мне не удавалось, то я крал медные деньги, которых у нас постоянно было насчитано и завернуто для размена по одному рублю и которые лежали в нижнем ящике, где не было и замка.

Недаром мне еще в детстве говорили пословицу: «Хороший вор семь лет только ворует, а на восьмой все-таки попадается». Так случилось и со мной. Прежде всего я попался в пьянстве: послали меня отвезти товар к одному покупателю, жившему в Коломне (не в городе Коломне Московской губернии, а в Коломне у Аларчина моста);

дорогой мне встретился Костя, и мы с ним зашли в знакомый нам трактир, где просидели довольно долго и выпили чересчур, не по-юношески, много, по восьми или по девяти стаканов пуншу; конечно, я охмелел и вернулся поздно и настолько пьяным, что это было сразу заметно. В это время в лавке находился хозяин; увидев меня в таком состоянии, он и приказчик начали меня спрашивать, где я напился. Когда я, едва выговаривая слова, стал еще запираться, то они принялись меня бить, таскали за волосы, колотили по скулам, повалив на пол, били ногами, но я все-таки не сознавался. Наконец, хозяин приказал, чтобы я шел за ним в квартал (тогда еще участков не было), пригрозив, что попросит надзирателя, чтобы тот отправил меня в часть и там хорошенько выпорол: «Тогда, — говорит, — не будешь запираться: скажешь, где и на какие деньги напился». Но и это не помогло: я ни в чем не сознался, а хозяин, доведя меня до квартала, должно быть, не хотел срамиться и вернулся опять в лавку, где, потаскав меня еще порядочно и все-таки не добившись признания, бросил. Второй раз я попался приказчику в краже медных денег. Я уже успел их украсть, но не успел припрятать к месту; он меня обыскал и нашел их за голенищем, за что, конечно, здорово таскал меня, сколько у него было сил, и потом сказал хозяину, от которого также последовала хорошая тряска... но все-таки меня еще не прогоняли. Наконец, я попался в третий раз и на этот раз уже совсем пропал.

Дело было перед Рождеством в 1855 году: утром, когда приказчик, по обыкновению, вышел на галерею поглазеть, я, также по обыкновению, принялся за лампы и, снимая лампу под выручкою, отворил ящик и вынул оттуда пачку трехрублевых билетов, намереваясь отделить из них себе парочку; в это время вдруг из-за угла вывернулся какой-то покупатель, что заставило приказчика быстро вернуться в лавку; я не успел положить ее назад и закрыть как следует выручку, и бросился бежать в зад лавки. Приказчик кинулся за мной и, схватив меня за шиворот, вытащил на свет; обыскав, он нашел у меня в кармане пачку, в которой находилось шестнадцать трехрублевых билетов. Отняв пачку и положив ее в выручку, он первым долгом

задал мне потасовку; потом, отпустив покупателя, опять взялся за меня; наколотившись, можно сказать, до усталости, он послал меня отнести товар покупателю. Я этого только и дожидался, чтоб уйти из лавки. Отнеся товар, я уже боялся вернуться, зная, что когда придет хозяин, то меня будут опять жестоко бить. Припрятанных денег у меня на этот раз нигде не было; в трактире, где я постоянно выпивал, я был уже порядочно должен, и потому мне пришлось проходить целый день голодным: но я дожидался ночи и вознамерился обокрасть хозяина. Я знал, что у нас наверху над лавкою окно вовсе не закрывалось, а так, только для виду, была навешена на него железная решетка. Вот через это-то окно я и решил совершить кражу.

Всю ночь я проходил по улицам, часто захаживая в тот переулок, где находилась наша лавка; но каждый раз я видел рядского сторожа на месте и потому дожидался, когда он уйдет. Наконец, в пятом часу, открылись находившиеся в нашем ряду зеленные лавки, а вслед за тем и сторож ушел домой. Я недолго думая тихонько взошел на галерею, также тихонько подкатил к дверям лавки лежавшую тут бочку из-под масла; поставил на нее свечной ящик, а другой ящик рядом с бочкой, для того чтобы тише и удобнее было влезть на эти импровизированные подмостки. Затем быстро и без шума я забрался на них, перелез через находившуюся под дверью вывеску и очутился на карнизе у самого окна... Здесь я немного притаился, перевел дыхание, успокоился, и, должно быть, несмотря на мою отчаянную решительность, сердце мое в это время сильно билось, потому что я помню, как руки и ноги мои сильно дрожали. Успокоившись, я осмотрелся, не заметил ли кто моей проделки: в это время прошел мимо из зеленной лавки молодец за чаем, но я видел, что он ничего не заметил; на улице еще никого не было видно и слышно. Затем я так же тихо снял с гвоздя висевшую над окном решетку и влез на верх лавки; потом, спустившись в нее, направился к выручке.

Я знал, что ключ от выручки постоянно клали в стоящую на ней конторку, у которой не было замка. Достав ключ, я тотчас же отпер выручку... но тут я страшно разо-

чаровался. В выручке не было на этот раз ни одного билета, а лежал только один мешочек с серебром; предполагая, что хозяин взял билеты с собой на квартиру, я не стал делать более никаких поисков, а, захватив этот только мешочек, запер опять выручку и тем же путем вылез за окно... Здесь, снова осмотревшись, я повесил опять на место решетку и потом спустился вниз; еще раз прислушался и осмотрелся, а потом, поставив на место ящики и бочку, быстро, но не бегом, чтобы не подать подозрения, отправился в трактир...

Такой отчаянной смелости, которую я выказал при совершении этой кражи, я впоследствии сам удивлялся: я даже не помню, что происходило тогда внутри меня. Явилось ли сколько-нибудь сознания гнусности такого поступка или нет? Мне кажется, что во мне существовал только страх, как бы не поймали, а совесть и сознание в то время меня оставили. Придя в знакомый мне трактир, я взял отдельную каморку, потребовал туда чаю, водки и закуски и, затворившись, принялся считать деньги. В мешочке серебра, как сейчас помню, оказалось семьдесят один рубль и шестьдесят пять копеек.

Сосчитав деньги, я позвал к себе буфетчика и слугу; первого для того, чтобы уплатить долг, а второго, чтобы угостить и дать на чай. Без сомнения, на моем лице что-нибудь отражалось, потому что буфетчик, войдя в каморку, сейчас же спросил меня:

— Что это с вами, Николай Иванович, вы какой-то сегодня странный и раскрасневшись, как будто вы всю ночь работали.

— Да, — отвечал я, — действительно я сегодня всю ночь работал.

Но когда я ни с того ни с сего вдруг рассказал ему совершенно откровенно и с хвастовством, как я работал эту ночь, то он испугался и, получив с меня долг, посоветовал уйти из трактира, объясняя, что меня могут тут поймать хозяева, узнав от Кости о частом моем посещении этого трактира.

Я пошел в другой трактир, где также взял отдельную каморку и, заказав водки и закуски, угостил слугу и дал ему на чай, за что он позволил мне уснуть на стуле часа полтора.

Как провел я остаток дня, уж не помню: помню только то, что поздно вечером я забрался в дом терпимости, где для меня составился какой-то безобразный оркестр из пяти музыкантов и все дамы приняли участие в безобразнейших плясках и танцах. Прокутив часа два или три, я заметил, что меня обсчитывают — подставляют порожние бутылки вместо требуемых мною с вином, рассорился и ушел. Выйдя на улицу, я почувствовал, что голова у меня тяжелая, ноги совсем не действуют, и где только я присаживался, тут же и засыпал. Но, вероятно, благодаря моему засаленному и невзрачному костюму, меня никто не обшаривал: только будочник, разбудив меня, спросил, кто я такой и зачем ночью сплю на улице. Я ответил ему, что я мясник с Сенной, послан был отнести товар к господам и, устав, задремал. Ночлега, за который я в то время дорого бы дал, я не знал, где найти, и потому нанял извозчика на всю ночь до утра с тем, чтобы он возил меня, где ему вздумается и как ему хочется, а сам, забравшись под полость, просил разбудить меня, когда отопрут трактиры.

Тогда трактиры отпирались рано. В пять часов утра я приехал в старый, знакомый мне трактир, надеясь узнать что-нибудь от буфетчика, так как рассчитывал, что у него наверно был Костя и рассказал ему, что обо мне говорят хозяева; но буфетчик не только не захотел разговаривать со мною, но даже не впустил в комнаты и сухо попросил меня выйти вон из заведения. Я отправился опять в тот трактир, где накануне отдыхал. Проведя таким же образом, как и в предшествовавший день, часа три, я начал уже тревожиться о своей участи, стал соображать, что поступок мой очень скверный, что долго ли, коротко ли, а мне за него придется рассчитываться. Мне думалось, что хозяева, может быть, уже подали заявление о моем исчезновении и пропаже мешка с серебром. Поэтому мне очень хотелось увидать Костю и разузнать от него, какие разговоры идут обо мне у хозяев. Я сознавал, что мне таким образом не придется долго скрываться; притом же пьянство, бродяжничество и неимение настоящего сна до того утомили меня, что силы мои начинали слабеть, энергия прошла, и я как-то тупо, но вместе с тем боязливо

начинал вдумываться в свое некрасивое положение. Утомление мое было так велико, а неизвестность о моей дальнейшей участи настолько тяжела, что я намеревался уже возвратиться в лавку; однако не решался сделать этого, не повидавшись прежде с Костей. С этой целью я все утро пробродил по улицам, по которым мы обыкновенно ходили с квартиры в лавку, надеясь встретить Костю, но на этот раз его не встретил. В десятом часу утра я пришел в банк, рассчитывая там наверное увидеть в это время Костю, а если бы этого не случилось, то я намерен был передать швейцару, знавшему его и меня лично, чтобы тот сказал ему, что я буду ожидать его в каком-нибудь трактире. Я стоял в подъезде банка уже более четверти часа: народу было множество, а в кассу я не мог еще пробраться. Вдруг слышу сзади себя знакомый голос:

— Николай!

Я оглянулся и увидел перед собой хозяина.

— Ты зачем тут?

— Павел (имя приказчика) послал, — отвечаю я.

— Как Павел послал? Зачем?

— Сказать, чтобы Костя приходил скорее в лавку.

— Врешь! — сказал хозяин. — Пойдем в лавку, — и схватил меня за рукав.

Противиться было невозможно и скрыться было некуда, кругом народ, и все смотрели не то с любопытством, не то с недоумением на эту сцену. Я пошел за хозяином, который все время не выпускал из руки моей шубы. Выведя меня за ворота, он сел со мной на извозчика, продолжая держать меня за шубу.

Похищенный мною мешочек серебра я успел уже разменять на кредитные билеты, и из них у меня оставалось только тридцать рублей и три копейки; остальные я успел уже истратить: одна часть пошла в уплату долга в трактир, а другую — я прокутил. Я знал, что эти деньги у меня не уцелеют, а только больше обличат меня, и потому мне хотелось их или выбросить, или подсунуть под подушку извозчику, но этого никак не удавалось; хозяин все время зорко следил за мною.

Приведя меня в лавку и объяснив приказчику, что поймал-таки гуся, хозяин приказал ему раздеть и разуть

меня, а сам в это время начал задавать мне потасовку и дубасить кулаками, сколько было у него сил. Затем, обыскав мою одежду, они отобрали оставшиеся у меня три красненьких и три копейки.

— Где ты взял эти деньги? — спросил хозяин.

— Нашел, — ответил я.

— Как нашел? Где нашел? — И пошла опять потасовка...

— Сознайся, мошенник! Ты из выручки украл эти деньги?

— Нет, я эти деньги нашел на улице.

— А зачем ты украл из выручки сорок восемь рублей? — допрашивал хозяин.

— Я ничего не воровал.

— Как не воровал? Ведь Павел тебя поймал?

— Павел врет — я не воровал.

Тут их терпение лопнуло: видя, что добром от меня ничего не добьешься, они с новым ожесточением принялись меня таскать и бить как попало. Били меня, сильно били, жестоко били, до того били, что оба измучились: а я все-таки стоял на своем, ни в чем не сознавался и не просил пощады.

Наконец, переговорив что-то потихоньку с приказчиком, хозяин приказал мне одеваться. Я оделся и подобрал валявшиеся на полу клочьями волосы.

— Ну, что же теперь хочешь, — спросил хозяин, — здесь оставаться или в деревню ехать?

— В деревню, — ответил я совершенно бессознательно.

Хозяин опять посоветовался с приказчиком и, вынув из выручки шесть рублей, велел мне взять их на дорогу. Но я не взял этих шести рублей и сказал:

— Позвольте мне мои тридцать рублей, которые я нашел.

— А, так тебе этого мало! — крикнул хозяин. — Убирайся вон, когда так, не будет тебе ни копейки!

— Не будет, так и не надо, — отвечал я, встав у самого выхода из лавки, — я пойду в полицию, расскажу, как вы меня били, покажу вот эти волосы; да еще расскажу, что вы покупаете краденые стекла с казенного завода

(с императорского стеклянного завода нам действительно рабочие таскали ламповые стекла, которые мы покупали за дешевую цену).

С этими словами я быстро вышел из лавки.

Но не отошел я саженей тридцати или сорока, как меня догнал приказчик и сказал, что хозяин приказывает мне воротиться. Я сначала не хотел возвращаться, опасаясь, что меня опять начнут бить; но Павел побожился, что бить меня больше не будут, а хозяин хочет только прибавить сколько-то денег.

Я вернулся.

— Ну, вот тебе, — сказал хозяин, когда я вошел в лавку, — вот, если хочешь, возьми десять рублей на дорогу, а не хочешь, так иди, куда знаешь, жалуйся; а пожалуешься, так я лучше приставу подарю, а тебе ни копейки не дам.

Я постоял, подумал, почесал в затылке и понял, что действительно он может подарить приставу и я не только ничего не получу, но меня еще высекут. Я взял поданные мне две синенькие ассигнации и ушел.

В доме, где мы квартировали, у меня было заведено знакомство с мастеровыми и дворниками, которые, несмотря на то что я был далеко не ровня им по годам, нередко водили со мною компанию и относились ко мне с почтением за мои угощения. Получив от хозяина деньги, я прежде всего зашел в одно укромное местечко, где у меня были спрятанные купленные раньше старинные луковицею часы и два романа — «Юрий Милославский» и «Аскольдова могила»; а затем отправился к своим приятелям-дворникам просить у них на время приюта. Конечно, за пару полуштофов мне в этом не отказали. Угостив приятелей и сам вместе с ними угостившись, я под вечер пошел к хозяйке, чтобы получить свои вещи, состоявшие из неважного белья и одежонки, но хозяйка не пустила меня на квартиру без хозяина. Я до такой степени был тогда гадок, развращен и зол, что, хотя сам был кругом виноват, решился отомстить хозяину и сделать на него донос. С этой целью я на другое утро, не стесняясь дальностью расстояния, отправился на императорский стеклянный

завод, рассчитывая там увидеть управляющего заводом и рассказать ему, как воруют с завода стекла и как у нас их покупают. Но на счастье мое, я не застал управляющего на заводе, а другим не захотел объяснять цели моего прихода. Вернувшись, я купил бумаги, штемпелеванных конвертов и написал два одинаковые доноса, один управляющему заводом, а другой министру уделов, так как я раньше слышал, что заводы находятся под его ведением. Но письма эти я опустил в почтовый ящик только тогда, когда пошел на вокзал, чтобы отправиться из Петербурга; это было на второй или на третий день Рождества.

Глава четвертая

Отъезд из Петербурга. — Два дня в Твери. — Приезд в Москву. — Неудачные поиски ночлега. — В части. — На случайной квартире. — Намерение пробраться в Одессу. — Возвращение в Москву. — Продажа часов и белья. — Болезнь. — В больнице. — Распродажа последних вещей. — Путь на родину. — Встреча с родными. — Жизнь в отцовском доме. — Я делаюсь сторожем церкви царевича Димитрия. — Комедия с самоубийством. — Решение отца отпустить меня в Петербург

Железные дороги в то время не представляли таких удобств, как теперь. Поезд с пассажирами третьего класса достигал Москвы только через двое суток, и пассажиров возили в тех вагонах, которые теперь назначаются под груз и в которых были поделаны сплошные и узенькие скамейки, а с обеих сторон вагона, в дверях, было вырублено по небольшому отверстию для света, которое на ночь закрывалось доскою, почему в вагоне была совершенная темнота. Но зато пассажирский тариф тогда был очень дешев — я до Твери заплатил только два рубля двадцать пять копеек: а так как из десяти рублей, полученных мною от хозяина, у меня оставалось еще около шести рублей (остальное я пропил с приятелями мастеровыми и дворниками), то мне этих денег вполне было бы достаточно, чтобы добраться на родину.

Уезжая из Петербурга, я хотя и взял билет до Твери, то есть до ближайшей станции к нашему городу, но вовсе и не думал ехать домой. Я боялся отца. Я не сомневался, что если вернусь домой, не дожив своего срока, отказанный хозяином и без денег, то отец непременно высечет меня и изобьет, и потому мне хотелось разжиться деньгами. Но для того, чтобы разжиться ими, я ничего не мог придумать, а только мечтал. То мне воображалось, что я вот сейчас найду капиталец в количестве сот трех, пяти или тысячи рублей, и для этого ходил все больше в тех местах, где было меньше народу, чтобы в случае находки никто не узнал о ней и мне не пришлось бы делиться или совсем с ней расстаться; то я мечтал, что мне представится случай отличиться каким-нибудь геройским подвигом, например: спасти жизнь какой-либо знаменитой особы, и тогда вместе с деньгами посыплются на меня и другие награды и почести: или, наконец, мне представлялось, что дорогой в меня влюбится какая-нибудь богатая барыня — молодая или старая, все равно, — и за мой ответ на ее любовь осыплет меня деньгами с головы до ног. Промечтав таким образом всю дорогу до Твери и двое суток в Твери, я решился ехать в Москву и там поискать счастия.

Приехав в Москву часу в первом дня, я пошел бродить по ней наугад, также строя в своей фантазии разные воздушные замки, и часа через полтора очутился в самом ее центре, у Никольских ворот — на толкучке. Здесь я остановился у расположившегося около какой-то ограды букиниста и купил у него две довольно толстые старые книги за гривенник. Наконец я стал подумывать о ночлеге и решился отправиться на постоялый двор.

Я слыхал о существовании в Москве Тверской-Ямской и надеялся найти себе там на постоялых дворах ночлег. С этой целью я стал расспрашивать туда дорогу и к сумеркам добрался до места. Подойдя к первому двору, я попросился ночевать. Стоявший у ворот мужчина в засаленном полушубке сухо ответил мне, что здесь ночлежников не пускают. Я подошел к другому двору, попросился, но и там не пустили; я зашел к третьему, но и тут дворник только обругал меня, а стоявшие с ним, по-видимому,

ямщики громко засмеялись и провожали меня словами: «Вишь какой нашелся ночлежник... Какой прыткий... Пусти его ночевать». Я отошел на средину улицы, посмотрел на них и недоумевал, за что это меня везде гоняют, да еще насмехаются. Уже начинало вечереть, а я оставался без пристанища и не знал, где приютиться. Я решился в последний раз испытать счастья и подошел к одной кучке, где стояло человек пять или шесть мужиков, и спросил:

— Дяденька, скажите, пожалуйста, где бы мне ночевать? Я сегодня приехал из Питера и вот пришел сюда в Ямскую ночевать, а меня нигде не пускают.

Некоторые из них засмеялись, один послал к черту, а один, как видно подобрее, спросил меня:

— Ты приехал из Питера, зачем же ты там у машины не спросил, где ночевать? Там есть такие дома, тебя и пустили бы, а здесь, брат, тебя никто не пустит.

— Отчего же, — говорю я, — ведь у меня есть паспорт?

— Отчего? Отчего? Чудак человек. А что нам твой паспорт? Кто тя знает, какой у тя паспорт? Свой, а може и чужой. Мы здесь люди больше все неграмотные... паспорта чужие разбирать не умеем. Ты паспорт-то дашь, а сам ночью что-нибудь стибришь, тогда и ищи тебя по паспорту. Вот кабы ты с лошадью был, так тебя бы пустили, а так нельзя.

— Так скажите, пожалуйста, где бы мне найти ночлег?

— А кто ее знает, где тебе найти ночлег? Иди в будку, спроси будочника, може, он тебя и пустит.

Делать было нечего, я пошел в будку. Когда я пришел к будочнику и объявил ему свое положение, тот сначала пытливо посмотрел на меня, как будто мерял глазами, а потом сказал:

— В будке у нас, брат, ночевать никому не полагается, да и места у нас нет; а ты, если тебя нигде не пускают, так иди в часть, попросись у дежурного, тот пустит.

Наконец я пришел в часть и стал там просить ночлега. Дежурный офицер сначала мне было отказал; когда же я объяснил ему свое положение и то, что я во многих местах просился, но меня не пускают, и добавил, что на улице

я не могу же ночевать, во-первых, потому, что теперь зима и можно замерзнуть; а во-вторых, что меня могут счесть за вора, — то офицер сжалился надо мной и сказал:

— Куда же, любезный, я тебя здесь помещу? Особенного места для ночлежников здесь нет, а с арестантами я тебя не могу оставить, потому что там может что-нибудь случиться с тобой, а я за это должен буду отвечать. Но вот погоди, я спрошу у вестовых, не знают ли они, куда можно пристроить тебя на ночлег.

Один из вестовых вызвался доставить мне ночлег, и мы с ним отправились.

В квартире, в которую меня привели, жильцов было много во всех комнатах и во всех углах. Тут были и постоянные комнатные, и угловые жильцы, и приезжие. На вопросы, заданные мне моими сокватирантами — откуда я и зачем приехал в Москву? — я врал, и врал как-то бессмысленно, бестолково; уверял, что я петербургский лабазник, хотя моя одежда вовсе не похожа на лабазника (на ней не было ни пылинки муки, а вся она была засалена и залита маслом); что хозяин посылал меня в Калугу купить двести мешков крупчатки (я и того не знал, что в Калуге петербургскими лабазниками крупчатка никогда не покупается), и что я, справившись с хозяйским делом, желаю теперь в Москве разыскать своих угличских товарищей, а потом отправлюсь на родину погостить. Не знаю, верили ли моему вранью или нет, но только мне не перечили. Кто были квартирные хозяева и жильцы этой квартиры, я теперь не помню; помню только, что один приезжий из Ржева поил меня чаем и по секрету сказал мне, что это чай капорский, и, вероятно, рассчитывая, что у меня есть деньги, предлагал мне этого чаю несколько пудов по дешевой цене и советовал вообще заняться этой торговлей, говоря, что она очень прибыльна. Но так как у меня не было даже рубля, то я только пообещал ему устроить эту коммерцию по возвращении с родины.

Прожил я в Москве три дня, много бродил по ней и все искал себе какого-нибудь счастья вроде находки или чего-нибудь другого из раньше описанного фантазерства. На четвертый день у меня осталось денег только двадцать

две копейки, и с этими деньгами я решился из Москвы пробраться в Одессу, в которой, как я от кого-то слыхал, деньги наживаются очень легко, и будто там обыкновенные поденщики зарабатывают по три рубля в день. Взвалив свою котомку на спину, я назначил себе маршрут сначала на Калугу, потом на Харьков, потом на Киев и так далее до Одессы. Добывать себе пропитание в дороге я рассчитывал своими книгами, которыми хотел по деревням удовольствовать православных, подобно тому как древние баяны удовольствовали наших предков своими рассказами и песнями, рассчитывая, что за это меня будут поить и кормить и нарасхват приглашать на ночлег.

Я прошел несколько деревень, останавливался где попить и отдохнуть, где погреться, а где и щей попросить и каждый раз вынимал свои книги и пробовал читать. Но православные или совсем меня не слушали, или слушали и не понимали, что я им читаю; если же где и оказывался какой любопытный, то, немного послушав, уходил со словами: «Я думал, что это божественное ты читаешь, а то — нет». За ночлеги же и похлебку мне все-таки приходилось платить, хотя и очень дешево.

Таким образом, я в два дня прошел около сорока пяти верст, и из двадцати двух копеек у меня осталось только семь. Встав утром на своем втором ночлеге, я увидел невозможность путешествовать дальше без денег, а бывшие при мне часы я опасался показывать, чтобы их не сочли крадеными и не отняли бы. До ближайшего города, через который мне следовало проходить, оставалось столько же, сколько я отошел от Москвы, а потому я подумал, да и повернул обратно в Москву.

6 января 1856 года, утром, я вернулся опять в Москву. Не знаю, где я шел от Калужской заставы, но только помню, что очутился на берегу Москвы-реки, напротив того места, где стоит колокольня Ивана Великого. День был праздничный; народу масса, звон с колокольни Ивана Великого и с других церквей так и гудел, заглушая даже разговоры рядом стоявших людей. На другой стороне реки, в Кремле, все площади также были залиты народом: все ожидали крестного хода на иордань. Мне страшно

хотелось есть, и я все присматривался, кому бы продать часы. Наконец, уже не помню, тут ли в толпе, или перейдя на другую сторону, на толкучку, я их продал за полтора рубля и тотчас отправился в трактир. Выйдя из трактира, я в том же доме увидал у крыльца билетик, что здесь отдаются углы; я зашел в квартиру и нанял угол за полтора рубля в месяц, отдав хозяйке полтинник в задаток.

На этот раз в Москве я решился остаться подолее. Места или какой-нибудь работы я все-таки не искал, а в мою голову пришла сумасбродная мысль, что Костя должен прислать мне денег для того, чтобы я мог опять отправиться в дальний путь, именно в Одессу. С этой целью я на другой же день написал ему письмо, адресовав на известного буфетчика, и просил, чтобы он выслал мне в Москву по крайней мере рублей десять, угрожая, что иначе я опишу отцу его и дяде, т. е. бывшему моему хозяину, все его участие в моих поступках. Но прошла неделя и более, а я не получал от него никакого ответа. Рубль, оставшийся у меня из денег, вырученных за часы, я проел, и мне пришлось прибегнуть к новой распродаже: сперва я спустил кое-какое бельишко, а потом уже и книги, выручив за все с чем-то целковый. Наконец я проел и эти деньги и вдобавок заболел.

Двое суток провалялся я на квартире, но болезнь моя усиливалась, и мне посоветовали отправиться в больницу. Чтобы идти туда, нужно было достать паспорт, который отдан был в прописку и находился в квартале. Паспорт оказался еще не прописанным, и потому в квартале мне посоветовали отправиться в больницу через часть. До частного дома было далеко, и я едва добрался до него и стал просить, чтобы меня отправили в больницу. Но из этой части почему-то меня не захотели отправить в больницу, а велели идти в другую. До другого частного дома было около трех верст или более, а у меня уже совсем не хватало сил идти. К счастью, у меня оставался еще гривенник: и вот я за этот гривенник нашел себе доброго извозчика, который и довез меня до указанной части.

Здесь, благодаря Бога, люди оказались посговорчивей, и меня без замедления отправили в больницу.

В больнице на другой день доктор прописал мне сильное слабительное и какую-то микстуру, и я скоро почувствовал облегчение. На третий день доктор спросил, хочу ли я есть. Я ответил, что хочу, и он заменил мне овсянку каким-то другим кушаньем, но этого кушанья мне не пришлось попробовать, потому что какой-то другой больной попросил фельдшера, чтобы тот заменил его порцию моею, почему я и остался опять с овсянкой. Час или полтора спустя после обеда меня позвали из палаты: полагая, что меня хотят вымыть в ванной, я обрадовался. Но вместо ванной мне подали мою одежду и приказали убираться домой.

Очень мне не хотелось выходить так рано из больницы, потому что я чувствовал себя еще очень слабым, но делать было нечего: мне сказали, что доктор лучше знает, насколько я здоров.

Возвратясь на квартиру в свой грязный и сырой угол, я решился, будь что будет, отправиться на родину. Приду домой, думал я, повалюсь отцу и мачехе в ноги, попрошу у них прошения и сам попрошу отца, чтобы он свел меня на конюшню и там наказал розгами или кнутом. В тот же день я отнес остальное содержимое моей котомки на толкучку и выручил от продажи остатков моего имущества с чем-то полтинник; из этих денег часть я отдал хозяйке, а с остальными на следующий день, помолясь на московские церкви, поплелся за Троицкую заставу.

Было очень холодно в тот день, в который я вышел из Москвы. Хотя стояла ясная погода, но мороз был жестокий и с ветром, а одежда на мне была очень плоха: сапоги холодные, полушубок старый, и под него нечего было надеть. Все это мало защищало меня от стужи, а силы мои были еще так слабы от болезни, что я не мог скоро идти и согреваться в ходьбе. На мое счастье, по пути со мной ехала партия мужичков, возивших дрова в Москву. Один из них крикнул мне:

— Садись, любезный, довезу до Троицы. Много ли дашь?

— А сколько возьмешь?

— Давай двугривенный.

— Возьми, — говорю, — дядюшка, пятиалтынный.

И он посадил меня за пятиалтынный.

Ехали мы до Троицы хотя и порядочной рысцой, но все-таки дорога мне показалась очень длинною, потому что мороз давал чувствовать себя сильно: ноги мои до того озябли в холодных сапогах, что у меня не хватало терпения, и я не думал добраться до ночлега, не отморозив их. Около полуночи, наконец, мы приехали на постоялый двор к Троице-Сергию.

Первым моим делом было разуться, и я увидел, что пальцы ног совершенно побелели. Они стучали об пол, точно кости, и я уже боялся, что совсем останусь без ног; но спасибо хозяину постоялого двора, он дал мне пол чайной чашки водки, и я скоро оттер их. Привезшим меня мужичкам дальнейшая дорога была также по пути мне верст на двадцать пять; они взяли меня с собою за семь копеек. Распростившись с мужичками, я поплелся пешком. Мне оставалось идти до Углича верст девяносто, но я первые два дня уходил едва по десяти верст. Кое-как, с трудом, я добрался до села Заозерья.

Село это было мне не совсем по тракту: оно отстояло от большой дороги версты на две или на три в сторону; но я захотел в него пробраться потому, что в этом селе жила одна наша родственница, выданная замуж за подрядчика — поставщика холста, потомственного почетного гражданина Ермакова. Я думал побывать у нее и попросить какой-нибудь помощи, но, придя в село, у меня не хватило смелости навестить богатую тетку, и я, переночевав у одного крестьянина, занимавшегося так же, как и мой отец, холщевничаньем, потащился далее. Заозерье от нашего города находится всего в тридцати пяти верстах, но я только на другой день после обеда мог прийти домой.

Не радость предстоящего свидания с родными после долгой разлуки наполняла мое сердце, а только стыд и страх терзали его. Немного не доходя до своего дома, я встретил отца, поклонился ему, но не решался подойти ближе и поздороваться, а он хотя и ответил на мой поклон, но не узнал меня. В сенях нашего дома я встретил младшую сестру и робко сказал ей:

— Здравствуй, Маша.

— Здравствуй, — ответила она, — ты кто такой?

— Как, неужели ты брата-то своего не узнала?

Она что-то пробормотала мне в ответ, чего я не расслышал, и повернула в горницу; я пошел за ней.

Войдя в горницу и помолясь иконам, я прежде всего, по обычаю, поклонился мачехе в ноги, а потом поздоровался с нею и с сестрой. Мачеха, здороваясь со мною, заметила, что я едва стою на ногах, подумала, что я пьян, и спросила:

— Что тебя, с ветру, что ли, качает?

Полагая, что она сделала такой вопрос из соболезнования, я ответил:

— Нет, так.

— Да, — говорит она, — ветер-то на улице не маленький, есть с чего пошатнуться.

Затем, сделав мне несколько вопросов: за что мне отказали, давно ли и как я добрался домой? — она послала меня в стряпущую — на печку, чему я был очень рад, не из-за того только, что мне хотелось погреться, а из-за того, что по приходе не сразу попадусь отцу на глаза.

Часа через два вернулся и отец с торга. Не знаю, как был он предупрежден о моем возвращении, но только, когда он вошел в стряпущую, а я, сойдя с печи, поклонился ему в ноги и поздоровался, он, не помню, чтобы очень ругал меня; помню только, что сказал мне:

— Хоть бы ты домой-то пришел не пьяный.

— Тятенька, я вовсе не пьяный. Мне и пить-то было не на что.

— Да ведь мать, говорит, видела, как ты шатался.

Я не мог оправдаться. Я чувствовал себя кругом виноватым перед ними, но мне было тяжело, что слабость мою от болезни мачеха приняла за пьянство и с первого же раза налгала на меня. Все-таки на этот раз я не стал более раздражать отца.

Как описать то внутреннее состояние, в котором я находился первое время по прибытии на родину? Страх и стыд неотступно терзали мою душу. С месяц или более я почти не выходил из стряпущей и не слезал с печи; идти в горницу было для меня настоящею пыткою. За столом я сидел как на иголках, мне постоянно думалось, что на меня смотрят, не много ли я съел или выпил, и потому нередко

выходил из-за стола голодным, особенно когда отец бывал дома. Отца своего я до того боялся, что почти постоянно избегал встречи с ним, — и это было не без причины. В продолжение шести месяцев, которые мне пришлось на этот раз пробыть на родине, я не только не слышал от него какого-либо ласкового слова, но даже не помню, проходил ли хотя один день, когда он был дома, чтобы он меня не обругал или, по крайней мере, не попрекнул Петербургом. Раз, я помню, он как-то немного выпил и, напустившись на меня, так стал жестоко бить железным аршином, что если бы не заступилась старшая сестра, бывшая на этот раз у нас в доме, то едва ли я вышел бы из его рук без увечья. В другой раз, когда он набросился на меня за что-то на дворе, я до того испугался и вместе с тем остервенился, что схватил какое-то орудие, и только мачеха, оттащившая отца за руку от меня, может быть, спасла его от беды.

Когда же отец уезжал на ярмарку, я делался несколько смелее; но все-таки избегал являться в горницу, опасаясь встретить кого-нибудь из родных или знакомых. Еще небольшая была беда, когда приходилось с кем встретиться и разойтись без разговоров, но если же кто из любопытства или, может быть, из участья начинал расспрашивать меня о моем житье в Петербурге, то от таких вопросов я просто сгорал со стыда, в душе желал любознательному собеседнику провалиться и всячески старался отделаться от него.

Работая что-нибудь на дворе, расчищая снег, нося дрова или воду, я постоянно прислушивался, не скрипнет ли калитка, и, услышав скрип, старался спрятаться от взора пришедшего, а когда нужно было сходить на Волгу за водой для самовара, то я делал это или утром рано, или вечером, чтобы меня не заметили соседи или не встретить кого-нибудь из знакомых.

Одежда моя, когда я прибыл на родину, как я раньше уже описал, была совсем плохая: старый засаленный полушубок, белье, что было на мне, и старые сапоги — вот и все. Впрочем, на первое время мне дали пару старого отцовского белья для перемены, и потому можно себе представить, насколько я был рад, когда однажды, чистя двор, мне удалось найти трехрублевую бумажку. Хозяина этой

бумажки у нас в доме не оказалось, и мне на эти три рубля, к празднику Пасхи, мачеха сшила новую ситцевую рубашку и казинетовые штаны.

С наступлением весны как ни было тяжело мое положение, но молодость начинала брать свое; мне хотелось и погулять, и иметь какую-нибудь работу. Я стал мечтать снова о Петербурге или о холщевничанье вместе с отцом; но я не смел его просить ни о том ни о другом, и только когда он был выбран в сторожа городской бесприходской церкви царевича Димитрия, я решился его просить, чтобы он не нанимал за себя постороннего на эту должность, а позволил бы мне исправлять ее. Отец согласился, и я каждую ночь стал ходить сторожить церковь.

Церковь царевича Димитрия находится в самой средине города, на высоком берегу Волги, которая в этом месте имеет довольно большой изгиб, и потому вид от церкви очень живописен; с правой стороны, у самой почти церкви, находится довольно глубокий овраг, называемый у нас просто ручей, служивший прежде, по описанию городских летописцев, крепостным рвом, но в настоящее время ручей этот наполняется водою только весной, во время разлива Волги. За ручьем тянется Фроловская набережная, за которой второй ручей, а за ним, по чрезвычайно крутому и высокому зеленому берегу, расположены большие каменные дома, обладатели которых в прежнее время занимались кожевенным производством, и потому при каждом доме виднелись кожевенные сушильни; затем пейзаж заканчивался пригородным селом Золоторучьем.

С левой стороны церкви, немного дальше от берега, возвышается остаток старинного княжеского дворца — небольшое каменное здание с слюдяными окнами, огороженное оградою с железною решеткою; в верхнем этаже его находилась, как гласит история, палата царевича Димитрия, а в нижнем устроен совершенно темный подвал, из которого, по народному преданию, в старинные времена были прокопаны подземные ходы под Волгу в Красное Село и Орлек, княжеские усадьбы, находящиеся от города верстах в двух или трех. Ближе же к Волге устроена терраса, на которой расставлены старинные пушки и пищали, бывшие прежде на стенах городской крепости. Немного

далее стоит Преображенский собор, а рядом с ним довольно большой и тенистый городской сад, затем опять ручей, а за ручьем набережная, на которой находятся лесные биржи.

Напротив церкви, через Волгу, стоит очень большая и красивая каменная дача Супонева с огромным и роскошным садом; правее от нее виднеется роща и усадьба Скрипицына, а с левой стороны находится часть города, называемая у нас Заволжьем, за которой видна Богоявленская гора, одна из самых высоких и крупных по всей Волге, получившая свое название от монастыря, в старину находившегося на ней и теперь не существующего.

На Волге, у самого спуска от церкви, стояла пароходная пристань, а несколько правее, через ручей, находились яичные и хлебные пристани. Около яичных пристаней, под горою, стояли шатры, в которые сваливали привозимые из деревень барышниками яйца. В этих шатрах очень часто ночевали приказчики, а на каждой бирже были караульные, так называемые коренные. Из них было много молодых парней, с которыми я скоро подружился и нередко, оставляя церковь на произвол божий, прогуливал целые ночи. Это не могло укрыться от отца: соборные сторожа, нередко видя, как приходили ко мне приятели, а иногда и женщины, и как я оставлял церковь и уходил с ними, передали о моем поведении нашему церковному старосте, а тот пожаловался на меня отцу; отец угрожал меня высечь на конюшне, но я на этот раз успел куда-то скрыться и несколько дней не показывался ему на глаза.

Однажды, отправляясь на сторожку, я захватил с собою кувшин для волжской воды и когда, прогуляв по обыкновению ночь и выпив с приятелями, нес домой кувшин на голове, запутался в отцовском длинном армяке, уронил кувшин и разбил.

Я видел, что беда была неминучая, что мне не миновать отцовских рук, и потому, не зная, как избавиться от побоев, прежде всего спрятался в огороде между гряд и высматривал оттуда, когда отец уйдет на торг.

По уходе его я тихонько пробрался в конюшню и залез на сеновал, а так как более половины потолка над конюшнею было разобрано и распилено на дрова, то из конюшни можно было видеть большую часть сеновала.

Вот тут-то мне и пришла мысль, чтобы избежать побоев, постращать отца самоубийством.

С этой целью я отыскал не толстую, но крепкую веревку; на одном конце ее сделал мертвую петлю, а другой конец прикрепил на самом видном месте, к стропилам крыши. Затем я отворил окно, нарочно, чтобы было больше света, и уселся на перекладину, взяв в левую руку петлю веревки, а правую рукою подпер голову, как будто раздумывая тяжелую думу. В таком положении я решился просидеть до тех пор, пока меня не заметят.

Прошло полчаса, а может быть и того менее, в конюшню вошла гостившая у нас в то время сестра моей мачехи. Открытое мною слуховое окно привлекло ее внимание... Но я не дрогнул, не пошевельнулся, не подал виду, что ее заметил, а только еще более насупился и угрюмее сдвинул брови, представляя себя настолько погруженным в свои мысли, что будто ничего не замечаю. Она же, притворив тихонько за собою дверь, как будто боясь разбудить меня, опрометью побежала в дом.

По уходе ее я сначала ухмыльнулся, думая, что все будет по-моему и моя жизнь изменится; но вслед за этим в голове моей шевельнулась мысль совершенно противоположная; а что, подумалось мне, если мачеха с отцом не обратят внимания на мою проделку, и мне, просидев так несколько времени, придется или самому слезть с сеновала, или, что еще хуже, отец придет меня снимать кнутом либо палкою; тогда хоть и взаправду давись. Но, к счастью моему, это предположение не оправдалось; не прошло и двух минут, как в конюшню вместе с сестрою вошла мачеха и, увидав меня сидящим в таком положении, кликнула: «Николай!»

Я на первый оклик ничего не отвечал, но затем, как будто выведенный из глубокой думы, вздрогнул и уставил на нее глаза.

— Николай! — повторила опять мачеха.

— Ну что? — отвечал я на второй оклик.

— Что ты тут сидишь?

— Да так, ничего, — и с этим словом я выпустил веревку из рук, как будто желая скрыть свое намерение.

— Что же ты не идешь домой?

— А зачем?

— Как зачем? Иди чай пить.

— Не хочу я чаю.

— Ну вот, не хочу. Иди, говорят, самовар только для тебя и стоит на столе.

— Не хочется мне чаю-то сегодня.

— Иди, тебе говорят, чай пить, пока отец на торгу.

Я, как бы нехотя, поднялся с перекладины, спустился вниз и тихонько пошел домой. На столе действительно стоял еще самовар, но он был уже остывший. Сейчас же в него положили горячих угольев и, чего никогда не бывало, заварили свежего чаю и принесли кринку горячего молока... То мачеха, то ее сестра попеременно приходили и наливали мне чаю; а я, усевшись в сторонке и уткнув лицо в окно, с таким удовольствием и аппетитом пил чай, с каким не пивал все эти шесть месяцев; хотя я все еще старался хмурить брови и смотреть исподлобья, но в душе был рад, что моя выдумка имела такой оборот.

В это время пришел с торга отец и, увидав меня, не снимая картуза, прямо обратился ко мне с вопросом:

— Где это, молодчик, ты изволил быть?

Я взглянул на него исподлобья и молчал; но вслед за ним вбежала в горницу младшая моя сестра и закричала:

— Тятенька, тятенька, иди-ка скорее в стряпущую, маменька зовет.

А мачеха из сеней тоже кричит:

— Иван Иваныч, поди скорей сюда, нужно.

Отец вышел из горницы, а я остался допивать чай.

Покончив с чаем, я вышел на двор и направился к бане.

Отец с мачехой что-то толковали у конюшни; заметив меня, отец мягко кликнул: «Николай!»

Я оглянулся, остановился, но ничего не отвечал.

— Пойди-ка сюда, — еще мягче сказал отец.

Я молча подошел к ним.

— Ну, что ты хочешь делать? Здесь ли заняться чем хочешь или опять в Петербург?

— В Петербург бы поехал, — отвечал я сухо.

— Ну, так вот сегодня вечером в Тверь-то пароход пойдет, так и поезжай, коли хочешь.

— Ну ладно, — говорю, — я поеду.

— Так я сейчас пойду, выправлю тебе паспорт.

— Хорошо, выправьте, — ответил я и пошел прочь.

Они ни одного слова не спросили меня, с каким намерением я привязал веревку с мертвой петлей, а я не поднимал от земли глаз и не мог видеть, снята ли она была со стропил в то время или нет.

Точно по щучьему велению, все устроилось в несколько часов: отец взял мне паспорт и купил поддевку, мачеха ситцу на рубашки и истопила баню, а тетка и сестры сшили мне белье. В восемь часов вечера я был совсем готов, а в девять, распростясь во второй раз с родиной, уже отправился снова в Петербург.

Вступив на пароход, я почувствовал себя как бы вырвавшимся из тяжкой неволи, хотя родина все еще была мне мила, но пережитое в эти шесть месяцев дома было для меня самым тяжелым гнетом.

Глава пятая

На пароходе. — Мечты. — Поденщина на голландской бирже. — В сливочной лавке. — Семейство моего хозяина. — Поступление в мелочную лавку. — Отказ от места по неспособности. — Дачевладелец и трактирщик Налисов. — Моя первая любовь. — В ледоколах. — В кегельбане. — Передвижной трактир. — Скитание по разным местам. — Вяземский дом. — Полумонах Саша. — Его оригинальная торговля. — Прусков. — Разыскивание рекрута. — Дорофеев и Тузов. — Торговля лубочными картинами. — Окончание срока моему паспорту. — В арестантской. — Староста Сенька-бродяга. — На поруках. — Бедствия. — В водоливах. — Без занятий. — Чтение и стихи. — Отъезд на родину

Мерно шедший пароход, на котором находилась масса разнообразного народа и несколько музыкантов и на котором мне приходилось ехать в первый раз, увозил меня опять на свободу. Я был рад, что освободился от отцовского гнева; но я не был зол на отца. Всю дорогу до Петербурга

я был в самом приятном настроении духа и мечтал о том, что по приезде поступлю на какое-нибудь место или займусь каким-нибудь делом и уже не буду прокучивать деньги, а стану часть их отсылать отцу и младшей сестре на обновки, а другую часть буду беречь для того, чтобы в следующий раз можно было приехать домой хорошим молодцом, которого все почитали бы как настоящего питерца. Из прошлой своей петербургской жизни я, признаться по совести, жалел только о том, что не умел беречь краденные у хозяина деньги, и, отправляясь снова в Петербург, не закаивался не красть, если к этому представится возможность. Живя на родине, я узнал, что в деревне питерцев почитают более всего по присылаемым и привозимым ими деньгам, а не по тому, как они жили там, — честно или нет. Конечно, открытое воровство осуждается, но такие кражи, как кража из хозяйской выручки, в большинстве считается только наживой.

По приезде в Петербург я отправился к сестре, жившей тогда на Черной речке. Зять и сестра приняли меня довольно радушно и стали хлопотать о том, как бы мне приискать место, а я между тем принялся с одним родственником за поденную работу на голландской бирже. Хотя я был еще молод и невелик ростом, но был довольно силен и в семнадцать лет работал на бирже самые тяжелые работы, перевешивая свинец и сандал; но к работам на бирже мне еще придется вернуться, и тогда я постараюсь описать их, насколько могу.

Недели через две мне вышло место в сливочную лавку на Черной речке с жалованьем по четыре рубля в месяц, но и этому я был очень рад, потому что мне в первый раз еще приходилось служить за жалованье.

Лавка, в которую я поступил, была очень небольшая. В ней торговал сам хозяин, и, кроме меня, не было никакой другой прислуги во всем доме. Семейство хозяйское состояло только из трех человек: хозяина с хозяйкою и отца хозяйки, в доме которого и находилась лавка. Прожил я на этом месте полтора месяца, потому что лавка открывалась только на лето, пока жили дачники. Так как служащих, кроме меня, не было, то мне приходилось ис-

правлять здесь всякую работу: я убирал скотину (было две коровы и лошадь), копал картофель, ездил в город за товаром и торговал в лавке.

Я уже сказал, что хозяйское семейство состояло только из трех лиц; но такого несогласного и безобразного семейства я еще не встречал.

Владелец дома, тесть моего хозяина, прожившийся купец, впоследствии служивший в ратниках, был страшный пьяница и буян. Бывало, как только выйдет из кабака, то, по крайней мере, за полверсты слышно, как он орет.

За безобразия и буйство полиция много раз забирала его под арест, но это нисколько не помогало, и на него, как говорится, махнули рукой. Дома он также постоянно буянил, и я его сильно боялся, но Бог миловал, я не попадался под его кулаки.

Зять его, мой хозяин, тоже постоянно пил и так пил, что несколько раз сходил с ума. Но он, по крайней мере, был очень смирный человек, и чем пьянее, тем смирнее.

Говорили, что он до женитьбы был очень степенный и трезвый человек и хороший торговец; но как женился, так и начал запивать, и эти запои перешли наконец в постоянное пьянство.

Жена его, еще очень молодая женщина, до того была сварлива, что без ругани, без чертыханья, кажется, не умела и говорить. Она постоянно с кем-нибудь ругалась — или с отцом, или с мужем, или со мной. Все соседи и знакомые приписывали пьянство ее мужа ее сварливому и, можно сказать, полусумасшедшему характеру.

До меня у этих хозяев за лето, с мая месяца, пережило шесть человек служащих; никто не мог выдержать этого содома более месяца, но я прожил до закрытия лавки. Воровать мне в этой лавке, как у Киселевых, было невозможно потому, что выручка постоянно запиралась хозяином: он ее не доверял не только мне, но и жене и тестю. Если же когда случалось, что он пьяненький оплошает припрятать ключ, то непременно кто-нибудь уже сходит в выручку и частичку утянет оттуда. Впрочем, я должен сознаться, что сигары, папиросы и кой-какие лакомства я и тут крал.

Так же как и мои предместники, я не смог долго ужиться у пьяных хозяев, и в половине сентября я опять остался без дела и поселился у зятя. Я пробовал было искать какого-нибудь места или поденной работы, но не мог найти ни того ни другого и должен был пропутаться с лишком два месяца без занятий и даром ел чужой хлеб.

В конце ноября сестра выхлопотала мне место в мелочную лавку на углу Малой Садовой и Итальянской улиц, по пяти рублей в месяц. В мелочной лавке жить показалось мне очень тяжело. Месить квашню с непривычки до того было трудно, что я в три дня натер себе кровяные мозоли и так уставал за этой работой, что пот лил с меня градом, тогда как мальчишка, живший тут третий год, так привык, что месил квашню очень свободно, будто играя. Хозяин, полустаровер, строгий и скупой старик, видя мою неспособность, через месяц отказал мне, и я отправился опять на Черную речку к зятю.

Зять в это время квартировал в доме мещанина Ивана Алферовича Налисова, который прежде был берейтором у графини Строгановой, где и нажил себе небольшой капиталец, на который купил две довольно порядочные дачи на углу Черной речки и теперешней Сердобольской улицы и в одной из них устроил трактир.

Налисов открывал трактир только на лето, притом без крепких напитков, так что он был похож скорее на постоялый двор, где приставали разные дачные торговцы, бродячие музыканты, шарманщики и тому подобные промышленники. Все сараи, конюшни, чердаки заняты были ночлежниками и их товаром.

Мне два лета приходилось служить у Налисова, и я более всего, по своему пристрастию к чтению, старался знакомиться с букинистами, которые тогда ходили по городу и по дачам с перекидными мешками. Кроме любви к чтению, мне нравилась и самая их торговля, в то время очень выгодная и свободная, и я страстно желал сделаться букинистом.

Не зная хорошо трактирного дела и при этом пускаясь в разные спекуляции, Налисов в скором времени расстроил свое состояние. В то время, о котором я говорю,

дела его были уже очень шатки; он жил довольно бедно, и дачи его были заложены. Семейство Налисова состояло из жены, двоих сыновей и двух дочерей.

Младшая дочь Катя училась в финской школе и всю неделю находилась у своей тетки в городе, а домой приходила только на праздники. Ей было четырнадцать лет. Красивенькая, веселенькая девушка, она часто ходила наверх к моей сестре и просиживала иногда целые вечера. Мне было тогда восемнадцать лет, и я влюбился в Катю первою чистою любовью; но я скрывал свои чувства от всех посторонних и от нее. В продолжение четырех лет, до второй моей поездки в Углич, я любил Катю неизменно; но я ни разу не осмеливался признаться ей или сказать кому-либо другому о своей любви, хотя все мое воображение, все мои мечты только и были наполнены ею.

Первое время, по оставлении мелочной лавки, я вздумал было поискать какую-нибудь работу: ходил несколько раз на голландскую биржу; но зимой там было очень мало работы, и я ни разу не мог попасть в поденщину.

Зять мой в то время барышничал: ездил на большую дорогу под Поклонную гору, в Парголово и по деревням, где и скупал разную живность: коров, телят, поросят и пр., которых иногда резал дома, а иногда живьем продавал в городе. Мне нравилась эта торговля; но зять очень редко брал меня с собой и вовсе не хотел приучать к ней. После же Крещения, видя, что я не могу найти сам себе дела, он купил другую лошадь и пристроил меня возить лед.

Проработав месяца полтора с ледоколами, я опять остался без дела, но уже мало и заботился о нем: мне нравилось жить у сестры потому, что, хоть раз в неделю, я мог видеть Катю.

После Пасхи Иван Алферович, который представлялся мне в мечтах моим будущим тестем и которому я старался всячески выказать уважение, рекомендовал меня в услужение при кеглях, на углу Черной речки и Ланского шоссе.

На кеглях будние дни у меня были совершенно свободны от работы, но зато по ночам и в праздники доставалось порядком. Жалованье было очень маленькое:

помнится, что я получал только три рубля в месяц; но Иван Алферович и хозяин наобещали мне очень хороший чайный доход, который на самом деле был, однако, тоже очень скудный.

В это лето хозяин мой с Иваном Алферовичем составили компанию для чайной торговли на гуляньях.

Иван Алферович из своего заведения отделил кое-какую мебель: столы, стулья, а также посуду и скатерти; а хозяин мой, Христиан Иванович, взял напрокат палатку для трактира, кубы и обязался нести все расходы по перевозке и покупке чая и проч. Для перевозки нашего подвижного трактира нанималась большею частью мебельная лодка. Торговать ездили мы на Куллерберг, на Крестовский остров, на Пороховые в Ильинскую пятницу, на Елагин остров 22 июля и на Смоленское кладбище 28 июля.

В последнее гулянье компаньоны поссорились между собою из-за каких-то расчетов. Кто из них был прав, кто виноват или, вернее сказать, кто из них кого опутывал, я не знал; но получил приказание от своего хозяина везти все трактирное заведение прямо к нему. Проезжать нужно было мимо дач Налисова, и Иван Алферович просил меня остановиться с лодкою у него и не ходить к хозяину, пока не выгрузят всего имущества. По долгу службы я должен был исполнить приказание хозяина, но, из любви к Кате, я предпочел услужить Ивану Алферовичу, за что и был отказан от места.

Впрочем, я скоро опять поступил в сливочную к прежнему хозяину, но на этот раз прожил тут недолго, рассорился с хозяйкой и опять перебрался к зятю.

Вторичное пребывание мое в Петербурге продолжалось с лишком четыре года (с 1856 по 1861 год), и во все это время я переменил более десятка должностей. Кроме описанных уже мною: трактирской, мелочной, сливочной, я служил еще у Дорота в ресторане, у Гадалина в кондитерской, на Петербургской стороне в булочной, сторожем при балагане Симонсона, в печниках, кухарем у портных и в разных поденных работах; но при всем том я очень часто находился и без дела. Летом я всегда имел какое-нибудь занятие; но зимой, когда находился без дела, про-

живал большею частию у зятя или у Налисова, а нередко приходилось ночевать и под забором. Я не был ленив, в то время не пьянствовал и потому могу объяснить все эти неудачи двумя причинами: во-первых, вспыльчивостью, упрямством и безрассудностью моего характера. Я не мог или, вернее, не хотел переносить иногда очень справедливые выговоры, делаемые мне моими хозяевами. Во-вторых, моей любовью к Кате. Где бы я ни служил и как бы выгодна ни была эта служба, но меня постоянно тянуло на Черную речку. Жить близ Кати, видеть ее постоянно было моим наслаждением. Я совсем не хотел служить на тех местах, где не было свободного времени, в которое я мог бы, под каким-нибудь предлогом, побывать у Налисовых. В летнее же время для меня положительно становилось в тягость житье в городе, почему я каждое лето непременно старался попасть на какую-нибудь должность на Черной речке; приятнее же всего было служить у отца Кати. Тут я служил ревностно и честно, несмотря на безвыгодность и кратковременность этой службы.

В конце 1859 года, отойдя от Гессе, портного в Пассаже, у которого я был поваром для мастеровых, я пошел приискивать себе квартиру. Проходя по Обуховскому проспекту, у ворот дома князя Вяземского я увидел билетик, на котором значилось, что в квартире № 4 отдаются углы. Не раздумывая, я зашел туда и нанял себе помещение за рубль в месяц. Я не имел еще тогда понятия, что значит Вяземский дом. Я не знал, что попадаю в знаменитую Вяземскую трущобу, в то время известную более под названием Полторацкой.

Квартира, в которую я попал, находилась в том же флигеле, над банями, в котором я и сейчас пишу эти строки, но только этажом ниже. Ее содержал столяр, работавший с двумя сыновьями. Она состояла из двух равных по величине комнат. В первой по стенкам были устроены койки, из которых две занимал хозяин с сыновьями, а остальные отдавались жильцам; посредине же были поставлены верстаки. Во второй находилась русская печь, три маленькие каморки, небольшие нары и полати. На этих-то полатях я и поместился.

Всех жильцов в нашей квартире было около двадцати пяти человек. Тут жили мелкие торговцы, разные рабочие, нищие и люди неопределенных занятий. Между всем этим людом мне особенно памятен один безбородый полумонах, полумужчина, полуженщина. Саша, так звали его, ходил постоянно, зимою и летом, в каком-то капоте, вроде подрясника, а на голове носил что-то среднее между монашескою шапкою и женским капором. Голос у него был какой-то пронзительно-пискливый, скорее похожий на птичий, чем на человеческий. Он был не плешив и никогда не стригся, но волосы у него на голове так были редки и коротки, что голова его казалась совсем полунагой.

Саша занимался оригинальным ремеслом-торговлею. Он покупал в рынке большие медные кресты, подпиливал их, наподобие старых, серебрил по известному ему способу, затем навязывал их на мокрый шнурок и в банный день, взяв под мышку грязное белье и мокрый веник, носил их по одной штуке продавать за серебряные, уверяя простодушных покупателей, что нашел крест в бане.

Каждый крест обходился Саше копеек в пять-шесть, а продавать удавалось за рубль-полтора и дороже. Таких крестов он продавал штук шесть и более в день, зарабатывая постоянно рублей семь-восемь и даже десять; но всю выручку Саша каждый вечер прокучивал с женщинами в притонах разврата. Говоря о своей квартире, считаю не лишним сказать несколько слов вообще и о пресловутом доме Вяземского и его жителях.

В то время существовал еще знаменитый Полторацкий переулок, против которого на Сенной находился обжорный ряд и ютились всевозможных родов промышленники; начиная с цирюльника, торговца нюхательным табаком и кончая изобретателями игры на рыбку и на рака и в ремешок.

Двор этого дома был немощеный и редко чистился, вследствие чего грязь и летом и зимой была непроходимая, а воздух одуряющий. Как велико было население Вяземского дома, не могу сказать; но в то время тут находились еще четыре жилых флигеля, из которых три теперь уже сломаны, а четвертый превращен в конюшню и кладовые.

При массе людей, проживавших с надлежащими видами и прописанных, проживало много беспаспортных и таких, которые почему-либо не хотели прописаться или прописывали подложные паспорта. Здесь находились также и мастера всевозможных фальшивых документов. Конечно, обо всем этом я узнал уже впоследствии, главным образом от своего товарища Прускова, о котором будет говориться ниже.

Может быть, прежде среди жильцов Вяземского дома было тогда более, нежели теперь, личностей, занимавшихся разными темными операциями; но при всем том тридцать два года назад совсем не было слышно, чтобы в квартирах этого дома производилась торговля вином; если же и торговали, то, по всей вероятности, не так свободно и не в таких размерах, как теперь идет эта торговля. Это обстоятельство следует, мне кажется, приписать особенной бдительности агентов прежних винных откупов.

Поселившись в Вяземском доме, я вначале ничем не занимался, а только проедал оставшиеся у меня деньжонки; но скоро я их истратил и продал уже некоторые мелкие вещи. Надо было приниматься за работу, а ее не было, и мне нередко приходилось голодать.

В это время к нам переселился из другой квартиры старорусский мещанин Павел Евстифеев Прусков. Это был еще очень молодой человек — лет двадцати трех-четырех и хорошо грамотный. Он прежде занимал на каком-то казенном заводе выгодную должность, где, кроме жалованья, наживал еще деньги от казенного добра; но, потерпев неудачу в любви, стал пьянствовать и потерял должность.

С Прусковым я скоро сдружился, и он сделался для меня верным товарищем. Да и для всех вообще трезвый Прусков был, что называется, душа человек; но пьяный он проявлял невыносимый и буйный характер, рвал на себе одежду, разбивал, что попадалось под руку, и готов был драться с каждым встречным и поперечным.

У Прускова была мать, жившая в услужении, и брат, но последний был мазурик и в то время, когда я познакомился с Прусковым, находился где-то под арестом. Про

брата своего Прусков рассказывал, что тот делал такие смелые кражи и грабежи, что даже на Сенной его ужасно боялись. Он несколько раз судился, а в Спасской части (тогда 3-я Адмиралтейская) содержался под арестом в один месяц раз по десяти и более и до того надоедал приставу и квартальному надзирателю, что те предлагали ему деньги, лишь бы он выселился из подведомственного им района.

Прусков проживал в доме Вяземского уже не первый год, и потому у него было много знакомых. Благодаря им он достал и себе и мне работу: бить сваи на устраиваемых тогда через каналы перемычках для водопроводных труб. Впрочем, работа эта продолжалась недолго, и мы недели через три остались опять без дела.

У Прускова, кроме знакомства в Вяземском доме, было немало еще знакомых и на стороне. Он знал всех сенновских фискалов, мазуриков, подделывателей фальшивых документов и тому подобных промышленников, хотя сам ничем таким не занимался.

Однажды к нему пришел бессрочно-отпускной солдат Иван Матвеев, уроженец Царскосельского уезда, который до солдатства занимался производством капорского чая и сдачею охотников в солдаты. Потолковав кое о чем в квартире, он пригласил меня с Прусковым в трактир, где и спросил, не знаем ли мы какого-нибудь молодца, который согласился бы продаться в солдаты, обещая нам по полсотне рублей за рекомендацию. Я отозвался незнанием таких людей, а Прусков и по этой части оказался сведущим человеком. Он обещал Матвееву побывать и разузнать в разных местах, а мне присоветовал пошляться по кабакам и поспрашивать у кабацких завсегдатаев, нет ли желающего продаться.

И вот я отправился бродить по окрестным кабакам... Придешь, свернешь махорочную папироску, осмотришь публику и подойдешь к какому-нибудь молодцу, предложишь ему покурить, а потом поведешь расспросы: при деле он или без дела? какого звания? сколько ему лет?.. Потолковав таким образом, начинаешь уже переходить к делу. «Вот, — говоришь, — у меня есть знакомый богатый

человек и добрейшая душа; ему хочется за своего сына приискать человека в солдаты. Уж он всю жизнь не оставил бы этого человека!» И затем начинаешь расхваливать солдатское житье.

После долгих поисков нам с Прусковым удалось найти для Ивана Матвеева подходящего человека; но он оказался с некоторыми недостатками, и его нельзя было сдать в солдаты в Петербурге. Иван Матвеев имел знакомых чиновников в Новгородской казенной палате, способных, как он говорил, за деньги принять и совсем неспособного. Он обещал взять в Новгород и меня с Прусковым, чтобы там при сдаче, на месте, выдать нам обещанный гонорар; но вместо того уехал в Новгород только с хозяином клиентом и с охотником. Когда же вернулся из Новгорода, сдав охотника, то начал жаловаться на хозяина, для которого ставил рекрута, что тот будто бы его обманул и не отдал по условию за сдачу денег, почему мы с Прусковым и остались ни с чем.

В той же квартире, кроме описанных мною Саши и Пpускова, нанимал каморку крестьянин Калужской губернии Филипп Дорофеев. Он проживал с женою и сыном, тогда еще десятилетним мальчиком, а в настоящее время — купцом, имеющим бумажные магазины и конвертную фабрику.

Как ни тесна была каморка Филиппа Дорофеева, но он помещал в ней еще жильца, своего родственника, отставного солдата Тузова (отца теперешнего гостинодворского книгопродавца).

Дорофеев в прежнее время был подрядчик-каменщик, но, разорившись на некоторых подрядах, бросил свое ремесло и принялся за выгодный и тогда еще дозволенный промысел — лотерею.

Они с Тузовым ходили с фортункою и косточками по трактирам и казармам, где и разыгрывали платки, картины и прочие безделушки. Торговля, или, вернее, промысел этот был настолько выгоден, что они очень часто доставали на нем по семи и десяти рублей в день на человека. Кроме того, Дорофеев с своею лотереей ездил и по ярмаркам, где барыши его были еще прибыльнее. Товару

у Дорофеева было много: он покупал его партиями, а потому мелкие разносчики ходили к нему на квартиру покупать разные лубочные картины и мелкие книжки.

Я в свободное время поучивал его сына грамоте, а по праздникам и по вечерам брал картины и ходил торговать ими по трактирам. В то время картины были еще самой простой работы, преимущественно московских литографий (черные и раскрашенные) и раскупались очень хорошо.

Самая лучшая для меня торговля была в трактире «Малинник» на Сенной, против гауптвахты. Во дворе дома, где находился означенный трактир, насчитывали до пятнадцати заведений с публичными женщинами. В одну половину трактира этих женщин не пускали, но зато другая половина была переполнена ими, солдатами и разным сбродом. По вечерам и праздникам там бывала такая масса народу, что не только не хватало столов и стульев, но и все пустые пространства были заняты толпами.

Во время этой торговли картинами я познакомился с моим земляком, букинистом Серапионом Хорхориным. Как и прочие букинисты, он торговал с перекидными мешками, но торговал не по господам, а преимущественно по рынкам, продавая и давая читать книги разным торговцам. Я ходил с ним торговать несколько раз, но для меня эта торговля была невыгодна, потому что все вырученные деньги к вечеру мы пропивали.

Наступил март месяц, и подоспел срок моему паспорту. Денег у меня не было ни копейки. Зятя просить я не хотел — боялся. На Черную речку в эту зиму я также не ходил, одичал и избегал всех знакомых.

Как сейчас помню, был хороший, ясный день. Я вышел на двор, и у меня невольно покатились слезы. «Вот, — подумал я, — начинается и весна; все как будто оживает; солнце светит так весело, а мне приходится идти в неволю и по этапу отправляться на родину».

Не сказав никому ни слова, я купил два листа бумаги, написал два больших жалобных письма, одно — к зятю, а другое — к родителям; потом пригласил Прускова пройтись со мной недалеко. Дорогою я объяснил ему, что у меня

уже кончился срок паспорту и я намерен идти в часть и просить, чтобы меня отправили по этапу на родину. Затем я просил Пруськова передать написанные мною письма сестре. Мы отправились с ним в Апраксин рынок, где я сменял свою сибирку на какой-то кафтанишко, после этого зашли в трактир и там распрощались.

В квартале я застал дежурного помощника надзирателя, которому объяснил свое положение, и он, написав отношение, отослал меня в арестантскую.

Арестантская, в которую меня посадили, была коротенькая комната в три окна. Под окнами, от стены до стены, устроены были сплошные нары, а между ними и задней стеной было небольшое, аршина в полтора, пространство.

На нарах первое место от двери, под окном, занимал староста. У него постлан был довольно мягкий матрац, две или три подушки и хорошее одеяло. Ближе к нему помещались его помощники. Остальные места раздавались тоже по распоряжению старосты, и на них клали или тех, которые уже долго содержались, или тех, у кого были порядочные деньги. Остальные арестанты размешались или под нарами, или на полу в проходе.

Всякого вновь приведенного арестанта помощники старосты постоянно встречали со словами: «А, в гости! Милости просим! Только надо тебя обыскать, нет ли у тебя ножа?» Под предлогом искания ножа они осматривали все карманы, снимали сапоги, и если находили какие-нибудь ценные вещи или деньги, то передавали их старосте, который часть денег отдавал помощникам за парашку, т. е. за уборку сортира, часть выпрашивал на масло к образу, часть брал себе, за что обещал дать хорошее местечко на нарах. Впрочем, последнее условие не всегда исполнялось, потому что на нарах могли поместиться не более тридцати человек, а всех арестованных в первую ночь, помню хорошо, было семьдесят два человека.

Старостой Спасской части на этот раз был старый, т. е. опытный, арестант. Ею звали просто Сенька-бродяга. Он уже раз восемь ходил под чужим именем по этапу в разные места, откуда или освобождался, или убегал и опять возвращался в Петербург. На этот раз Сенька уже около

двух лет содержался за справками и с лишком год находился старостою, от чего и нажил хорошие деньги. Говорили, что у него было сот около пяти капитала и много серебряных и золотых вещей, несмотря на то что он пришел в часть в опорках.

На второй день моего ареста меня с другими арестантами послали на работу — подметать улицу вокруг частного дома. Памятно мне и посейчас, с каким озлоблением смотрел я на проходящих свободных людей. Не знаю почему и за что, но мне так и хотелось каждому проходящему пустить в загривок метлою.

Прошло уже три дня, как я содержался в части. Была Вербная неделя, и на Вербной же был день Благовещения. В Благовещение, утром, часов в десять, меня вызвали в контору. Я сначала думал, что с меня хотят снять еще допрос для отсылки справок на родину. Но, войдя в канцелярию, я увидел своего квартирного хозяина, Прускова и Филиппа Дорофеевича.

— Мы пришли взять тебя на поруки, — сказал мне Дорофеев. — Хочешь ли на волю?

Я положительно не ожидал такого счастия и, остолбенев, стоял, не зная, что ответить и кого благодарить.

— Вот, если хочешь, — продолжал Дорофеев, — так мы попросим у надзирателя тебя на поруки, а завтра сходим в адресную экспедицию, и я выправлю тебе отсрочку.

Я поклонился в ноги Филиппу Дорофеевичу, и слезы благодарности брызнули у меня из глаз.

— Не меня благодари, — сказал Дорофеев, — а жену; это она упросила меня; говорит, что в этот день и птичек на волю выкупают из клетки.

Через полчаса я уже был на свободе.

На Пасхе я опять принялся за торговлю картинами. Но дело вышло так плохо, что я спустил свой товар с большим убытком, а деньги все истратил. Я побоялся показаться Дорофееву, от которого брал товар без денег, и начал скитаться.

Много ли, мало ли времени я скитался, теперь уже не помню; помнится только, что мне приходилось ночевать в водопроводных трубах, огромное количество которых

лежало тогда около памятника Петра Великого. Наконец я отправился на Черную речку к сестре, а потом решился уже показаться и на квартиру.

Как приняли меня квартирный хозяин и Дорофеев, я уже не упомню; помню лишь, что с этого времени мне приходилось опять много голодать. Я даже доходил до того, что терся и прислуживал около мазуриков в знаменитом тогда притоне — Сухаревке (Сухаревка, в настоящее время трактир «Ярославль», находится в доме Вяземского, по Обуховскому проспекту).

В июне месяце Прусков поступил в водоливы на лодки-паузки, доставлявшие песок на кирпичный завод за Охтою, и на эту работу пригласил меня с собою.

Работа была очень легкая, или, вернее сказать, ее почти и совсем не было, а получали мы по полтиннику в день, из которых пятнадцать копеек платили обжигалу за харчи. В свободное время, которого у нас было вволю, мы ездили на лодочке в Матросскую слободку в трактир не столько пить чай, как читать газеты.

Проработав здесь несколько недель, я наконец совсем ушел к сестре на Черную речку, где остальное время лета ходил собирать грибы.

Зиму до половины февраля я тоже прожил у зятя. Работы нигде не было никакой; да я ее и не искал уже потому, что находился опять без паспорта и собирался уехать на родину, но недостаточность средств задерживала мой отъезд. Полное отсутствие какого-либо занятия развило во мне еще более страсть к чтению, и я за это время много перечитал романов, повестей и мелких стихотворений, а чтение, в свою очередь, породило во мне желание и самому писать. Я написал восемь или десять стихотворений, которые почти все посвящал Кате. Грустно мне было оставлять Петербург и расставаться с Катей, но я сознавал бесцельность своей петербургской жизни и потому стремился поскорее на родину.

Перед отъездом я зашел вместе с сестрою проститься к Налисовым. Прощание было самое сердечное, а у Кати я заметил навернувшиеся на глазах слезы. Любила она меня или нет, я не мог этого узнать, но все время нашего зна-

комства она была со мною ласкова. На вокзале я передал сестре раньше приготовленное мною письмо к Кате, в котором писал, что безнадежность моей любви к ней заставляет меня покинуть Петербург. Но это была неправда.

Глава шестая

Возвращение на родину. — Холодный прием со стороны родных. — Поступление в кучера к поверенному питейными откупами. — Работа на плотине. — Поступление на фабрику. — Иван Иванович Гоберт. — Порядки на фабрике. — Вторая любовь. — Оставление фабрики. — В овощной лавке. — В лачуге у товарища. — Неудачное обращение за помощью к архимандриту. — Дома у отца. — Путь в Петербург

В феврале месяце 1861 года я вторично приехал из Петербурга на родину.

Я уже говорил, что предыдущие перед этим с лишком четыре года я прожил или на разных очень незавидных местах, или совсем без занятий, а потому мне и во второй раз пришлось приехать из Питера ни с чем.

Зять тогда сам жил очень небогато, и отправить меня на родину стоило ему немалого расчета. Но сестра настолько меня любила, что, несмотря на свои нередко стесненные обстоятельства, всегда старалась, чем только возможно, помочь мне. И на этот раз она, опасаясь, чтобы я без паспорта как-нибудь не попал в полицию, упросила мужа дать мне на дорогу денег, а сама снабдила бельем и необходимыми подарками для родных.

В то время Рыбинско-Болотовской железной дороги еще не было, и мы ездили из Петербурга до Твери по Николаевской дороге, а от Твери до Углича на переменных, складываясь для этого по шесть человек и нанимая тройку рублей за тринадцать — пятнадцать и дороже, смотря по тому, какова была дорога.

Была глухая ночь, когда я с колокольчиком подъезжал к своему дому. Поклажи у меня было очень немного, и я мог бы от постоялого двора, где останавливались ям-

щики, легко дойти пешком до дому; но я отдал последний оставшийся у меня гривенник ямщику на водку, лишь бы он меня подвез к дому с колокольчиком, чтобы родные мои видели, что я пришел не пешком, а приехал на тройке. Но я ошибся в расчете; родные мои крепко спали и не слыхали, как я подъехал, не слыхали и звеневшего колокольчика. Долго мне пришлось стучать в ворота и в окно, чтобы разбудить их; наконец отец услыхал и впустил меня в горницу.

После обычных поклонов в ноги отцу и мачехе и целований меня спросили, как я добрался. Я сказал, что приехал на тройке, но мне не верили, а были убеждены, что я пришел пешком.

— А что, Николай, верно у вас там, в Питере, бумага-то дорога? — вдруг спрашивает меня мачеха, когда я улегся на полу спать.

— Какая бумага? — переспросил я, не понимая ее вопроса.

— Да вот бумага, на которой пишут.

— Нет, — говорю я, — по копейке лист продают, а есть и по грошу.

— А мы думали, что у вас там уж и очень дорога.

— Почему же вы так думали? — спрашиваю.

— Да письма-то от вас больно уж редко приходят; неужели на почте теряют?

Я ничего на это не ответил, только подумал: ну, вот уж и начинается; что-то завтра будет?

Но на другой день со мной мало и разговаривали, только отец что-то сердито раза два спросил, а мачеха обходила молча.

Опять настало такое же житье, какое было пять лет тому назад. Опять я боялся свободно вымолвить слово, заявить какое-нибудь желание или выразить в чем-нибудь свое мнение; боялся взять кусок хлеба и за обедом наедаться досыта.

Так продолжалось месяца три; затем я поступил к жившему у нас на квартире поверенному питейного откупа — в кучера, для разъездов с ним по кабакам в нашем уезде.

Хозяин мой был сверхштатный поверенный по откупу. Обязанность его состояла в том, чтобы ездить по находящимся в уезде кабакам, делать учет продававшимся винам и разливать их. Жалованья он получал от пятидесяти до шестидесяти рублей в месяц, из которых должен был нанимать от себя кучера и содержать пару полагавшихся от конторы откупщика лошадей. Мое жалованье было небольшое, восемь рублей в месяц на своем содержании; но езда по деревням в летнее время мне очень нравилась. Постоянно менявшиеся местности, свежий здоровый воздух, свежая деревенская и недорогая пища (за обед на местах стоянок с поверенных брали по пятнадцати копеек, а с кучеров только по семи копеек) и при разливе попадавшийся стакан водки — все это меня довольствовало и веселило; только хозяин мой был настолько капризный человек, что кучера у него не уживались. До меня кучера менялись у него через неделю, через две, много через три; сколько мне ни нравилась эта работа, сколько мне ни хотелось есть собственный хлеб, чтобы не возвращаться опять к домашнему, но я не мог прослужить более месяца.

Рассчитавшись со своим хозяином и дополучив от него какие-то копейки, я отправился на фабрику. Я раньше слышал, что за Волгой, на Варгунинской фабрике, по случаю перестраивавшейся там плотины, требуются рабочие, и поступил к подрядчику, поставщику чернорабочих, по пяти рублей в месяц на его содержании.

Проработав на плотине месяца два, мне захотелось поступить на самую фабрику, чтобы обеспечить себе работу и на зиму. Для этого я сошелся с фабричным десятником, несколько раз его угощал и, кроме того, обещал ему хороший магарыч, если он доставит мне место. Хлопоты мои не пропали даром; в скором времени, когда у десятника спросили рабочего на фабрику, он представил меня мастеру-англичанину, и тот на первое время поставил меня в помощники к прессовщику — прессовать промытую и измолотую материю; но здесь я пробыл недолго, и меня перевели в клееварню толочь канифоль. Сначала я знал только одну эту работу, но потом устроили еще котел для варки клея, прибавили еще рабочего, и меня

поставили к котлу варить клей. Работа эта была вовсе не тяжелая, но очень грязная, липкая: за неделю так испачкаешься, что едва отмоешься в бане.

Сюда к нам очень часто похаживал брат директора фабрики, англичанин Иван Иванович Гоберт. Не знаю, имел ли он какую-нибудь долю в фабрике или нет, но только он не входил ни в какие распоряжения; а придет, бывало, так себе, посмотрит, спросит что-нибудь, побалагурит, померяется с кем-нибудь силою (он был очень силен: две двухпудовые гири поднимал с полу и держал до десяти минут над головою; из всей фабрики только один рабочий мог поднять так гири и за это получил от него в подарок романовский дубленый полушубок). Зато рабочие его любили и считали за честь, если он придет и поболтает с кем-нибудь. Захаживая ко мне, Иван Иванович расспрашивал, кто я, знаю ли грамоте и где прежде жил. Я, конечно, не преминул похвастать, что учился в уездном училище и кончил курс с аттестатом, что жил прежде в Петербурге, несколько времени занимался книжной торговлей, любил почитать и читал много романов и стихотворений и даже сам сочинял стихи, причем прочел ему одно или два из моих стихотворений, которые теперь уже и сам забыл. Но знания мои в литературе, даже в русской, оказывались совершенно ничтожными сравнительно с тем, что знал Иван Иванович. Все-таки он похвалил мою любознательность и даже подарил мне три рубля; но посоветовал выкинуть из головы поэзию и ознакомиться лучше с химией, чтобы быть полезным рабочим. Однако в то время я был настолько еще несведущ, что не понимал, чему учит химия, и Иван Иванович должен был мне это объяснить. Я бы, пожалуй, и увлекся предложением Ивана Ивановича, если бы было по чему учиться, но приобрести такую книгу в своем городе я не мог, а чтобы выписать из Петербурга, не имел свободных денег, да и не знал, сколько она стоит и откуда ее можно приобресть, а Ивана Ивановича просить об этом не посмел или, вернее, не догадался.

В течение года мне пришлось работать на фабрике почти во всех ее отделениях; где, бывало, не хватает человека, то мастер и говорит: позвать маленькой, такой —

показывая рукою на мой рост — мальчик с клееварни, и меня тащили на другую работу, где я и находился до возвращения старого или до постановки на это дело другого постоянного рабочего.

Исключая клееварни и обрезной, во всех прочих отделениях фабрики работа производилась днем и ночью, и рабочие чередовались: одну неделю день, а другую ночь. Жалованья простые рабочие получали от восьми до десяти рублей, старшие от двенадцати и до двадцати пяти, а мальчики, девушки и женщины от пяти и до семи рублей в месяц. Работа в самой фабрике, или, как у нас называли, в корпусе, была не особенно тяжела, но в каждом отделении были свои неудобства: в ролях и у прессов сильно мокро; в самочерпне и в обрезной небезопасно, потому что нетрудно попасть под ножик или в шестерню; а в белильной и парильной, особенно когда бывает усиленная белка материи, невыносимо: едкий и удушливый газ нестерпимо резал глаза, производил беспрерывный, резкий кашель и захватывал дыхание. Кашель зачастую не давал всю ночь уснуть, и при этом отделялась целая лужа обеленной, как молоко, мокроты. Этот удушливый газ ужасно был вреден зимою, но летом, когда все окна и двери были постоянно открыты, он скорее выдувался, и работать было легче.

Вопреки всем описаниям безнравственности и циничности фабричных рабочих я должен сказать, что у нас на фабрике соблюдалась безусловная благопристойность. Молодые ребята, работая нередко вместе с девушками, не позволяли себе ни неприличных шуток, ни сквернословия. Каждая неблагопристойность, если она была замечена или по чьей-либо жалобе доходила до мастера, наказывалась штрафом; но, кроме этого, неиспорченность нравов можно было объяснить еще и тем, что на этой фабрике совсем не было пришлого народа; работали все или городские, или ближние деревенские, все люди, взятые из семьи.

Я в то время был молод и, как уже сказал, был влюблен в Петербурге, но, прожив с год на родине, я начал забывать свою возлюбленную, а через полтора года мне и здесь приглянулась девушка, с которой я часто работал в белильной. Дуня, дочь нашего мещанина, очень не-

дурненькая и скромная семнадцатилетняя девушка, положительно увлекла меня: я только и бредил ею, писал в честь ее стихи, и, как образец, привожу одно из этих стихотворений, сохранившееся в моей памяти до сих пор:

Испытав любви оковы,
Я хотел ее забыть;
Но прелестны ваши взоры
Снова мне велят любить!

Ах! вы снова показали
Нежну сердцу путь к любви
И, как будто вы сказали:
Сердце, ты опять живи!

И теперь, я вам признаюсь,
Что любовью к вам горю;
Я теперь вам открываюсь
И от вас ответа жду.

Но ужель в любви столь страстной
Получу я ваш отказ?
Ах, тогда скажу, напрасно
Только я влюбился в вас!

К этой немудрой песенке я подыскал мотив и распевал ее в белильной.

— Какая хорошенькая песенка, — сказала раз Дуня.

— Это, — говорю я, — Авдотья Матвеевна, вам посвящается.

— Как это посвящается?

— Да так, вам посвящается, потому что я для вас только ее сочинил.

Дуня ничего мне на это не сказала — только надула губки и ушла.

Она рассказала подругам о моем признании, а те сделали мне выговор за такое непринятое или, по их понятиям, неприличное признание молодой девушке. Мне сделалось и совестно и обидно, что я не понят и не оценен в любви, и я скоро бросил фабрику.

Во время моей службы на фабрике я большую часть жалованья отдавал в дом, а на остававшиеся у меня

деньги оделся довольно прилично, что дало мне возможность вскоре опять получить должность. В то время у нас в доме квартировали живописцы; хозяин их отрекомендовал меня в овощную лавку, и я из фабричного сделался торговцем.

В этой лавке, как и вообще в провинции, торговали не одними овощенными товарами: тут были и краски, и табак, и вино, и всякая всячина. Торговля шла довольно хорошо, товару было много, жалованья мне положили, против фабричного, более приличное, семьдесят пять рублей в год на хозяйском содержании, тогда как на фабрике я получал всего восемь рублей в месяц на всем своем. Хозяин был хороший и смирный человек.

Хотя я был доволен этим местом и старался, насколько мог, но должен сознаться, что и тут был не безгрешен. В выручку я не ходил — красть деньги было невозможно, — но я потаскивал сигары и папиросы и, спускаясь в подвал, пристрастился попивать кагор. Все это сходило благополучно — пьяным я не напивался, курил скрытно, и меня ни в чем не замечали; но почему-то меня невзлюбил старший приказчик, а из угождения ему и мальчики. О всякой сделанной ошибке или малейшем упущении с моей стороны доносилось хозяину; такие нападки повторялись ежедневно; однако я все выносил, не желая оставить эту должность.

Но вот однажды, при запоре лавки, меня заподозрили в краже папирос; хотя при обыске у меня ничего не нашли, но все-таки я был отказан.

Что было делать? Прийти домой и сказать, что я отказан, я не смел — боялся отца, да и совестился домашних и жильцов; я решился идти к одному моему товарищу по фабрике и на время поселиться у него.

Товарищ мой был человек еще очень молодой и совершенно одинокий; он жил в своей лачужке на краю города. Когда я постучался к нему и рассказал свое положение, он принял меня; я же с своей стороны, конечно, не преминул пообещать ему, что щедро отблагодарю за такой прием, когда получу расчет с хозяина; но получить не пришлось ничего, и я прожил таким образом неделю.

Раньше я много наслышался о доброте и благотворительности архимандрита Покровского монастыря, находившегося всего в двух верстах от нашего города. К этому-то благотворителю я и решился идти просить помощи.

Я попросил товарища принести с фабрики лист писчей бумаги и, за неимением чернил и пера, написал архимандриту письмо карандашом. Письмо было составлено, по моему мнению, трогательно и убедительно и начиналось так: «Ваше Высокопреподобие, отец и благотворитель!» Затем излагалось мое положение и просьба о помощи. Написав это письмо, я был очень доволен его содержанием, думая, что оно так и прострелит душу архимандрита, что он поймет и оценит мои достоинства. Но ожидания мои не сбылись. Спустя минут десять после того, как я передал послушнику мое письмо, в приемную вышел архимандрит и, глядя в письмо, сказал:

— Я не ваше высокопреподобие, да и письма мне карандашом не пишут; а ты, чем писать письма, лучше бы поискал себе какой работы, ведь ты человек еще молодой — иди с Богом.

Униженный от стыда и разбитой надежды и притом же голодный, я шел от архимандрита и думал: «Да, вот они благотворители-то, а еще архимандрит, святой отец, а нисколько в нем нет милосердия, да и людей не может понять».

Однако, когда я шел далее по чистому полю, горе мое понемногу стало изглаживаться, и я начал придумывать какой-нибудь другой исход.

На этот раз я решил вернуться домой. Я уже не пошел к своему товарищу и целый день до вечера бродил в отдаленных пустых улицах города, а когда стемнело, то раз тридцать прошел по своей улице, все выглядывая, что у нас делается в доме.

Это был день праздничный, на Святках. Я видел в окно, что у нас в доме небольшая вечеринка, и потому мне казалось еще более неудобным явиться, да и было совестно. Но голод взял свое, и я, видя, что некоторые посторонние разошлись, а свои собрались в одну горницу, потихоньку пробрался в темную половину.

Конечно, меня приняли не совсем дружелюбно; но подробностей уже не помню, да их не стоит и описывать; брань и упреки всегда сводились к тому, что я, вместо того чтобы быть отцу помощником, только дармоедствовал на его хлебах.

До Великого поста я снова пробыл без дела; но постом задумал во что бы то ни стало опять отправиться в Петербург. Домашние меня не удерживали, но и не думали поощрять или помогать.

Я продал за пять рублей свою пару платья, выправил паспорт и простился с Угличем, имея в кармане около трех рублей.

До Твери я дошел пешком; что я видел во время этого путешествия, где ночевал и сколько денег пропутешествовал, не помню; но на пятый день я был в Твери; денег у меня на железную дорогу не хватило, и я принужден был еще кое-что продать. В Петербург я приехал на Вербной неделе. Зять и сестра меня приняли хорошо; сестра даже была рада моему возвращению, и я на первое время остался у них.

Глава седьмая

Торговля книгами вразнос. — Книгопродавец Шатаев. — Братья Канаевы. — Поездка на родину. — В Мышкине на ярмарке. — В селе Заозерье. — Неудачная торговля. — В Калязине. — Знакомство с Садовским. — Наши странствования по деревням. — Кража. — Продажа краденых вещей. — Ссора с Садовским. — Прошение милостыни. — В остроге. — Острожная компания. — Отправление по этапу в Углич. — Пожар. — Знакомство с Кузнецовым. — Возвращение в Петербург

На этот раз я приехал в Петербург уже с определенным намерением заняться книжною торговлею. Но чтобы торговать, нужны деньги, а у меня их не было; зять не мог дать мне; он тоже нуждался — ему на Пасху нужно было открывать лавку.

Я начал искать себе работы, и так как была весна, то и находил ее по дачам. Где возьмусь сад расчистить, где канавы окопать, и, таким образом, в течение месяца я коечто заработал.

Заработанные деньги я отдавал сестре, но, конечно, их было немного, и она, истратив из них несколько рублей мне на белье и прочее необходимое, последние три рубля попросила дать зятю в оборот, пока я не примусь за свою торговлю. Я так и сделал и сам, как умел, помогал ему в торговле.

С весны дела у дачных торговцев идут всегда неважно. В первое время они наперебой, друг перед другом, стараются продать товар как можно подешевле, чтобы заручиться покупателями на все лето, а затем уже с вверившимися им покупателями и наверстывают весенние недохватки. То же самое было и с моим зятем: я видел, что он сам очень нуждался в деньгах, — не спрашивал у него моих трех рублей, хотя и сгорал желанием заняться своей торговлей.

29 июня 1863 года я взял наконец у зятя три рубля и отправился в рынок купить книжек. Не помню уже, указал ли мне кто, или я сам забрел в лавку Василия Гавриловича Шатаева. Он надавал мне разной мелочи: азбук, песенников, сказок, житий святых, соломонов и т. п.

Первое время я торговал мелкими народными изданиями и картинами, имевшими тогда несравненно большую ценность, чем теперь. Затем я стал почти ежедневно заходить в Сытный рынок, где, в так называемом Пассажике, т. е. маленьких деревянных ларьках, стоявших в два ряда посредине грязной немощеной площади, ютились торговцы разным старьем. У этих торговцев, при отсутствии тогда еще книжных лавочек на улицах, встречались нередко старые и дельные книжонки, которые я и покупал почти за бесценок.

Торговать я ходил преимущественно по дачам в Лесной Корпус, Новую и Старую деревни, Парголово, Коломяги и по островам. Вначале я торговал совершенно особняком. Из прочих книгопродавцев, кроме Шатаева, я ни к кому не ходил и ни с кем не знался. Все приобретаемые на стороне книги я носил показывать Василию Гавриловичу и большею частью променивал или на его собственные,

или на дешевые московские издания, за что он меня любил — давал советы по торговле и частенько водил в трактир угощать чаем.

Шатаев был тоже не из настоящих книгопродавцев. Прежде он был посудником; но основав, по совету и при поддержке В. В. Холмушина, книжную торговлю народными изданиями, впоследствии сделался сам издателем множества народных дешевых книг. Всегда трезвый, расчетливый, но вместе с тем нескупой и доброжелательный, он, не обладая большими познаниями по книжному делу, через десяток или полтора лет сделался в Петербурге первым торговцем народными книгами и картинами.

В это лето, несмотря на мои малые сведения в книжной торговле, я торговал недурно и завел знакомство с некоторыми из дачных покупателей.

Первыми моими знакомыми из господ были три брата Канаевы — один из них был тогда студентом, а два еще гимназистами. Я очень часто, проходя по Поклонной горе, останавливался у занимаемой ими дачи отдыхать и беседовать с ними. Они были моими учителями и впоследствии имели большое влияние на мое развитие; по настоянию старшего написаны и эти воспоминания. Но в первый год знакомство мое с ними ограничивалось только несколькими беседами на даче и посещением их в городе — в Троицком переулке, где я был поражен приветливым и ласковым приемом, оказанным мне со стороны всего их семейства.

Запас моего товара и особенно недостаточность знания в нем давали мне мало хороших покупателей; но всетаки я в это же лето сумел приобрести себе покупателем П. А. Муханова, к которому впоследствии несколько лет ходил и продавал книги чуть ли не на всех европейских языках, имевшие исторический и описательный характер.

С наступлением осени, когда дачники поразъехались, торговля моя пошла хуже, но мною за лето было скоплено немного деньжонок, и потому я мог бы, при даровой квартире у зятя, вести это дело и зимой без большой нужды. Но осенью у меня явились приятели из разных забастовавших дачных торговцев; я начал поигрывать с ними в

карты и погуливать, почему, в скором времени, скопленные мною летние барыши истощились, и я, собрав остатки своего летнего товара, решился отправиться опять на родину с тем, чтобы там заняться этой же торговлей.

Приехал я в Углич на этот раз с большим мешком разных книг и книжечек. Однако торговать в своем городе на рынке или вразноску этим товаром мне показалось делом стыдным, притом же и родные мои смотрели на это дело как-то неприветливо; отец считал его шарлатанством, и потому я решил торговать по окрестным ярмаркам и базарам.

Прежде всего я отправился на ярмарку в г. Мышкин, отстоящий от Углича в тридцати верстах. Путешествие это я совершил пешком в ночь, с ношею на голове, потому что денег у меня не было ни на извозчика, ни на ночлег. Несмотря на то что книги у меня были старые, а иные неполные, я продал в Мышкине в два дня порядочное их количество и с барышом. Вернувшись домой, я должен был отдать мачехе на расход, и таким образом из моей торговли ничего не вышло, кроме убыли товара.

Прошла еще неделя или полторы; я просидел без дела. Дома опять начались выговоры и попреки дармоедством, и я надумал отправиться с остатками своего товара в село Заозерье на Никольский базар. Идти нужно было тридцать пять верст. Погода была холодная, снежная, а денег у меня опять ни копейки. Собрался я под вечер; взвалил на голову мешок и зашел к тетке, торговавшей тогда в кабаке, попросить у нее гривенничек, на который дорогою, на перепутье, хотел попить чайку; но тетка мне не поверила гривенника, и я должен был всю ночь тащиться с ношею до базара.

В Заозерье я торговал уже хуже, чем в Мышкине, во-первых, потому, что товару у меня было гораздо меньше; а во-вторых, потому, что в окрестностях этого села народ посерее и тогда еще было мало грамотных. Но я встретился здесь с одним московским торговцем картинами и мелочью, и тот сманил меня отправиться вместе с ним торговать далее по селам, а потом пройти в Москву за новым товаром.

Пешие мы пробрались во Владимирскую губернию, верст за сто от нашего города, и по дороге торговали

в селе Троице на Нерле; но дела наши подвигались плохо: то, что продавали, то и проедали. Наконец, в Николин день, в селе Хребтове, видя, что на мой товар совсем нет покупателей, я расстался с товарищем. Он пошел к Москве, а я обратно в Заозерье и потом домой.

Ежедневные, чуть не ежечасные попреки заставили меня опять бежать из дому. Я ушел с пятью-шестью оставшимися у меня книжонками и направился куда глаза глядят. Дня три я пробыл в Угличе у полунищего старика сапожника, а на четвертый день решился идти в Кашин попытать счастья — попросить у богача Жданова помощи или должности. Всю дорогу я лелеял эту мысль, мечтал, как ему представлюсь и отрекомендуюсь; но, придя в Кашин, я несколько раз прошел мимо его изящного дома, а взойти туда не осмелился и, почти голодный, отправился в Калязин, не давая себе отчета зачем.

От Кашина до Калязина расстояния только восемнадцать верст; поэтому я пришел туда еще не поздно, но без гроша денег, а между тем хотелось и поесть, и выпить, и погреться. Я зашел в кабак, свернул папироску и задумался. Рядом со мной сидел на скамейке мужчина лет тридцати, красивый и здоровый, одетый в деревенский, крытый холстом зипун. Мы с ним разговорились, и я спросил у него, не знает ли он, где бы мне сбыть оставшиеся у меня две немецкие книжонки.

Он предложил свои услуги, взял книги и пошел с ними в аптеку. Через полчаса Садовский, так звали его, принес мне пятиалтынный. Я не знал, что с ним делать. И самому себя нужно удовлетворить, да и товарища нельзя не угостить за услугу; но Садовский разрешил мое недоумение, сказав:

— Давай выпьем по шкалику, на пятак закусим, а ночевать пойдем в деревню, там нас и ужином накормят.

С этого дня я сошелся с Садовским. Мы с ним постоянно ходили по окрестным деревням, и он представлял меня — где за странника-богомольца, а где — за всезнающего колдуна-знахаря. Верили или нет нашим россказням добрые крестьяне — я не знаю; но нам нигде не отказывали, везде кормили и поили и радушно оставляли ночевать.

Ходя по деревням, Садовский постоянно высматривал, как расположены у крестьян клети, велики ли в них окошечки, защищены ли они чем-нибудь и нет ли в деревне собак; а потом указывал мне, что вот тут и тут можно будет поживиться, только бы ночки сделались потемнее да поненастнее.

Странствовали мы с Садовским около двух недель, а поживиться нам нигде не удавалось. Наконец в одну непогожую ночь мы порешили очистить одну клетушку.

Часу во втором ночи пришли мы в деревню, огляделись: огня не видать ни в одной избе. Садовский подошел к намеченной клетушке, подставил дыбком к маленькому окошечку стоявшие тут розвальни, а мне велел встать на стремя с угла. Затем он вынул из кармана всегда находившийся при нем и приспособленный для этой цели крюк, огарок свечки и спички. Прикрепив крюк веревкою к здоровой палке, служившей ему вместо посоха, он забрался на свои подмостки, зажег свечку и с помощью ее осмотрел все, что находится в клетушке. Затем он своим самодельным багорком приподнял у незапертых сундуков крышки и начал вытаскивать оттуда, что мог зацепить. В полчаса времени Садовский накидал на снег целую кучу добра, состоявшего из мужского и женского белья, небольших остатков холста, ниток и т. д.

— Ну, будет, — сказал он наконец. — Натаскал много, а путного, кажется, ничего нет. Теперь смотри и слушай хорошенько, а я буду увязывать.

Завязав рукава у двух женских рубах, он сделал два мешка и поклал в них все добытое из клети.

Взвалив мешки на плечи, мы осторожно выбрались из деревни и скорым шагом пошли в город. Деревня, в которой мы совершили кражу, стояла верстах в двенадцати от Калязина; но мы это расстояние прошли скоро и достигли города еще очень рано до свету.

Здесь, на Свистухе — так называется в Калязине пригород, — Садовский подошел к одному покосившемуся и полуразвалившемуся домишке. Постучав в окно, на вопрос: кто там? — Садовский сказал свою фамилию, и нас сейчас же впустили в избу.

Хозяйкою этой избы была старуха, переторговывавшая на рынке. Жила она с сыном, разухабистым детиною, и снохою, красивой, но совершенно забитой и безответной молодой женщиной.

Когда мы вошли со своими ношами в избу, то хозяева из предосторожности завесили окна, а потом зажгли огонь. Садовский вывалил из мешков нашу добычу, отобрав для себя, что было нужно переодеть, и, дав мне рубаху, остальное предложил старухе купить. Торг продолжался недолго, и мы продали все добытое нами имущество за семьдесят пять копеек и полуштоф водки; но старуха предварительно расспросила Садовского, из какой деревни взяты вещи.

— Ведь вот, — пояснил Садовский, — в деревне будут говорить, что обокрали целковых на десять, а тут и с водкой-то всего на рубль.

Когда мы распили первый полуштоф, то послали за другим, а затем рассорились из-за оставшихся денег. Садовский остался у старухи, а я ушел из этого дома, проводил дни в кабаках, а ночевать ходил в монастырь преподобного Макария.

Не помню, сколько дней я проболтался в Калязине, но помню, что в Крещение, 6 января, я стоял на паперти собора и просил милостыню; мне не подали ни гроша, а потом полицейский надзиратель забрал меня на рынке, как человека подозрительного.

Я был рад аресту, но в полицейской арестантской, где мне пришлось просидеть двое суток, не давали ни порционных денег, ни пищи. Я просидел бы голодным, если бы один арестованный не уделил мне куска из принесенного ему домашними хлеба.

На третьи сутки меня перевели в острог, где я находился около месяца. Как ни было там худо — нары были сплошные, подстилки не полагалось никакой, а в щах постоянно плавали тараканы, — но мне, говоря откровенно, хотелось отдалить день своего освобождения; я боялся явиться домой по этапу.

В большой камере, в которой я находился, всех арестованных было восемь человек и, исключая меня, все со-

стояли под следствием. Так как это было время перехода судебных дел из старых учреждений в новые, то некоторые находились под следствием уже несколько лет.

Между арестованными мне памятны один харчевник из села Троицы на Нерле, содержавшийся за конокрадство, прием краденого и притон воров, и два брата портные. Последние, как они сами рассказывали, сначала попались в маленькой краже; им удалось бежать, и хотя в скором времени были пойманы, но с этого раза у них явилась какая-то мания к побегам.

В это время они уже более десяти лет странствовали по разным тюрьмам и судились — один за двенадцать, а другой за четырнадцать побегов, да и впредь надеялись уйти, несмотря на то что за каждый побег, когда они попадались, конвойные и сторожа так жестоко их били, что им приходилось лежать в больнице.

— Что же вы бегаете? — спросил я однажды младшего брата. — Ведь вы знаете, что долго вам не нагулять и попадетесь, так опять будут бить?

— Ах, чудак-человек! — отвечал один из них. — Конечно, если бы мы знали, так лучше бы с первого раза не бегать, а теперь мы понимаем, что нам на свободе уже не бывать, а быть в Сибири; а ведь и птичке из клетки и той хочется на волю, так и нам хоть час погулять, и то наше, и то лестно.

На Масленой неделе, по получении наведенных обо мне справок, меня вызвали на этап. От Калязина до Углича сорок четыре версты, и это расстояние делится на два перехода.

Трудно передать то чувство стыда, которое охватывало меня каждый раз, когда мне приходилось являться перед обществом и своими близкими с позором. Другие с нетерпением ожидают свободы, но я всякий раз готов был отдалить этот день не на один месяц, лишь бы только меня выпустили из места заключения прямо на свободу, а не водили арестованным в нашу управу. Этот час стыда был для меня самою тяжелою пыткою.

Понятно, что дома меня приняли еще хуже, — никто не хотел не только говорить со мною, но и глядеть на меня. Все

отворачивались, а отцу я не показывался на глаза. Я ушел из дому и с месяц шлялся и питался по кабакам, а ночевать потихоньку пробирался в сарай и там зарывался в сено.

В марте месяце 1864 года в Угличе случился большой пожар. В рынке горели красные и железные ряды и разные кладовые. На пожаре и после пожара всегда требуются рабочие, и я пошел на работу сначала насыпать подгоревшую рожь в мешки, а потом перетаскивать железо. При железной лавке я проработал более месяца и в это время успел познакомиться с сыном хозяина, добрейшим и, можно сказать, единственным в нашем городе развитым и образованным молодым человеком.

Николай Васильевич Кузнецов — вечная ему память — не был похож на прочих купеческих сынков. Он не любил ни танцев, ни других развлечений и с детства пристрастился к книгам. Познакомясь с учителями, духовными и другими образованными людьми в городе, он перечитал почти все выходившие тогда сочинения лучших русских и иностранных писателей и впоследствии приобрел себе довольно порядочную библиотеку серьезных и дельных книг.

Николай Васильевич, узнав от меня, что я жил в Петербурге и там занимался книжною торговлей, очень благоволил ко мне из любви к книгам и, когда моя работа кончилась, помог мне взять паспорт и дал денег на дорогу; с его помощью я в июне снова явился в Петербург.

Глава восьмая

Торговля книгами вразнос. — Букинист Шкварцов. — Знакомство с разными букинистами. — Вязка. — Книготорговец Хлебников. — Торговля на ларе на Черной речке. — Книготорговцы Донов и М. Попов. — Неудавшийся замысел Попова. — Торговля на решетке у государственного банка. — Притон мазуриков. — Мщение их. — В части. — Встреча с Канаевым. — Я поселяюсь у него. — Приобретение при помощи Шумова ларя у Цепного моста. — Поэт Орлов. — Коммуна. — Вечера в кух-

мистерской. — Пьянство и его последствия. — Похороны Д. И. Писарева. — Знакомство с тапером Киселевым. — Я обкрадываю его. — Опять в Вяземском доме. — Отъезд на родину

Вскоре по возвращении в Петербург я нанялся за рубль работать в палатке, в которой торговали водкою во время Ивановского гулянья на Крестовском острове. Получив этот рубль, я отправился в Сытный рынок, приобрел там на полтинник старых книжек и с этим товаром опять принялся за торговлю. Торговал я лето, что называется, ни худо, ни хорошо, все еще плохо понимая в книжном деле и все еще не сходясь ни с кем из книгопродавцев, кроме Шатаева.

Осенью я стал торговать вразнос в городе и в это время познакомился с букинистом Ефимом Андреевым, носившим прозвание Шкварцов. Близкий родственник известного в то время книготорговца Дмитрия Федорова и хороший знаток как русских, так и иностранных книг, Шкварцов знал почти всех библиоманов и обладал большою смелостью и находчивостью; но он был человек слабый и, частенько запивая, оставался не только без товара, но и без сапог. Нередко случалось, что, пропившись до опорков, он брал одного из товарищей с книгами и, придя к какому-нибудь писателю или любителю-библиоману, чуть не насильно навязывал свой товар и в то же время бесцеремонно, своею рукою, выбирал с полки хорошие книги, уверяя барина, что они ничего не стоят, а нужны его знакомому господину только для справок и если потребуются, то он их тотчас же возвратит. Подобные анекдоты, и очень забавные, о Шкварцове и теперь можно слышать от старых книгопродавцев, особенно от Екшурского и Герасимова.

Прежде было много букинистов, носивших по городу свои магазины в перекидных через плечо мешках. Эти бродячие книгопродавцы доставляли своим покупателям большею частью иностранные и русские редкие книги, а иногда и подпольные издания. Они старались не столько продать свой товар на деньги, сколько выменивать его

или на книги, или на какие-нибудь вещички, потому что для букиниста покупка или мена товара всегда бывает выгоднее, чем продажа. Все эти букинисты были между собою солидарны. Они имели постоянное пристанище в трактире «Москва» на углу Вознесенского проспекта и Казанской улицы, где только для них одних была отведена особая комната. Но в то время студенческих смут и разных подпольных изданий, особенно лондонского производства, многие из них побросали бродячую торговлю и начали торговать на постоянных местах в улицах или рынке, особенно на ларях по Невскому проспекту, а некоторые были высланы по распоряжению III Отделения.

С Шкварцовым я торговал недолго потому, что в скором времени он опять запьянствовал; но, ходя с ним, я уже познакомился с прочими букинистами, тогда торговавшими на ларях, как то: Лепехиным, Семеновыми, Ефимовым и другими.

Зимою, в начале 1865 года, я проведал о продаже книг, оставшихся после известного переводчика Мартынова. Я сказал об этой продаже Ивану Семенову, носившему кличку Земский Ярыжка; Семенов, посмотрев книги, пригласил Ефимова, которого величали Беранже за его лысую голову, и Хлебникова, более известного в то время под именем Перцова.

Они все вместе купили эти книги за пятьдесят рублей. Началась вязка.

Вязка существует и посейчас у всех рыночных торговцев, покупающих товар сообща. Она происходит так: купившие товар, разобрав его, делят на части, или, как они называют, на нумера; затем с каждого участника берется известный, смотря по стоимости товара, залог. По окончании этих приготовлений кто-нибудь из участников назначает за отобранный нумер цену, за ним другой и т. д., пока, как на аукционе, не набьют известной, иногда очень высокой цены, и тогда уже эта часть товара остается за последним, набившим высшую цену. Если, например, какой-нибудь товар куплен за сто рублей, а по вязке между торговцами идет за двести, то из других ста рублей выделяют то, что было израсходовано при покупке, и племянникам,

т. е. тем, которые хотя и находились при этих операциях, но, за неимением залога, не участвовали в вязке. Одним словом, вязка есть аукцион торговцев между собой.

Я тогда еще в первый раз присутствовал при вязке. Навязали они пятьдесят семь рублей, а мне из этого выделили четыре рубля. По окончании вязки Хлебников, тогда еще не очень богатый, не имевший своих домов на Петербургской стороне, пригласил меня поступить к нему в приказчики — торговать на ларе у Государственного банка.

Хлебников был московский уроженец и ранее торговал там книгами, но, прослужив в лейб-гренадерском полку и выйдя в бессрочный отпуск, женился и остался в Петербурге торговать снова вразноску, затем в рынке. После пожара рынка он перебрался на решетку Государственного банка у Екатерининского канала; а в то время, когда я поступил к нему, он имел уже ларь у Думы. Это был человек очень деятельный и, несмотря на свою малограмотность, хорошо знал толк как в русских, так и в иностранных старых книгах. Он имел страсть к покупкам и покупал все, что только ему предлагали. Как бы далеко его ни пригласили за книгами, он отправлялся, невзирая на расстояние и на погоду. Случалось иногда, что он, на взгляд других торговцев, покупал хлам и по дорогой цене, но у него всегда выходило удачно. Живя у Хлебникова, я более познакомился с книгами и научился их расценивать. Прожил я у Хлебникова до мая месяца, а на лето мне опять захотелось на дачу. Получив расчет, я купил у своего хозяина немного товару и ларь и основал свою торговлю на Черной речке, против Сердобольской улицы. Случившийся 13 мая на Черной речке большой пожар, от которого сгорело семнадцать дач, заставил меня спустить свой ларь вместе с товаром в речку, и мне пришлось переменить место для торговли — перебраться к парому, где переправляются в Строганов сад.

В это время, вместе с развитием книжной торговли на мостах и в улицах, стала развиваться и продажа газет, которую первый завел в своей небольшой еще лавочке у Пассажа М. В. Попов, а за ним, на Полицейском мосту, — Донов. По их следам и я начал торговать на Черной речке вместе с книгами и газетами. Все газеты я получал из

конторы «Голоса» по шести копеек за номер с правом возврата непроданных назад. Так как в то время газеты продавались лишь обандероленные, то я отдавал их на комиссию в фруктовые лари у Строганова моста и в Новой деревне и в конторы новодеревенских дилижансов.

Книжная торговля на месте была очень плоха, и потому я очень часто, наложив товару в мешки, ходил торговать в Лесной корпус или другие окрестности. Товар я покупал большею частью в Апраксинском рынке или выменивал в домах и торговал более французскими книгами, преимущественно романами.

Поторговав лето на даче, я поступил осенью к Донову торговать с ларя, находившегося на Цепном мосту у Летнего сада. Помнится мне, что в то время Попов вознегодовал на букинистов; особенно ему был ненавистен Донов, единственный торговец газетами с ларей, который очень много вредил его газетной торговле. Попов задумал уничтожить букинистов. В летние торги он решился откупить все лари, на которых торговали книгами; но букинисты, проведав о его замысле, соединились вместе и, заручившись между собою круговыми залогами, подговорили посторонних торговцев, как то: саечников и фруктовщиков, и через их посредство накупили себе лари в других местах. Попов, откупив принадлежавшие букинистам лари по дорогой цене и видя, что этим нисколько не уничтожил своих врагов, принужден был возвратить лари обратно букинистам, и притом с большим убытком для себя.

С Доновым я долго ужиться не мог и остальную часть зимы кое-как перебивался, торгуя на решетке у Государственного банка.

Книжная торговля в то время почти ничем не была стеснена; инспекторов еще не было, полицейских разрешений не требовалось, да и торговая депутация с нас не спрашивала даже жестянок, а потому у Государственного банка, с Екатерининского канала, почти все решетки были завалены книгами, и здесь иногда торговали до десяти человек.

Все это были торговцы старыми книгами, и некоторые из них хорошо понимали дело. Несмотря на то что они, так

сказать, лепились друг на дружке, торговля шла очень недурно. Постоянные покупатели, как П. А. Ефремов, Даровский, Хмыров, Стрелковский, Майков, Страхов, пробочник Баженов, священники Сидонский, Помяловский, Никольский и другие, заходили очень часто и из старья выбирали, что им было подходящее, иногда целыми связками. Нередко случалось, что останавливалась карета, и из нее выходил солидный господин и, обойдя эту книжную развалку, тоже покупал разного старья. Особенно замечателен и желателен для нас был один старичок (называли его графом Хвостовым, но я наверно не знаю), который, остановившись у кого-либо из торгующих тут, забирал чуть не всю его лавочку, но к другому уже не переходил. Тогда другие товарищи, дав счастливому продать свой товар, подкладывали ему свои книги; старичок, забрав и подложенные, опять начинал с ним торговаться. Этот господин каждый раз, как только попадал к банку, увозил с собой по нескольку пудов книг.

Торгуя у банка, я расширил круг своего знакомства среди букинистов, приобретал более знаний в книжном деле, но вместе с тем все более и более развращался: круговое пьянство и разврат происходили у нас почти ежедневно. Я не говорю о всех поголовно, но большинство мелких торговцев постоянно пьянствовали. Деньги доставались легко, потому что свободы для торговли было много. В это время все, кто мало-мальски умел управлять собою, все нажили капитал, например: Екшурский, Лепехин, Ефимов, Семеновы и др.

Но, кроме свободы, которая способствовала развитию книжной торговли, ей много помогало и самое время — время всевозможных реформ и преобразований, время какого-то особенного увлечения и ожиданий чего-то нового. Спросы на книги возрастали периодически: одно время быстро шли сочинения по естественным наукам, затем юридические, медицинские и социальные. Как бы ни были плохи книжонки по модному предмету, они раскупались по хорошей цене.

Этот спрос на книги толкнул к предприимчивости некоторых сметливых букинистов. Первый, Н. И. Герасимов,

начал делать объявления в газетах о покупке книг, и, как сам рассказывал, приглашений за товаром было не обобраться. Примеру его последовал покойный Вишневский, который только объявлениями и составил себе капитал; за ним — Богданов, я и потом уже несть числа других.

Летом, как и везде в городе, торговля у банка была плоха, а потому некоторые из букинистов отправлялись торговать в лагери, где вообще хвалили торговлю; но я начал торговать опять по дачам. Хотя торговалось и недурно, однако к концу лета через пьянство и разврат я дошел до того, что попал в притон мазуриков.

Этот притон находился в трактире, носившем название «Рим», в Апраксином переулке. Долго я замотался тут с разными темными личностями и сам принимался за мелкие кражи. Один раз я стащил у своего благодетеля Канаева «Учебник уголовного права» Спасовича; другой раз — у зятя узду с лошади; потом украл у гостинодворского сторожа тулуп и затем сделал и еще несколько мелких краж.

Но раз случилось, что в трактир зашла какая-то пьяная женщина, которая меня угостила и позвала с собою погулять. Видя это, мазурики пристали ко мне, чтобы я довел ее до спуска на канаву, где намеревались содрать с нее одежду. Я принужден был согласиться, но, доведя ее в Мучном переулке до дома, в котором она жила, впустил в ворота и таким образом лишил их добычи. Видя такое вероломство с моей стороны, они порешили отомстить мне и, не подавая никакого вида, пригласили в портерную, где старший из них, заказав четыре бутылки пива, налил мне стакан, потом другой, а затем, переговорив потихоньку с портерщиком, вдруг ударил меня по носу. Кровь полилась у меня струей. Но он схватил меня за волосы, свалил со стула и начал бить руками и ногами куда попало, а портерщик, стоя у выручки, показывал в это время на меня посетителям и говорил:

— Ведь вот какой подлец: сидит с товарищем, от него угощается, а сам к нему в карман залез. Ну как его не бить?

Памятны мне эти побои, на всю жизнь памятны; но нет худа без добра.

Наколотившись досыта, Евлашка, так звали мазурика, опять посадил меня пить пиво и угощал им вволю; а потом, когда мы вышли из портерной, сказал мне:

— Это тебе первая наука; впредь будешь знать, как товарищей проводить. Теперь пойдем со мной: надо же доставать, что пропито.

Я не противился и пошел с Евлашкой; мы ходили ночью часа три, искали кого бы обобрать, но нам ничего не удалось. Наконец я где-то улизнул от Евлашки.

С этого раза я не пошел больше в Апраксин переулок, а отправился на Петербургскую сторону и там на Большом проспекте, прикинувшись пьяным, попал в часть. Паспорта у меня тогда не было, и меня отправили к мировому судье, который решил выдать мне проходное свидетельство до Углича и через полицию выпроводить из Петербурга; но когда меня привели в тот участок, из которого должны были проводить за город, то там только приказали полицейскому дать мне два раза в шею и с тем высунули вон.

Очутившись на свободе, я не знал, что делать; но, поразмыслив, решился сходить к сестре, посоветоваться — не ехать ли мне опять на родину, чем болтаться в Питере и дожидаться, чтобы отправили этапом.

Идя по Загородному проспекту, я встретил Канаева, того самого, у которого стащил учебник Спасовича. Я уже хотел было отстраниться от него, полагая, что он догадался о сделанной мною краже, но Канаев, увидав меня, окликнул и остановил. Расспросив о моем положении, он дал мне гривенник на хлеб и пригласил прийти к себе. На другой день я явился к нему и высказал, что у меня нет паспорта и негде жить. Тогда Канаев предложил мне поселиться у него в комнате, которую он занимал вместе с братьями.

Несмотря на то что Канаевы жили в доме своего дедушки, в богатом купеческом семействе, они держали себя независимо и в своей комнате принимали кого хотели. Комната эта была посещаема разнородными лицами, знакомыми большей частью старшего из братьев. Тут бывали и писатели, и адвокаты, и студенты, его товарищи, и другие личности — вроде отставного поручика Гутнина

и его родственника-великана, флангового унтер-офицера лейб-гвардии Преображенскою полка; одним словом, эта комната была местом сближения сословий. Всем этим лицам я, конечно, был отрекомендован и почти со всеми в свою очередь перезнакомился; но более всего я сошелся с товарищем Канаева по университету М. О. Шумовым, с которым мы порешили основать книжную торговлю.

Несмотря на то что я научился книжному делу и у Хлебникова, и у своих банковских товарищей, я был еще далеко не опытен, но неопытность я искупал находчивостью.

После умершего уже Шкварцова продавался товар и ларек, находившийся на Цепном мосту у Летнего сада; вот этот ларек, при содействии Шумова, я и приобрел за полтораста рублей.

В то время уже было введено в действие новое положение о цензуре и книжной торговле, и для последней требовалось разрешение градоначальника, выдававшееся не иначе как за поручительством двоих из книгопродавцев; за меня поручились Иван Семенов и Штукин.

Приобретя ларь, я ушел от Канаева и нанял себе комнату на Фонтанке, близ Симеоновского моста. Комната моя нередко посещалась Канаевым и другими знакомыми, приобретенными в его кружке; но всех чаще посещали меня Ф. А. Орлов, сын протоиерея и законоучителя Первой гимназии, и некто Вася Шведвенгер, юноша, постоянно плакавший или смеявшийся. Орлов был поэт и помещал свои произведения в «Русском слове», «Будильнике» и других журналах. Все его стихи, которые мне приходилось читать или слышать от него, были или довольно остроумными сатирами, или носили оттенок так называемого «гражданского плача». Орлов был влюблен в одну барышню, Дементьеву, впоследствии вышедшую замуж за писателя Ткачева. Когда Дементьева отказала ему в своей взаимности, то он ударился в разгул и пьянство, и в этом не находил себе более подходящего товарища, как меня: меня даже прозвали «неизбежным» его. И действительно, Орлов таскал меня всюду, где только возможен был мне доступ. Я помню раз, когда мы с ним были у П. И. Вейнберга и зашла речь о его стихах, то Вейнберг

сравнил его произведения с произведениями Пушкарева. Другой мой приятель, Вася Шведвенгер, по происхождению был еврей и проживал у своей тетки, содержавшей в доме Краевского квартиру, в которой жили и писатели, как то: Чуйко, Успенский и еще кто-то. С Васей я познакомился у Канаева, а где и как он с ним познакомился, я не знаю, но у него была особенная способность знакомиться со всеми и у всех выпрашивать на память книжечки (впоследствии я слышал от Канаева, что он сделался где-то в провинции актером). В свою очередь, Вася ввел меня в коммуну, помещавшуюся в Эртелевом переулке, в доме Хрущева. Коммуна эта занимала маленькую комнатку, и членами ее состояли Воскресенский, Сергиевский, Соболев, князь Черкезов и Волков, и тут же пребывали две нигилистки — Коведяева-Воронцова и Тимофеева, и все они спали вповалку. Четверо первых были люди модные, потому что они только что отбыли срок заключения в крепости по прикосновенности к делу Каракозова. Впоследствии коммуна эта разрослась, в нее вступили покойный Орфанов, Щербатов и другие, и они сняли себе квартиру в Средней Мещанской улице.

Помню, как однажды, придя к ним и не застав никого дома, я взял лежавший над дверью ключ и вошел в квартиру. Я зажег свечку и хотел почитать; но, подойдя к столу, увидал такую массу грязи, что мне, хотя и не привыкшему к комфорту и порядку, и то показалось чересчур неприятно. На средине стола, на подносе, наполненном золою и угольями, стоял буквально черный самовар, около него блюдечки и стаканы с набросанными в них окурками, а весь стол был покрыт какой-то сальной грязью, тут же лежало на бумаге чухонское масло, рассыпанная четвертка табаку и куски хлеба, и все это было покрыто пылью. На диванах, на стульях, на полу разбросаны были разные вещи и книги, а в кухне весь пол был усыпан угольями.

«Вот, — говорил я сам себе, — все они твердят о необходимости служить друг другу, работать, а как нет у них старшего, некому и заставить поработать, так и свою квартиру никто не хочет убрать», — и от нечего делать я принялся за чистку и, проработав полчаса, намел целый

угол мусора. Но впоследствии им и самим надоела эта грязь, и они сняли две меблированные комнаты в Седьмой линии Васильевского острова.

Обитатели этой коммуны назывались сморгонцами и гордились этой кличкой потому будто бы, что их так прозвал сам Ткачев, а прозвание свое они производили от местечка или села Сморгоны, где жители занимаются обучением медведей.

В это время в Третьей линии Васильевского острова открылась студенческая кухмистерская, куда Шведвенгер поступил служителем, и, по его приглашению, я с Орловым нередко посещал эту кухмистерскую, иногда просто пообедать, а иногда на устраиваемые здесь общественные вечера. Вечера эти устраивались в складчину по подписке по пятьдесят копеек с лица, и на них собирались эмансипированные барышни, студенты и кое-кто из писателей, как то И. А. Рождественский, П. Н. Ткачев и др.

На вечерах танцевали иногда под музыку, иногда под песни; нередко происходило чтение стихов и других сочинений. (Орлов почти на каждом вечере, взбираясь на стул, декламировал свое ненапечатанное стихотворение «В Гефсиманском саду».) Много говорилось тут речей о свободе, равенстве и братстве; но речи так и оставались речами, а для большинства привлекательнее всего был буфет, где в изобилии находились простая водка, пиво и закуски.

Цель моего знакомства со всем этим обществом была та, что, не довольствуясь книжною торговлей, я, по совету младшего Канаева, задумал добиться звания учителя; но, приходя к кому-нибудь, чтобы заняться, я по привычке всегда оканчивал мои посещения выпивкой.

В апреле 1868 года я торговал у цепного Банковского моста. Торговля была недурна; покупки книг у разных лиц попадались хорошие и недорогие. Но так как я манкировал своей торговлей, то держал у себя неопытного, но плутоватого приказчика, а сам проводил время более с сморгонцами и с Орловым; притом же, вследствие неаккуратного обращения с чужими деньгами, я разошелся с Канаевым и Шумовым и потерял их поддержку. От этого

дела мои скоро попортились, и мне в предстоящие торги в Думе не на что было откупить место для ларя.

Здесь нужно заметить, что торговавшие в то время на ларях букинисты откупали от города места для ларей два раза в год — в октябре и в апреле. А так как конкурентов было много и никому не хотелось остаться без места, то они собирались и делали между собою расценку каждому месту — кто на какую цену должен торговаться, и, выбрав из своей среды надежного человека, давали залоги с тем, что каждый может торговаться только на свое место, а в случае, если бы и пришлось бы это место откупить дороже, чем оно между ними оценено, то товарищи додавали потерпевшему переоплаченную им сумму из тех денег, которые могли оставаться от мест, откупленных дешевле оценки.

Поэтому нередко случалось так, что откупивший место за двести рублей должен был торговать на нем за триста и более, а заплативший триста — торговать за полтораста.

На мое место охотников было немного — лучшие места считались на Полицейском и Аничковском мостах и у Думы. За мое место платилось за полгода от тридцати до сорока рублей, но у меня и этих денег не было, и я принужден был обратиться к Ф. Семенову, по прозванью Голова, чтобы он ссудил их мне на покупку места, обещая ему за подобную сумму десять рублей процентов и гарантируя ее квитанцией на купленное место и часами в залог.

Голова был падок на проценты и принял мое предложение, но через месяц, видя мою неисправность, он передал квитанцию и залог мой Сергею Васильеву (или, иначе, Пихлер), питавшему против меня неудовольствие за то, что я ему раз отказал в продаже купленных мною хороших книг. Получив квитанцию на свое имя, Сергей Васильев тотчас же через полицию выселил меня из ларя. Я подавал на него жалобу за причиненные мне убытки, но мировой судья отказал. С этой неприятности я начал больше пьянствовать, а поддержать меня нравственно было некому. К Канаеву и Шумову идти я совестился, а другие, как Орлов и прочие, только более увлекали

меня в пьянство. С начала этого лета мы с Орловым довольно часто посещали семейство И. И. Боборыкова, молодого офицера (кажется, он состоял преподавателем в Морском корпусе).

Боборыков был хлебосол и либерал; по поводу его хлебосольства и либерализма Орлов поместил (сколько помнится, в «Будильнике») следующее стихотворение:

Я для общего блага людей,
Соревнуя его поддержать,
Полтораста и двести рублей
Смело в месяц могу проживать.

Я для общего дела готов
Либералов к себе принимать
И гонимых за правду бойцов
Раз в неделю вином угощать.

Я для общего дела могу
Даже красную шапочку сшить, —
Показать ее, даже носить,
Иногда в очень близком кругу.

Кажется, был еще куплет, но я его не помню. И действительно, к Боборыкову можно было ходить попить и поесть. Вкусные и сытные его обеды всегда были приправляемы водкой, пивом и другими винами, а к чаю и кофе непременно ставились закуски: ветчина, сыр, масло, малороссийское сало и разные колбасы, что мне, проживавшему тогда без денег и впроголодь, было, как говорится, вполне по душе.

Но скоро все мои приятели разъехались на летние каникулы. Я прожил весь еще уцелевший у меня товар, остался без средств и без квартиры и промышлял разными мелкими проделками и обманами у своих же знакомых.

Помню, это лето были похороны Писарева. Его отпевали в церкви Мариинской больницы и оттуда гроб несли на руках до Волковского кладбища.

В то время Писарев для многих из моих знакомых был непогрешимым авторитетом. Хотя я его никогда не видал,

но он месяца за четыре перед смертью посещал жившего у меня в комнате П. В. Смирнова, почему я, когда заходила о нем речь, всегда старался упомянуть, что Писарев недавно был у меня в квартире.

На похороны я пошел не из уважения к его памяти, а просто хотел порисоваться, что вот, дескать, и я был на похоронах Писарева; притом у меня была еще затаенная мысль, не удастся ли мне при таком случае угоститься. Между литераторами, студентами и разными курсистками я встретил в ограде Мариинской больницы одного своего трактирного приятеля, профессии которого не знал, но слышал, что он занимается агентурою. Этот господин, отведя меня в сторону, начал выспрашивать о некоторых личностях, выдававшихся оригинальностью своего костюма и прически.

Я, кого знал, конечно, назвал; но он не удовольствовался этим и сказал:

— Мне нельзя быть на кладбище, а ты ступай и что там увидишь и услышишь, расскажи мне — я тебя за это угощу.

Я пообещал ему исполнить это поручение. Когда гроб несли по Невскому проспекту, то и мне захотелось посердствовать. Видя, что одна маленькая барынька очень пыхтит и потеет под тяжелой ношей, я подошел к ней и сказал:

— Позвольте мне вас сменить: вас гроб совсем задавит.

— Нет, нет, — отвечала мне барынька, — Писарев женщин не задавит.

Но мне все-таки удалось приткнуться, причем я нечаянно замарал пиджак о смолу гроба, чем очень гордился, рассказывая, что это пятно от гроба Писарева.

По окончании похорон, речей и стихотворений, из которых мне показалась более всех прочувствованной речь Благосветлова, я отыскал Ткачева и рассказал ему о просьбе агента.

— Ну так что ж, — сказал Ткачев, — вы, что видели и слышали, и расскажите ему, а теперь пойдемте в портерную.

И мы, в сообществе шести или семи барышень, отправились в портерную пить пиво и есть колбасу.

Ходя с Орловым по разным увеселительным вертепам, в одном из них, в Щербаковой переулке, мы познакомились с тапером А. И. Киселевым.

Несмотря на то что Киселев находился в таком месте и в такой должности, он был человек безупречной нравственности и совершенно непьющий. Он тяготился своим занятием и искал из него выхода.

Мы предложили ему поступить в учительскую семинарию, помещавшуюся тогда в Седьмой линии Васильевского острова, и он охотно согласился. Жил он в то лето на Малой Охте, нанимая от домохозяина маленькую комнатку на чердаке. По вечерам он постоянно уходил на свои занятия в Щербаков переулок, откуда возвращался в пять или шесть часов утра и, отдохнув, днем занимался приготовлением к курсам. Я нередко ходил помогать ему в занятиях, так как был все-таки посмышленее, особенно в арифметике. Я знал, что у Киселева водятся деньжонки, а так как в то время я частенько бывал голодный, то и задумал обокрасть его. Долго я держал в себе эту мысль, боясь, чтобы как-нибудь не попасться на деле, как выражаются в тюрьмах. Наконец, 30 августа 1868 года, рано утром, я пришел с этой целью к Киселеву и, занявшись с ним днем, под каким-то предлогом остался у него ночевать. Киселев, по обыкновению, в пять часов ушел на занятия. Долго я ходил взад и вперед по его маленькой комнате, долго боролся с своею мыслью. Я знал, что этим поступком погублю себя безвозвратно, знал, что если мне и удастся кража, то все равно рано или поздно я должен отвечать за нее.

Но это рассуждение сменялось другом: сегодня я здесь сыт, а завтра буду ходить опять голодный. А если мне удастся обокрасть Киселева, то я не только могу быть сытым, но могу еще и погулять. Залью вином и разгулом свою совесть, а там будь что будет.

Дрожащею рукою выдвинул я сначала незапертый нижний ящик комода и переодел белье; затем достал его новые штиблеты и обулся в них.

Переодев брюки, жилет и пиджак, я вышел на лестницу и огляделся.

Убедившись, что никого нет, я вернулся в комнату, запер на крюк дверь и, взяв топор, принялся приподнимать крышку комода, чтобы выдвинуть верхний ящик, в котором, как я знал, лежали деньги и ценные вещи Киселева; но вследствие нервного расстройства я неосторожно принажал в одном месте топор и отломил маленький уголок крышки комода.

«Ну, все равно, — сказал я сам себе, — теперь комод взломан! Возврата нет!»

Обшарив ящик, я нашел в нем только двадцать один рубль мелким серебром и золотую цепочку; затем снова закрыл ящик и вышел на крыльцо. На дворе никого не было. Я надел пальто Киселева, взял его хороший зонтик и хотел совсем скрыться, но на этот раз увидел шедшую с улицы хозяйскую девочку.

Тогда я вернулся назад, оставил зонтик и пальто и, взяв самовар, снес его вниз к хозяевам. Отворив дверь, я сказал:

— Поставьте мне самовар, пожалуйста, а я только схожу за булками, — и сам быстро пошел за ворота.

Завернув за угол, я бегом бросился к перевозу и, не дожидаясь очереди, сел в ялик и велел отчаливать. До половины Невы я боялся, все оглядывался, нет ли за мною погони, но наконец успокоился. В то время в Петербурге была еще полная свобода разгулу. Во множестве трактиров и ресторанов пели арфистки, песенники и играли на разных инструментах евреи. Торговля производилась почти всю ночь, и при каждом подобном заведении находились номера.

И вот благодаря такой свободе разгула я через трое суток остался совершенно без денег и прогулял все украденные мною у Киселева хорошие вещи.

Я полагал, что меня везде и всюду ищут и потому отправился в Вяземский дом, где на другой же день очутился в одной рваной рубашке и таких же кальсонах.

В Вяземском доме, во флигеле, носящем и до сих пор название «Стеклянный коридор», я сошелся с одним молодым человеком, сыном статского советника и бывшим воспитанником военной гимназии.

Оба мы были почти полунагие, обоим нам было нечего есть и оба мы пребывали все время в одном из кабаков Полторацкого переулка (в то время во дворе Вяземского дома было пять кабаков), где помогали кабатчику полоскать посуду и разливать водку, за что он давал нам иногда поесть и дозволял допивать остававшуюся от посетителей водку.

Недели через три я решился известить некоторых из прежних моих знакомых о своем положении, и мне удалось найти человека, с которым можно было посылать письма.

Первое письмо я послал к М. И. Орфанову и получил от него в ответ рубль. Заручившись этим рублем, я купил еще бумаги и конвертов и разослал письма Щербатову, в бывший на Мойке пансион Михайлова, в студенческую кухмистерскую, младшему Канаеву, Орлову и другим знакомым, уже вернувшимся с каникул.

Послания мои даром не пропадали: почти все, соболезнуя обо мне, приезжали меня навестить и кое-чем помогали, так что через неделю я оказался очень прилично одетым и мог выходить из своего логовища.

Настоящую причину, побудившую меня попасть в это логовище, знали немногие; от тех же, кто не знал, я тщательно скрывал ее и объяснял мое положение расстройством своих торговых дел и последствием пьянства.

Киселев, с неделю поискав меня по разным местам и не найдя, решился объявить полиции о сделанной мною у него краже и хотя впоследствии по просьбе младшего Канаева хотел взять назад свое обвинение, но было уже поздно, протокол перешел в руки судебного следователя.

Младший Канаев, желая как-нибудь выручить меня из предстоящей беды, объяснил мое положение адвокату Хлебникову и просил его как опытного юриста помочь мне советом.

Вопреки моему ожиданию Хлебников посоветовал мне не признаваться в краже и на время уехать из Петербурга.

Я так и сделал, но впоследствии горько раскаялся; я этим много повредил себе; не в моей натуре было запи-

рательство, а откровенным признанием я если бы и не совсем спасся, то имел бы на суде большое облегчение.

Госпожа Михайлова, тетка Щербатова, не знавшая, в сущности моего поступка, но знавшая, что мне необходимо было ехать на родину, дала мне пятнадцать рублей и некоторые необходимые в дороге вещи, и я уехал в Углич.

Глава девятая

Жизнь в Угличе. — Пьянство. — Явка в Кашине в полицейское управление. — Бродяга Иван Иванович. — Отправление меня к отцу. — Дорога в Петербург. — Я нанимаюсь в Вышнем Волочке сгонщиком на барку. — В Петербурге у Орлова. — Кража. — Облава и арест. — Отправление по этапу на родину. — В московской пересыльной тюрьме. — Обратная пересылка по этапу из Углича в Петербург. — В тюрьме. — Назначение меня старостой. — В Литовском замке. — Осуждение меня на полтора года в рабочий дом. — Исправительное заведение. — Перевод в новоустроенную тюрьму на Выборгскую. — Тамошние порядки. — Арестант Герасимов. — Покушение на жизнь полковника Михнева. — Перемещение меня в Литовский замок. — Суровое заключение. — Нравственное страдание. — Отправка по этапу на родину. — Допрос в жандармском управлении

В Угличе первое время я жил безбедно, потому что Хлебников присылал мне немного денег и книг, которые я продавал своему прежнему приятелю и благодетелю Н. В. Кузнецову.

Относительно моей подсудимости, которая стала известна из публикации о розыске меня следователем С.-Петербургского окружного суда, я Кузнецову и другим лицам выставлял себя страдальцем за идею. Я говорил, что Киселев — агент Третьего Отделения, с которым я был до некоторой степени знаком и которому попались компрометирующие моих знакомых письма, а я, желая их спасти, пришел к Киселеву и, притворившись пьяным,

остался отдохнуть, а когда тот ушел из квартиры, то я сломал у его комода замок и утащил письма. Он же, не имея возможности обвинять меня в краже таких важных для него бумаг, обвиняет в краже денег и цепочки. Этой выдумкой я и впоследствии оправдывался перед многими, хотя наверное не знаю, верили этому или нет; но мне кажется, что Кузнецов первое время верил, потому что нередко снабжал меня деньгами.

Но всему бывает мера: из Петербурга мне перестали присылать ссуды, да и от Кузнецова подачки делались все реже и скуднее; к весне опять настало прежнее житье, и меня снова начали упрекать в дармоедстве.

От Хлебникова я еще зимой получил письмо, в котором он советовал мне самому явиться в суд и тем показать свою невиновность; сначала я откладывал эту поездку, а потом уже и не на что было ехать.

Весною я поехал на Борисоглебскую ярмарку торговать разною мелочью и спичками. Товар я брал от своей тетки, но она ставила за него такую цену, что мне не приходилось выручать даже своих денег. С досады я выпил и выпил так неаккуратно, что пропил не только то, что было у меня, но и то, что было на мне. Я остался в рубашке и босиком.

В Углич я больше не вернулся, а пошел куда глаза глядят, пошел вниз по Волге, не отдавая себе отчета куда и зачем.

Помню, что одну ночь ночевал на крыльце кабака в пятнадцати верстах от Мышкина, а другую в деревне у добряка крестьянина недалеко от Мологи. Я побывал в Мологе, походил там по городу и, вернувшись, пошел по деревням.

Мне было и холодно и голодно, но я не мог еще просить милостыни. Я дошел опять до своего родного города, но только посмотрел на него и повернул в Кашин.

Придя в Кашин, я сел у полицейского управления на скамейке и дожидался, когда меня арестуют.

Полицейский надзиратель, проходя мимо, спросил меня, что я за человек. Я сказал, что я такой-то, разыскиваюсь С.-Петербургским окружным судом и желаю, чтобы меня отправили в Петербург.

Меня отвели в тюрьму, а между тем послали за справками о моей личности в Углич. В кашинской тюрьме содержалось тогда более ста человек, но из всех их мне до сих пор памятен только один бродяга Иван Иванович, или, как его вообще называли арестанты, барин-бродяга. Действительно, хотя Иван Иванович и выдавал себя за не помнящего родства бродягу, но стоило только на него взглянуть и услышать от него хоть несколько слов, чтобы убедиться, что это не бродяга, не помнящий родства, а человек, живший в хорошем обществе и хорошо образованный.

Несмотря на то что он сказывался всем безграмотным, он часто наедине рассказывал мне о таких научных предметах, о которых я или имел смутные понятия, или совсем не знал.

Мы с ним скоро сдружились и почти постоянно прогуливались вместе по коридору. В одну из таких прогулок Иван Иванович признался мне, что он московский уроженец, чиновник, имеет в Москве собственный дом, жену и детей. Но, проиграв однажды крупную сумму денег, принадлежавших родителям его жены, он посовестился явиться домой и, распродав находившиеся на нем вещи, пошел куда глаза глядят и, дойдя до Кашина, объявился бродягою. Я усердно и неоднократно склонял Ивана Ивановича оставить намерение идти, ради одного стыда, в Сибирь и убеждал, если нет за ним другой вины, объявить свое настоящее имя и тем избавить себя от столь тяжелой участи.

Долго не соглашался Иван Иванович и просил меня никому не выдавать его тайны, но наконец тоска по жене и детям взяла свое — он отправился в контору смотрителя и написал признание на имя прокурора суда.

Пришел из конторы Иван Иванович совершенно другим; хотя на глазах у него и видны были слезы, но он как будто скинул с себя цепи.

Он крепко обнял меня и поцеловал. С этого времени прокурор и тюремное начальство стали относиться к нему лучше. Прокурор разрешил нам брать у доктора книги, и мы прочли Бокля и еще несколько хороших книг.

Мне, так же как и Ивану Ивановичу, не хотелось возвращаться на родину. Я полагал, что меня отправят

в Петербург, где надеялся на защиту Хлебникова и рассчитывал оправдаться в своем преступлении, но меня отправили в Углич.

Домой я явился во всем казенном; только рубаха и порты были свои; с меня сняли казенное платье и отпустили на свободу.

На этот раз отец смилостивился надо мной. Он выправил мне трехмесячный билет, дал какой-то зипунишко и белье, и я пошел в Петербург.

Время было летнее; идти мне было легко и тепло. Добрые крестьяне на ночлегах кормили, да и днем иногда зазывали пообедать; благодаря этому взятые из дому несколько копеек и каравай хлеба вполне обеспечили мою дорогу до Вышнего Волочка; но когда я дошел до Волочка, то у меня не оставалось уже ни копейки, и я думал, что остальную половину дороги мне придется идти Христовым именем. На мое счастье, я пришел в Вышний Волочек в то время, когда оттуда отправлялись хлебные караваны в Петербург.

Тогда не существовала еще Рыбинско-Болотовская железная дорога, и все грузы из Рыбинска переправлялись водой по Мариинской или Вышневолоцкой системе; поэтому в Вышнем Волочке три раза в течение лета собирались хлебные караваны, иногда доходившие до тысячи и более барок. На каждую барку нанимались здесь лоцмана и так называемые сгонщики-бурлаки.

Почти весь Вышневолоцкий уезд и большая часть Новоторжского нанимались в эту работу, но все-таки не хватало людей.

Я по своему костюму — в сером зипуне и в лаптях — был похож на простого мужика; мне нетрудно было найти нанимателя, и я за одиннадцать рублей с полтиною нанялся в сгонщики до Петербурга.

Всех сгонщиков на барку нанималось четырнадцать человек, и обязанность их состояла в том, чтобы тянуть лямкой барку на бечевке и грести потерями и веслами. Они нанимались на своих харчах и за день до отправки артелью забирали в Волочке пшено, овсяную крупу, сушеную мелкую рыбу и хлеб, а также покупали котлы для варки, чашки и ложки.

Трудна показалась мне эта работа, так трудна, что я едва выносил ее; но мужики и даже мальчики лет четырнадцати и пятнадцати справлялись с нею сполагоря и, нисколько не думая об отдыхе, хлопотали только об одном: как бы скорее добраться до места.

Я не буду описывать всех подробностей пути, скажу только, что по прибытии в Петербург лоцман и сгонщики рассчитывались тотчас же по пригоне барок на место и немедленно продавали сторожившим тут маклакам дорожные котлы, чашки, ложки, оставшиеся харчи и отправлялись обратно на родину.

Я, как только получил расчет, распростился с своими товарищами и отправился в рынок. Денег у меня от дороги оставалось рублей шесть с копейками, но я сумел на эти деньги купить себе весь летний костюм и, переодевшись, пошел отыскивать Орлова. Я нашел его живущим уже не у отца, а на Петербургской стороне; он нанимал квартиру вместе с Матковой. На первое время я поселился у них в квартире и начал хлопотать о своем деле. Я сходил к своему адвокату Хлебникову и попросил у него совета. Он снова советовал объявиться в суд, но не велел признаваться в преступлении.

Я ходил в окружной суд, но не мог добиться, к кому следует мне обратиться с объявкой, а между тем Орлов увлек меня в прежнюю разгульную жизнь.

Прожив у Орлова недели полторы, я опять привык к пьянству, а пьянство снова вовлекло в преступление. Не помню, пять или десять рублей я утащил у Матковой и ушел от них. Через день я снова очутился в Вяземском доме, но на этот раз пробыл тут недолго; ушел на Выборгскую сторону и, объявившись беспаспортным и разыскиваемым судом, заарестовался.

Я рассчитывал, что на этот раз меня непременно вызовут к следователю; но, просидев полтора месяца, я снова был отправлен на родину этапом. Так как весь свой костюм я спустил еще в Вяземском доме, то сестре опять пришлось собирать меня в дорогу.

Она принесла мне в пересыльную тюрьму сапоги, пальто, белье и около трех рублей денег.

В пересыльной арестанты ходили тогда еще в своей одежде, и им позволялось иметь при себе деньги, а потому в камерах происходила свободная торговля всякой всячиной, картежная игра, и даже нетрудно было достать водки. Меня продержали с неделю в пересыльной и затем отправили в Москву. В Москве пересыльная тюрьма помещалась на так называемом Колымажном дворе, и арестанты, которых иногда скоплялось более двух тысяч человек, содержались в четырех больших балаганах. В балагане № 4, в котором я находился, содержалось около шестисот человек. Тут были и обыкновенные пересыльные арестанты, и кандальщики-бродяги, которые непременно занимали какую-либо должность, например старосты, парашечников и пр., или производили какую-нибудь торговлю и содержали майдан. Все арестанты в этом балагане размещались на нескольких больших нарах, устроенных по обеим сторонам балагана и имевших проходы от стен и посередине. В конце каждых нар занимал место или трактирщик с огромным самоваром и различными снедями, или майданщик.

Ежедневно прибывающие и убывающие партии пересыльных арестантов доставляли этим торговцам и чиновным арестантам большие выгоды; особенно наживались майданщики, у которых игра в карты и кости производилась беспрерывно день и ночь, и за каждый кон они собирали по копейке, дозволяя за это играющим курить даровые папиросы.

Торгующие чаем и прочим майданщики, когда перенимали один от другого такие заведения, платили большой выход, доходивший иногда до сотен рублей.

Побывав под арестом не в одной тюрьме, я делался смелее и опытнее, а потому, когда нас привели в Москву, в пересыльную, я постарался познакомиться с некоторыми арестантами привилегированного сословия и поместился в их камере. Дворянская пересыльная камера находилась в том же балагане; но это была совершенно отдельная комната, в которой по стенам тянулись сплошные нары с голыми досками.

В те времена еще дозволялось пересылаемым арестантам при проходе в столицах собирать подаяние; для

этого из среды их выбирался староста, которого оставляли незакованным и обязанность которого состояла в том, чтобы принимать подаяние и затем делить его между арестантами. На эту должность избрали меня.

Из Москвы до Троицы-Сергия нас везли по железной дороге, а далее, на Переяславль и Ростов, мы шли пешие, имея дневки в городах.

На этот раз недолго мне пришлось прожить в Угличе. Через десять дней после моего прихода из Петербурга прислали бумагу, чтобы выслать меня обратно к следователю. Явившийся в наш дом квартальный надзиратель не дал мне и пообедать. Меня отправили в тюрьму и тем же путем, которым я пришел, переслали в Петербург. В Петербурге у следователя я дал показание, какое мне присоветовал Хлебников, т. е. отрицал свою виновность в краже у Киселева, но признался в том, что в тот день оставался у него. Меня оставили под арестом и отправили в Выборгскую часть.

Здесь я, как старый знакомый, скоро сошелся с товарищами и успел приобрести расположение начальства, почему через два месяца меня поставили старостой. Обязанность старосты состояла в том, что он должен был ходить за кушаньем на кухню, разделять пайки и следить за чистотой и порядком, а правом и преимуществом его пред прочими было то, что он мог торговать чаем.

Сначала я относился к своей должности добросовестно, а к своим товарищам — гуманно, по-человечески; но потом чем дальше, тем больше начинал делаться настоящим арестантом и подражать виденным мною старостам, т. е. сделался стяжательным и ожесточенным. Нередко я обделял краткосрочных арестантов пищей, а с пьяными распоряжался произвольно или выманивал последние копейки. Таким образом я сколотил десятка три рублей денег и наменял много порядочной одежды и белья.

Несмотря на подлость, устроенную мною с Орловым, он и младший Канаев не раз посещали меня в заключении. Орлов даже вызвался быть на суде свидетелем в мою пользу. Я просидел тут с полгода; наконец на меня начали поступать жалобы со стороны некоторых обиженных мною

арестантов, а я стал еще более заедаться, и смотритель попросил следователя перевести меня в Литовский замок.

В замке в то время смотрителем был капитан Н-в, и при нем было очень строго. За малейшую провинность сажали на несколько дней в холодный карцер на хлеб и на воду, а за более крупные проступки надевали кожаные рукавицы. Меня посадили в пятое отделение, где находились только одни бывшие под следствием за кражу, и мне пришлось сидеть среди воров всевозможных категорий: тут были карманщики, домушники, голубятники и другие мелкие мазурики; из этих товарищей я почти ни с кем не сходился, притом же я присмирел, одумался, и голова моя стала рассуждать иначе. Мне было тяжело мое настоящее положение; а совесть меня упрекала за обиды, нанесенные мною моим товарищам во время старостничества, и за непризнание своего преступления. Я несколько раз намеревался вызваться в суд и раскаяться, но меня удерживала мысль, что я и раскаявшись буду все-таки осужден за кражу и потому лишусь права производить книжную торговлю, которую я любил; кроме того, все мои знакомые станут смотреть на меня как на вора.

Я решился или выйти из своего дела совершенно чистым, или быть осужденным так, чтобы более ни с кем из прежних знакомых не встречаться: назначенный мне судом защитник, майор Ар-й, убеждал меня признаться в преступлении, уверяя, что тогда он постарается выгородить взлом, да и самый суд сделает мне снисхождение; но я поставил себе задачею не признаваться и отклонил его предложение.

Несмотря на отсутствие как у следователя, так и на суде моего обвинителя Киселева и на то, что я довольно смело объяснял причину своего отсутствия из его квартиры; несмотря на оправдывающие меня показания Орлова и довольно энергичную речь защитника, меня обвинили в краже со взломом, но за мой семнадцатимесячный предварительный арест сделали снисхождение... меня осудили: лишить всех лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и отдать в рабочий дом на год и пять месяцев с последствиями по 49-й статье.

Что я испытывал в то время, когда мне прочли этот приговор, не могу вспомнить, также не помню, за какую грубость против городового я попал из суда прямо в карцер.

Первое время мне все хотелось убежать и затем, снова арестовавшись, объявиться бродягою...

На берегу Пряжки у Сухарного моста, где теперь больница Святого Николая, находилось исправительное заведение, в которое отправляли осужденных в рабочий и смирительный дом и по жалобам родителей и опекунов для исправления.

Нижний этаж этого громадного дома занимали контора, квартиры некоторых служащих, столовая для мужчин и мастерские — переплетная, сапожная и портняжная. Во втором и третьем этажах помещались церковь и отделения женское и для умалишенных, а в четвертом — находились спальни для мужчин. Это не была тюрьма; это было что-то среднее между богадельнею и воспитательным учреждением. Положим, что для каждого арестанта непривилегированного сословия работы были обязательны; но они не были принудительными: каждый арестант выбирал себе такую работу, к какой был способен или какая ему нравилась, и за всякую работу в мастерских платили известный процент с наложенной цены.

Чистые, сухие и просторные спальни, с крашеными полами, с отдельными койками, на которых лежали такие мягкие и сухие постели, каких едва ли можно найти и теперь в любой частной мастерской, вполне достаточная и вкусная пища, еженедельное чистое белье и баня — все было хорошо в этом заведении. В переплетной мастерской, куда я поступил в исправительном заведении, работали около семидесяти человек.

Контрагентом этой мастерской был немец Лишке, а мастером — Шульц.

Взрослые работали билеты для железных дорог и коробки для патронов, а малолетние, под руководством настоящих мастеров из арестантов, приучались к более искусной переплетной работе.

Сначала я тяготился продолжительностью моего ареста и уединялся. В праздники и свободные часы я кое-что

почитывал; особенно сильное впечатление на меня имели две книги: «Несчастные» — Гюго и «Между молотом и наковальней» — Шпильгагена. Эти две книги подействовали на меня благодетельно: личность Жан-Вальжана пробудила во мне существовавшие от природы, но только на время застывшие добрые наклонности, выгнала все арестантские побуждения и злобу и более любовно заставила относиться к моим собратам. Я поставил себе за правило: никогда не быть доносчиком у начальства и если бы пришлось ответить за чужую вину, то и тогда не выдавать настоящего виновника; не говорить о ком-либо дурного за глаза, не льстить в глаза, стараться быть примирителем между арестантами, а главное — никому не давать дурного совета, не научать, не подстрекать к чему-либо незаконному. Конечно, я не проповедовал, не навязывался никому с своими советами; но когда заходила речь, я всегда старался доказать, что приятнее делать добро, чем худо.

Книга же Шпильгагена, присланная мне Канаевым, заставила меня осознать справедливость покаравшего меня закона, подчиниться и строго исполнять установленные в исправительном заведении инструкции и полюбить смотрителя полковника Ахочинского, который был действительно почти отцом арестантов.

Кроме того, эти две книги вселили во мне надежду и по окончании ареста быть еще не совсем погибшим. Поэтому я хотя и жаждал свободы, но не роптал на свою участь; начальство относилось ко мне благосклонно, а товарищи-арестанты дружелюбно. Я мало-помалу начал привыкать и сближаться кое с кем. Так как я по своему развитию стоял выше большей части своих товарищей, то мне и удалось попасть в кружок более интеллигентных, если можно так выразиться, арестантов; но вместе с тем я не заносился высоко и с прочими и потому был между всеми своим человеком.

Работы для благородных арестантов, как я уже сказал, не были обязательными, но некоторые из них от скуки почти ежедневно приходили в нашу мастерскую и в чем-нибудь помогали. Всех я теперь не упомню, а двое из них: штаб-ротмистр Грекулов и лейтенант Хартулари — остаются для меня памятны.

Первый из них, хотя и очень неглупый и образованный человек, был ловелас и фат и содержался за бесчестье, нанесенное женщине, а второй — был с очень честными и гуманными убеждениями и безукоризненно справедливый: он был осужден на четыре месяца за оскорбление полицейского офицера.

Группируясь частенько в столовой во время праздников, мы иногда беседовали по нескольку часов, и в этих беседах мои убеждения почти всегда сходились с убеждениями Хартулари, а с Грекуловым я, наоборот, постоянно спорил, и нередко дело доходило до того, что я обзывал его каким-нибудь неприличным словом, но он на это не очень сердился, потому что принужден был сознаваться, что мои выражения хотя и жестки, но справедливы.

В послеобеденное время, в часы отдыха, я иногда брался за перо и писал дневник, в котором набрасывал свои воспоминания, высказывал свои взгляды и убеждения, мечты и предположения о будущем; эти записки служили мне также утешением и развлечением.

Так прошло месяцев девять. Но в июле 1871 года стали носиться слухи об упразднении этого заведения и о переводе нас на Выборгскую сторону в исправительную тюрьму. По отзыву бывалых арестантов мы знали, что там несравненно строже, труднее и во всех отношениях хуже. Нам не хотелось верить этим слухам, но они оказались справедливыми, и мы не на шутку закручинились, особенно те, кому еще долго оставалось до освобождения. Мы нередко толковали об этом переселении и порешили держаться в новом месте заключения как можно дружнее и стараться добиться тех же льгот, какие мы имели в исправительном заведении.

В начале августа была отправлена первая партия арестантов на Выборгскую; часть малолетних также перевезли в колонию. Заведение пустело, и работы прекращались. Целые дни мы от нечего делать или собирались в какой-нибудь мастерской и рассуждали о предстоящем житье-бытье, или разгуливали по длинным коридорам и столовой.

Между арестованными находились двое пожарных Спасской части: они содержались за кражу. Фамилию

одного из них не помню, а другой, Герасимов, слыл у нас за хорошего, прилежного работника, не любившего, как большинство других арестантов, пустословия, несварливого, даже уступчивого. Не знаю почему, но Герасимов был более расположен ко мне, чем к другим, работавшим с ним вместе, арестантам.

Однажды, войдя в мастерскую, в которой работал Герасимов, я застал его в какой-то грустной задумчивости. Он стоял, опершись локтем на машину, на которой резал бумагу, поддерживая ладонью голову. Я подошел к нему и спросил:

— О чем ты задумался?

— Да ведь вот, — отвечал Герасимов, — и нам уж скоро нужно будет отправляться на Выборгскую.

— Ну так что же?

— Да там, говорят, очень худо?

— Ничего, — сказал я, — будем подружнее, так наверно не обидят.

— Здесь на словах-то все дружны, а там, как дойдет до дела, и будут хвостом вертеть.

— Не все будут вертеть, найдутся и такие, что и не выдадут друг дружку — ведь это для своей же пользы.

Герасимов ничего мне на это не ответил. Он как-то в упор посмотрел мне в глаза, вздохнул и как будто еще более загрустил; но я в тот раз не придал никакого значения ни его печали, ни вздохам.

26 сентября мы с грустью простились с смотрителем и со всеми служащими исправительного заведения, сели в арестантские кареты, и нас повезли на Выборгскую.

Здесь сперва нас приняли ласково, даже как будто заискивающе. Особенно был любезен главный воротила и любимец смотрителя, полковника Михнева, старший надзиратель В. Минеев (теперь он агент сыскной полиции). Он обошелся с нами очень ласково и каждого назначал в то отделение и мастерскую, в какое арестант заявил желание.

Всех отделений в исправительной тюрьме на Выборгской было четыре, и при них мастерские: переплетная, столярная, портняжная и сапожная. Каждое отделение

было устроено на полтораста человек; оно состояло из одной громадной палаты, посередине которой устроены были отделения для каждого арестанта, спальни, которые на ночь снаружи запирались.

Не вспомню теперь, где помещались остальные мастерские, но переплетная, или, вернее, коробочная, в которой мы работали, примыкала к четвертому отделению.

Содержались мы в тюрьме с месяц или полтора, и после той свободы и того содержания, какое имели в исправительном заведении, нам казалось действительно все горячее, особенно мы были недовольны пищей: хлеб нередко бывал такой, что из него можно было делать куколки, а о мясе и говорить нечего. Мы несколько раз обращались к старшему надзирателю и просили его похлопотать об улучшении нашего положения. Он каждый раз обещал исполнить наши просьбы, но тем не менее все крепче сжимал нас в своих ежовых рукавицах.

В конце октября или в ноябре, в воскресенье, придя из церкви, я прохаживался по мастерской. Прочие арестанты большею частью были в отделении или, собравшись кучками, беседовали около рабочих столов. Ко мне подошел Герасимов и, пройдя со мною раза два, сказал:

— Ну, сегодня чем-нибудь дело решится, либо всем будет лучше, либо хуже.

Я поглядел на него, и мне сделалось почему-то жутко. Я не спросил, что означают его слова, хотя и желал знать их смысл; но вместе с тем я как будто боялся услышать это объяснение, а Герасимов более ничего не говорил.

Пройдя еще раз по мастерской, я позвал его курить в ретирадное место. Но только мы успели закурить, как закричали: «На отделение! Полковник идет!»

Мы бросили папироски и побежали строиться в ряды. Я прибежал к месту раньше и встал от Герасимова через четыре человека.

Прошло минут десять; все стояли чинно и только изредка перешептывались между собой. Но вот надзиратель крикнул: «Смирно!» — и все смолкли.

Через минуту вошел полковник и, грозно-звучным голосом поздоровавшись с нами, быстро пошел по рядам.

Сзади его шел старший надзиратель, Минеев, строго осматривая нас. Полковник уже подходил к концу шеренги; но лишь только он поравнялся с Герасимовым, как тот, не выступая из шеренги, сказал ему:

— Ваше высокоблагородие, нельзя ли сделать нам пищу получше?

— Как? Пищу получше? Не хороша? Пойдем со мной! — И полковник взял было Герасимова за борт бушлатика. Прошло мгновение... Вдруг полковник вскрикнул и повалился. От этого крика ряды наши мгновенно расстроились; но все будто оцепенели.

Шедший сзади старший надзиратель и надзиратель отделения бросились к полковнику и начали поднимать его. Михнев, поднявшись на ноги, поджал левою рукою грудь около сердца и, не сказав ни слова, очень быстро спустился вниз и через кухню так же быстро и молча вышел на двор. Здесь старший надзиратель подхватил его под руку, и они пошли уже несколько тише в лицевой флигель, где находилась канцелярия и квартира смотрителя.

Где был Герасимов по уходе полковника, я не видал, да и не искал его — я боялся с ним встретиться. Так прошло с четверть часа, затем мы увидели в окно идущего с конвоем помощника смотрителя; когда они очутились на площадке перед отделением, то надзиратель громко позвал Герасимова.

Герасимов беспрекословно откликнулся, конвойные окружили его и повели в канцелярию.

Минут через десять помощник с конвоем вернулся снова и вызвал другого арестанта; тут только я узнал, что у Герасимова был сообщник и они с ним вместе нанесли полковнику две раны: Герасимов в левый бок, а другой — сзади, в шею.

Соучастник Герасимова был молодой парень из солдатских детей, приписанный в шлиссельбургские мещане. Я его знал мало и не помню, был ли он с нами в исправительном заведении или нет. Как они сговорились с Герасимовым, что было причиною, какая была цель их покушения и знал ли кто о нем, осталось мне неизвестным: я только после догадывался, что Герасимов перед

совершением своего преступления хотел мне высказаться, но этого не случилось...

Этот день закончился обыкновенным порядком, но в понедельник вечером, в сопровождении многочисленного конвоя, к нам в отделение явились административные и судебные власти. Это была какая-то смешанная комиссия, состоявшая из высших чинов полиции, членов тюремного комитета, товарища прокурора и следователя. Мы были выставлены в шеренгу, и товарищ прокурора начал вызывать недовольных или желающих заявить какие-либо претензии; но, конечно, как это и всегда бывает, очень немногие осмелились принесть какую-либо жалобу. Я, с своей стороны, обратился к прокурору только с просьбою приказать обчистить наши спальни, в которых легионы блох не давали покоя. Мое заявление было принято к сведению, и на другой же день прислали истребителей насекомых.

Прошло недели три: перемен в нашем положении никаких не произошло; только старший надзиратель постоянно уверял, что скоро все изменится к лучшему.

От двух арестантов, вызванных к следователю, мы узнали, что Герасимов отдан под военный суд, и мы боялись, чтобы он не оговорил и других в подстрекательстве или в знании его намерения.

Однажды вечером всех нас, переведенных из исправительного заведения, вызвали в канцелярию и оттуда тотчас же перевели в посетительскую. Старший надзиратель, подойдя ко мне, сказал:

— Свешников, мне нужно выбрать хороших людей, которые посмирнее, так вы подите сюда.

И он отвел меня в сторону. Такая честь мне было польстила, но я сейчас же разочаровался, когда увидал, что в нашу сторону начали выбирать таких людей, которые считались самыми отчаянными. Таким образом отобрали около тридцати человек и приставили к нам конвой, а прочих увели из посетительской. Мы дожидались около часа в недоумении, но наконец увидели служителей, несущих нам собственную одежду: тут мы поняли, что нас хотят куда-то отправить.

По мере того как мы одевались, нас по нескольку человек выводили в коридор, а затем сажали в арестантские кареты.

Часов в десять вечера нас окружили конным конвоем и вывезли за ворота. Долго мы не знали, куда нас везут, но наконец увидели Литовский замок и догадались.

В Литовском замке, в посетительской, уже находился смотритель, его помощники, городовые и чуть не целая рота служителей. Мы были приняты смотрителем очень строго: он прямо объявил нам, что всех нас заморят в карцерах...

По окончании переодевания, по два и по три человека, нас отводили в секретное отделение и там запирали в маленькие камеры, в которых не было ни постелей, ни столов, ни табуреток. Приставники и караульные не говорили с нами ни слова, а мы боялись с ними заговаривать и страшились того, что будет дальше. Неизвестность будущности и та суровая молчаливость, с которою обращались с нами, тяжелым камнем давила душу и не дала никому уснуть. Так прошли целые сутки: никто к нам не приходил, и, кроме воды, мы ничего не получали.

Наконец, на другой день вечером, после поверки, мы услыхали в коридоре бряцание ружей конвойных и шпор смотрителя.

Стоя у дверей, мы прислушивались к каждому звуку, как будто стараясь в этих звуках уловить свой приговор. Долго были слышны грозные шаги и хлопанье дверями и запорами. Но вот дошла очередь и до нас. Сердце, что называется, замерло...

Коридорный быстро повернул ключ в замке нашей камеры; железный засов щелкнул; двери настежь распахнулись, и смотритель, в сопровождении городового и приставника (конвойные остались в коридоре), с бумагою в руках, вошел в нашу комнату. В камере нас находилось трое.

— Как тебя зовут? — обратился к одному из нас смотритель и, получив ответ, посмотрел в бумагу и приказал выйти в коридор. Второму моему товарищу тоже было приказано выйти.

— А тебя как звать?

— Николай Свешников, — ответил я.

— А-а, так ты Свешников! Ты, верно, птица! Так я ж тебя упеку! Ты у меня живой не выйдешь, если что замечу. Если в карцере не заморю, так здесь, в камере, повешу! Запереть его! — Меня заперли.

Что было причиною того, что я попал в какой-то особенный список и меня заперли одного? Я не мог ничего придумать. Более всего я опасался, чтобы Герасимов не оговорил меня или не обнаружились бы те записки, которые я писал в исправительном заведении.

Несмотря на то что у меня более суток не было крошки во рту, когда мне, после обхода смотрителя, принесли порцию хлеба и горох, я не дотронулся до пищи.

Всю ночь я опять не мог уснуть: мысли, одна другой страшнее, преследовали меня. Я думал, что мне более уже не видать свободы, и мирился со всем: с вечною тюрьмою, с каторгой, лишь бы остаться живу.

Дни шли за днями. Я сидел в совершенном неведении, какая ожидает меня участь. Меня не выпускали даже за необходимостью; так называемая парашка постоянно находилась в моей камере, и только через неделю мне принесли тюфяк, подушку и одеяло. Но вот однажды вечером двери камеры моей снова отворились и смотритель, войдя, прочел мне приговор военного суда над Герасимовым и его товарищем: первый из них присуждался к смертной казни через расстреляние, а второй к двадцатилетней каторжной работе.

— И всем прочим бунтовщикам то же будет! — грозно посмотрев на меня, прибавил смотритель и вышел.

Это известие еще более усугубило мое отчаяние.

Тяжело одиночное заключение, но неизвестность участи была еще тяжелее. Так прошло около месяца: я оставался один, и никто со мной не говорил ни слова. Наконец меня перевели в другую камеру, где я оказался уже в сообществе трех своих товарищей. Только тут, через несколько времени, мне пришлось узнать, что это распоряжение сделано новым смотрителем Мак-вым, поступившим на место Нов..., и что нас не ожидает никакая кара. Спустя еще месяц мы были переведены в другое отделение, в общую камеру, а через два месяца наступил срок моего освобождения.

По окончании срока мне следовало отправиться на родину по этапу; но я об этом уже не кручинился, а несказанно был рад тому, это избавляюсь этого места, и считал себя наполовину свободным.

Когда я пришел в цейхгауз за своими вещами, то убедился, что узел мой не тронут: книги и записки мои целы.

Из пересыльной мне удалось известить сестру о моем освобождении; она пришла меня проводить.

В Москве, на Колымажном дворе, обыск был не особенно строг, а потому я не особенно тщательно прятал свои записки; но между тем я попал на прозорливого жандарма, который более всего рылся в моих книгах и, отрыв записки, передал их офицеру, а последний оставил их у себя. Я пожалел свои записки, но думал, что мне их только не возвратят, и потому не особенно беспокоился. Но через час после того, как кончился обыск, явились надзиратель с жандармом и приказали мне собираться со всеми вещами и следовать за ними. Я полагал, что вызывают в канцелярию для объяснения, но меня отвели в секретное отделение и там заперли в темную каморку.

Через день меня вызвали и в сопровождении двух жандармов вывели за ворота. Долго мы шли по Москве, но куда, я не знал.

Наконец, в каком-то переулке, меня ввели во двор, а затем по узеньким и темным лестницам провели в комнату, похожую на присутственное место. Тут я узнал, что нахожусь в канцелярии жандармского управления.

За столом в канцелярии сидел жандармский капитан. Он принял меня довольно вежливо и попросил садиться. После обыкновенных расспросов: кто я, где родился, учился, имею ли семейство, — он предложил мне сигару, но я отказался, сославшись, что не имею права курить в присутствии, где находится портрет императора. Капитан похвалил такую мою почтительность и, вынув мои записки, начал спрашивать объяснение почти каждому слову и каждому инициалу.

— Да вы будьте откровенны, — говорил мне капитан, — вы не бойтесь и не думайте, что жандармские управления существуют для того, чтобы только обвинять

людей. Нет, напротив, мы стараемся более оправдывать человека и тем доказать, что у нас в России все, слава богу, спокойно и все русские верны престолу и отечеству.

Я объяснял все, и объяснял не запинаясь и обстоятельно; здесь я чувствовал себя свободнее, чем в тюрьме, перед каким-нибудь приставником или надзирателем. Я объяснял каждую строчку, казавшуюся ему почему-либо подозрительною или непонятною; не скрывал и убеждений, но скрыл или, вернее, переврал те фамилии, которые находились под инициалами.

Допрос продолжался более часу, а затем меня тем же порядком отвезли в Колымажный двор и снова заперли в секретную. В секретной меня не стесняли ни пищей, ни чаем, ни табаком; но зато я был положительно закупорен в своей полутемной каморке, свет в которую проходил только через пятнадцать дырочек в пятикопеечную серебряную монету, пробитых в железной форточке двери. Эта строгость и таинственность, с которою я содержался, заставила меня предполагать, что мое дело очень важное и что меня, может быть, сочтут за социалиста. В это время мне опять приходило на мысль, что я более не увижу своей родины и меня загонят в Сибирь.

Камера моя была крайняя к окну, и как раз против нее находился стол, на котором иногда служитель дозволял арестованным попить чаю или пообедать. Подойдя както к форточке, я увидел тут одного из сморгонцев, князя Черкезова. Я читал еще в исправительном заведении, что он был осужден по Нечаевскому делу в Сибирь на поселение, и мне очень хотелось повидаться с ним как со старым знакомым, а может быть, еще более хотелось порисоваться, что вот-де и я содержусь по политическому делу. Но сообщения были невозможны, а потому я придумал известить его о себе песнями: именно теми песнями, которые чаще всего певались в их кружке. Черкезов прислушивался к этим песням, но по голосу не мог узнать, кто поет, а в кругленькие скважинки форточки нельзя было видеть моего лица. Наконец однажды Черкезов пил чай против моей каморки, а я попросил служителя принесть мне кружку воды. Когда дверь моей каморки отворилась,

взгляды наши встретились, и Черкезов узнал меня; но, конечно, ни он, ни я не подали виду, что мы знакомы. Впрочем, после этого мы несколько раз имели случай разговаривать через форточку и даже делились папиросами. Я его спросил, что он станет делать, когда прибудет на место. Он мне отвечал, что будет так же работать, как работал. (Впоследствии я узнал, что он бежал из Сибири.)

Недели через две меня опять вызвали в жандармское управление. В канцелярии за столом сидел тот же капитан и еще два офицера, а сам генерал Слезкин во время допроса стоял, облокотясь на стул сзади одного из офицеров. На этот раз у меня уже не спрашивали объяснений моих записок, хотя они и лежали тут же на столе, а пытали мои политические убеждения. Допрос опять продолжался с час, а по окончании его меня снова отвели в секретную, но на другой день перевели в общее пересылочное отделение, и с первым же этапом я был отправлен на родину.

Глава десятая

На родине. — Работа по углублению Волги. — Квартира на печке. — Путь в Петербург. — Прошение милостыни. — У сестры. — Свидание с Канаевым. — Знакомство с бароном Косинским. — Поступление комиссионером и кассиром по изданиям Косинского. — Растрата. — Кража. — Пьянство. — В исправительной тюрьме. — Домушник Ксенюшка Заломай. — Букинист Волков. — История его обогащения. — Отсылка меня на родину. — Смерть отца. — На льняном заводе. — В железной лавке Кузнецова. — Свадьба сестры. — Открытие в Угличе переплетной. — Опять в Петербург. — Поденщина. — Поддержка, оказанная мне братьями Канаевыми. — Отвергнутая любовь

Я уже несколько раз описывал свою неприглядную жизнь на родине; на этот раз я, как опозоренный, совсем отчуждался от семейства. Прожив с неделю в доме отца, я ушел за Волгу и там поступил на ту же фабрику, на которой и прежде работал.

Хороша свобода после долгого заключения, но так как на родине не было общества, в котором я успел повертеться в Петербурге, то, конечно, я не был доволен своим положением и скучал по Петербургу. Но судом мне было назначено по окончании ареста пробыть два года под надзором общества; кроме того, если бы общество оказалось снисходительным и согласилось выдать мне паспорт, то нужны были деньги для уплаты податей, которые накопились во время моего ареста; а из фабричного жалованья (восьми рублей в месяц) нужно было пить, есть и платить за квартиру.

В это лето в пятнадцати верстах ниже Углича, против села Кабанова, производилось углубление Волги. Работало там от шести до семи сот человек, и жалованья платили рабочим по восьми и девяти рублей в месяц на готовых харчах. Эта работа была гораздо выгоднее фабричной, и я, получив на фабрике расчет, ушел на Волгу.

Жизнь и работа на Волге в теплое время была для меня привлекательна. Вставали мы рано; в пять часов садились в лодки и уезжали на плоты, на которых железным ковшом с длинною ручкой доставали песок и каменья со дна Волги и, нагрузив лодку, отправлялись на берег. Выгрузив здесь лодку, мы шли на поляну, на которой находилась кухня и земляные столы, и дожидались обеда. Обед начинался тогда, когда все люди кончат свой урок, то есть нагрузятся и выгрузятся, а потому некоторым приходилось отдыхать до обеда часа по два. Известно, что где появляется рабочий люд, там непременно появляются и кабаки; так было и тут: неподалеку от кухни один предприимчивый мужичок устроил питейное заведение с продажею чая и разных закусок, а потому в свободное время, перед обедом или ужином, большая часть людей уходила туда выпить или играть в карты и орлянку. Контора подрядчика, доставлявшего людей на эти работы, была скупа на платеж деньгами, но зато охотно выдавала записки в упомянутый кабачок, по которым предприимчивый хозяин беспрепятственно отпускал водку и все прочее, вследствие чего очень многие и пропивали тут почти весь свой заработок. Я был не из числа последних,

но все-таки большую часть заработка приходилось забирать записками и оставлять в кабаке, и потому, когда пошли заморозки и кончились работы, я остался совсем без денег и даже без одежды.

Дома меня совсем не принимали, да мне и самому было стыдно находиться в семействе, а жить было негде. Внизу нашего дома находилась кухня, а которой никто не жил, но которая каждый день топилась для варки пищи. Я забрался в эту кухню и на печке устроил себе квартиру.

Кухня была сырая и холодная: в ней совсем нельзя было жить, а печь частенько была так горяча, что нельзя было лежать.

Первое время в этом помещении я голодал и нашелся вынужденным таскать тайком из печки пищу рабочих, но потом сестренки стали иногда носить мне кой-какие остатки от стола или хлеба, а после я начал помогать мачехе в стряпне. Она содержала рабочих и готовила им пищу, а я носил воду, колол дрова, чистил картофель, топил баню и пр., и за это вошел у нее в такую милость, что она присылала мне сверху и чаю.

С лишком пять месяцев я прожил в этом логовище, и во все это время не видал ни одной живой души, кроме мачехи и сестер, приносивших мне пищу.

Стала подходить весна; сердце у меня, что называется, загорелось. Мне захотелось на волю — в Петербург. Хотя мне следовало пробыть еще год под надзором общества, но я надеялся получить паспорт, лишь бы достать денег. Я начал упрашивать мачеху — несколько раз кланялся ей в ноги, чтобы она как-нибудь уговорила отца выправить мне паспорт. Долго она не сдавалась на мои просьбы, отнекиваясь неимением денег, но, наконец, после Пасхи уступила моим просьбам: мне выправили трехмесячный билет, и я, в лапотках и сером зипуне, пустился опять в дорогу.

Отец купил мне несколько фунтов ситного и благословил пятиалтынным, да мачеха дала три копейки. Конечно, этой провизии и денег хватило ненадолго, и пришлось побираться ради Христа. Долго не хватало у меня духу просить милостыню. Подойду к деревне и думаю: «Вот начну с первого дома и насбираю себе хлеба», — но лишь только

стану подходить к окошку, какое-то жгучее чувство охватывает всего. Я не умею выразить это чувство; скажу только, что с непривычки просить милостыню так же тяжело, как тяжело в первый раз предстать пред кем-либо виноватым; да и это сравнение мое как-то слабо или неумело.

«Нет, — думаю, — этот дом пропущу, тут, как видится, сами-то небогатые, а вон там дом получше — начну с того». Но, подойдя и к другому дому, опять не осмеливаюсь попросить, далее то же, и так пройдешь всю деревню, а иногда две и три, пока голод совсем не одолеет. А когда придется выпросить кусок хлеба, то сейчас же его и начинаешь есть. Дорога от Углича до Петербурга не близка, но и за эту дорогу я не мог привыкнуть к попрошайничеству и нередко по суткам голодал; когда же ел, то не досыта, а только утолял голод; хотя наши православные крестьяне, несмотря на то что и сами частенько, особенно весною, кое-как перебиваются, прохожему ради Христа никогда не отказывают.

Пришел я в Петербург в июне месяце и прямо отправился на голландскую биржу работать. Я получал небольшую поденщину, но расходовал так мало, что в скором времени приобрел себе легонький поношенный пиджачишко и сапоги и явился к сестре.

Сестра, как и всегда, приняла меня любовно и кое-чем помогла; я приоделся и захотел повидать Канаева.

24 июня я отправился на Поклонную гору, где жил Канаев. Я не рассчитывал, после вынесенного мною позора, на его расположение; но думал только, что он поможет мне какими-нибудь копейками для начатия торговли. Каково же было мое изумление, когда Канаев бросился ко мне с объятиями и расцеловал меня. Он увел меня в лес, находившийся против их дачи, и долго, долго беседовал со мною.

Я вернулся к сестре обрадованный, как будто снова возродившийся, — и на другой же день с маленькою пачкою книг пошел торговать по дачам.

Это лето я торговал недурно, но пословица говорит: в которой лагунке деготь побывает, так его и огнем не выжжешь — то же вышло и со мной. Несмотря на то что

мне пришлось испытать столько горя и лишений за свое неумеренное житье, я, сойдясь со своими товарищами-букинистами, забывал пережитое и опять частенько посещал портерные, кабаки и другие развеселые заведения и, может быть, скоро бы снова свихнулся, если бы не Канаев.

Положим, он не снабжал меня деньгами, но оказывал мне существенную поддержку тем, что постоянно покупал у меня книги и рекомендовал своим знакомым. В числе прочих покупателей Канаев отрекомендовал меня Сергею Гавриловичу Гавловскому, содержавшему реальное училище на углу Николаевской и Ивановской улиц, а последний — преподавателю этого училища барону Михаилу Осиповичу Косинскому. Первое время М. О. был только моим покупателем, но когда, в скором времени, взял на себя издания «Народных чтений» Педагогического музея и продажу их при музее, — то, видя во мне расторопного и сметливого торговца, предложил вести у него комиссию по этим изданиям и, кроме того, быть кассиром и продавцом книг во время народных чтений. Я, конечно, охотно согласился на его предложение, потому что на самом деле это занятие было для меня и почетно и выгодно. Работы было много. Я принимал купленные у авторов остатки изданий, ездил с заказами и другими поручениями по типографиям, отдавал на комиссию книгопродавцам издания, а два или три раза в неделю обязан был находиться в музее при кассе. Сам Михаил Осипович, несмотря на свое слабое здоровье, работал неустанно. Проводя дни на уроках и в музее на совещаниях, он почти целые ночи просиживал за своими изданиями. Он сам исправлял корректуры и делал все распоряжения. Можно сказать положительно, что он взялся за это дело не ради собственной выгоды, а единственно из желания распространить более полезные чтения в народе.

— Вот, — говорил он мне однажды, — я бы мог прожить и без уроков, и без этих изданий, но трутнем-то жить не хочется.

Месяца три я исправлял свою должность с аккуратностью и старанием. Прочие члены музея, как то: Коховский, Воронецкий, Животовский, Рогов и др., тоже ко мне благово-

лили и доставляли кое-какую практику по книжной торговле. Дело шло довольно успешно, но эти успехи вскружили мне голову; я начал тратить деньги не по доходам и иногда являлся к Косинскому не в порядке. «Эх, Н. И., — заметил мне однажды Михаил Осипович, — ведь я хотел сделать из вас купца и поставить на твердую ногу, а вы начинаете делать глупости?» Но Михаил Осипович был очень добр и, после этого замечания, не утратил еще ко мне доверия.

Однажды в марте месяце 1874 года в музее было очередное народное чтение и в то же время в другом зале читали какую-то лекцию. Сам я находился при кассе народных чтений, а билеты на лекцию продавал знакомый Косинского — выписанный им из Новгорода народный учитель и наборщик Матросов. Так как отчет по кассам обязан был делать я, то по окончании чтений я, по обыкновению, все вырученные деньги забрал с собой для того, чтобы на другой день доставить их Животовскому, как это постоянно делал. Но, выйдя из музея, я встретился с компанией и зашел угоститься. Много ли, мало ли мы выпили, не помню; но помню только, что я этим не удовольствовался и захотел еще погулять. Я пропутался вечер по трактирам и ресторанам; на Загородном проспекте я встретил Матросова, с которым снова зашли в ресторан, а затем попали в место терпимости, где и пробыли до утра.

Очнувшись, я увидел у себя только половину кассы — рублей сорок. Что было делать? Как явиться к Косинскому и Животовскому? Я попросил Матросова отнести к Михаилу Осиповичу ключи от кассы и от сундука с книгами, находящимися при музее, и передать ему, что я более явиться не могу, а сам остался ожидать ответа в портерной. Через час Матросов вернулся и сообщил, что Михаил Осипович сказал: «Сама себя раба бьет, что не чисто жнет». Я распростился с Матросовым и пошел опять пьянствовать.

Я прожил несколько дней у одного своего знакомого, пропил с ним все оставшиеся у меня деньги, а затем у него же вытащил из кармана восемь рублей и убежал. Недели две я не являлся на квартиру и пропил почти все, что было на мне.

Я боялся, что Косинский будет преследовать меня за растрату, но, вернувшись на квартиру, узнал, что меня никто не спрашивал; а потом Матросов сообщил мне, что Михаил Осипович не только оставил дело без последствий — внес свои деньги в кассу, но даже пожалел меня. Так прошло дней десять. На Вербной неделе все мои товарищи по квартире (вся квартира была наполнена торговцами-разносчиками) ушли торговать на вербу, а мне не в чем было выйти, одежды у меня никакой не было, и я сидел в квартире в одном белье. И вот я, соскучившись своим бездельем и одиночеством и видя, что мне теперь уже не с чего подняться, никто мне не поможет, да и у самого духу не хватит к кому-либо обратиться, задумал недоброе, и мне как будто опять захотелось в тюрьму и как будто только в этом я видел для себя исход.

Однажды, когда все ушли торговать в Гостиный двор, я забрал находившуюся у них в сундуках и висевшую на стенках праздничную одежду, кое-что надел на себя, а остальное завязал в узел и скрылся. Боясь, чтобы кто-нибудь из торговцев, вернувшись, не бросился меня разыскивать, я ушел на Петербургскую сторону и там, в Сытном рынке, распродал лишние вещи и пошел искать развлечений. Дня через два я опять очутился в рубище и опорках. Пропутавшись еще дня два голодным и без ночлега, я пришел в 3-й участок Спасской части, объявил, что сделал кражу на квартире и растратил кассу Педагогического музея, просил меня арестовать; но из участка меня выгнали вон.

На другой день я сидел в кабаке на углу Большой Миллионной и Мошкова переулка. Кто-то из знакомых увидел меня в окно и сказал об этом на квартире. С квартиры явились два разносчика и потащили меня. Когда они привели меня на квартиру, то прежде всего начали бить, били кулаками и каблуками, били с остервенением; а я молчал и только закрывал грудь. Затем позвали дворника и отвели в участок, а оттуда — в часть.

Через неделю я был приведен к мировому судье и осужден на шесть месяцев в исправительную тюрьму.

В исправительной было то же начальство и те же порядки, что и прежде, а потому я боялся, что мне, как быв-

шему уже здесь прежде на дурном счету, придется жутко; но все старое было забыто, и я опять поступил в переплетную. Не буду описывать моего пребывания в исправительном заведении потому, что в нем нет ничего нового или интересного, кроме того, что я познакомился с одним старым арестантом, известным в то время громилой-домушником Ксенофонтом Каллистратовым, или, иначе, Ксенюшкой Заломаем. Этот Ксенюшка уже несколько раз содержался и в этой тюрьме, и в Литовском замке и во время одного ареста сошелся с букинистом Волковым, сидевшим в начале шестидесятых годов в Литовском замке за продажу запрещенных книг графу М. Волков, по освобождении, познакомил Ксенюшку с В. В. Крестовским, а последний, ведя с ними компанию, черпал у них материал для своего романа «Петербургские трущобы». Ксенюшка на этот раз рассчитывал, что его вышлют из Петербурга. У него где-то были припрятаны деньги и на несколько тысяч золотых и серебряных вещей. Близких людей, на которых можно было бы положиться, он не имел, а потому, узнав от меня адрес Волкова, он послал ему письмо и просил прийти в одно из воскресений. Волков не замедлил явиться, и Ксенюшка сообщил ему о своем припрятанном сокровище и просил превратить все в наличные деньги, часть оставить себе, а остальное принести ему. Волков охотно согласился, но, найдя этот клад, уже более не возвращался к Заломаю. Последнего услали из Петербурга, а Волков на утаенные деньги начал заниматься разными аферами.

По окончании моего ареста меня следовало отправить в распоряжение сыскного отделения, но я своим поведением на этот раз настолько зарекомендовал себя, что старый знакомый, старший надзиратель, сам хлопотал, чтобы меня, минуя сыскное отделение, отправили на родину; поэтому когда кончился срок, то прямо из тюрьмы служитель отвел меня на железную дорогу и там, посадив в вагон, вручил мне выданный на мое имя билет.

Доехав до Рыбинска по железной дороге, я остальной путь до Углича прошел пешком. Еще в Петербурге я слышал, что отец мой умер, завещав и дом и все хозяйство мачехе. Я вполне сознавал, что отец поступил справедливо,

потому что при моей слабости я не мог бы удержать хозяйства; притом же я все-таки был непоседа и на родине долго ужиться не мог.

Вернувшись на родину, я уже не пошел домой, не желая обременять собою семейства, и поселился на окраине города у одного отставного солдата. Прожил я тут с неделю без дела и без средств, а потом пошел к своему двоюродному дяде, человеку богатому и набожному, и стал просить его помочь мне. Дядя сжалился над моим положением, купил мне поддевку, сапоги и белье и поставил на льняной завод в работу.

Я получал двадцать пять копеек в день, но был доволен этим заработком и проработал зиму, а затем поступил в железную лавку к Кузнецову. Я уже упоминал, что Николай Васильевич Кузнецов однажды помог мне на дорогу и затем также помогал во время моего пребывания под судом. Должен сказать, что доброта его ко мне и на этот раз не изменилась.

Поступив на эту должность, я перешел на житье в свой дом. Кузнецов, кроме маленького жалованья, положенного мне, очень часто делал мне подачки разными вещами; но я этим еще не довольствовался и иногда своею рукою тащил из лавки что мне приглянется. Так прошло месяцев девять; я оделся довольно прилично, по возможности оказывал поддержку своим родным, приобрел себе хороший инструмент и все принадлежности переплетного мастерства, подумывал даже жениться и завести в Угличе небольшую книжную торговлю.

В январе 1876 года просватали замуж одну из моих сестер. На мне лежала нравственная обязанность помочь ей, тем более что эта сестра была одной матери со мною, а у мачехи на руках оставалось еще четыре дочери. Я дал обещание помочь сестре, и дело уладилось бы благополучно, но незадолго перед этом Николай Васильевич разошелся с отцом и окончательно отделился. Отец Николая Васильевича, подсчитав мой забор, сказал, что я и так много состою ему должен и он не может более давать мне вперед жалованья.

Получив отказ от хозяина, я обратился с просьбою к дяде; но дядя отвечал, что у него денег нет, а есть только

копейки для нищих, причем рассказал, как нищие устроили одному богатому грешнику мост из копеек из ада в рай. Эти неудачи сильно меня огорчили, я начал опять пьянствовать и воровать больше прежнего из лавки.

В силу данного сестре обещания я принужден был продать кое-что из одежды и вещей, приобретенных мною во время службы у Кузнецова, и, сколотив несколько десятков рублей, передал их мачехе. Во время сватовства пьянство опять глубоко во мне укоренилось; я бросил службу у Кузнецова и в компании с одним купцом открыл переплетную. Дело шло довольно тихо или, вернее сказать, совсем не оправдывалось, а между тем я не оставлял пьянства, почему наша компания скоро расстроилась, и я остался без дела и без средств. Несколько времени я опять прожил в холодной кухне на печке, но потом кое-как сколотился и прежнею дорогой снова пошел в Петербург.

Мне опять пришлось побираться Христовым именем и вынести в пути немало невзгод потому, что на дворе стояла полная распутица. Добравшись до Петербурга, я, при помощи моего знакомого книгопродавца Лазарева, скоро оправился. Я мог бы опять подняться и заторговать, но сразу же поступил подло: взяв у Лазарева на покупку книг пятьдесят рублей, я большую часть из них прогулял, а с остальными скрылся из Петербурга.

Где пешком, где по железной дороге я добрался до Вышнего Волочка и тут, очутившись без копейки, увидел, что в провинции без денег еще хуже, чем в столице, и решил снова возвратиться в Петербург. Я порядился опять на барки, но только уже не сгонщиком, а коренным.

На барке обыкновенно находятся двое коренных, и обязанности их не очень многосложные: причаливать и отчаливать барку, смотреть за крепостью причалов, отливать воду и караулить по ночам. Мне попался опытный и здоровый товарищ; он исправлял все работы, предоставив мне только управляться с отливкою воды, а так как барка была довольно крепкая, то эту путину я прошел без горя.

Вернувшись в Петербург, я уже не сунулся более к своим собратьям-книжникам, а пошел в поденщину. Работал я на голландской бирже, на строениях, на огородах,

большею же частью мне приходилось быть без дела. Сестра и на этот раз ко мне снисходила, но у нее разрослось свое семейство, помощников еще не было, и дела их были не блестящи, а потому большой помощи она не могла мне оказать. Неуживчивость на одном месте, а главное, безработица чуть было снова не выгнали меня из Петербурга. Я уже простился с сестрой, приладил себе котомку и лапотки и, пообедав на Сенной, хотел пуститься опять искать приключений, но меня встретили два моих товарища-букиниста и, угостив по-приятельски, отговорили покидать Петербург. Опять я принялся за свою торговлю и, может быть, скоро опять мог бы расторговаться, но не оставлял своей пагубной привычки пьянствовать, а вместе с тем и путать добрых людей. К зиме я очутился опять раздетым и без средств.

На Петербургской стороне в Зверинской улице я нанимал угол. Зима была в тот год очень холодная, а костюм у меня был совершенно летний, и мне, как говорится, трудно было высунуть из квартиры нос. И вот я опять вспомнил Канаева, вспомнил, что он советовал мне писать свою автобиографию. Я написал ему письмо, в котором изложил свое безвыходное положение и объяснил, что намерен составить записки о своей жизни. Канаев, не видевший меня давно, несмотря на то что знал о моих проделках с Косинским и другими, принял ласково и подарил мне пальто, белье и три рубля. Вскоре после этого я был принят и другими братьями Канаевыми и по совету младшего — в то время военного врача — переселился с Петербургской на Пески, в Херсонскую улицу, как раз против его квартиры.

Переселясь на новую квартиру, я первое время писал свои записки; но мне приходилось голодать, а потому я принялся опять за свою торговлю.

Здесь я познакомился с молодою, но бедною девушкой, П. Н. Нос... Она была сирота, не имевшая ни отца, ни матери. Несмотря на свое благородное происхождение, жили они с сестрой очень бедно, так бедно, что нередко голодали, но все-таки вели себя как немногие, которым приходится испытывать нищету. Заглохнувшая столько

лет во мне любовь на этот раз возродилась с новой силой; я как будто чувствовал, что это уже последний ее период. Но любовь моя была далеко не платоническая: я жаждал обладания П-й. Она ежедневно заходила в мою комнату и засиживалась иногда по нескольку часов, но решительно объявила, что может быть со мной только дружна.

Видя себя отвергнутым, я от досады и ревности начал сильно пьянствовать и однажды объявил Канаевым, что намерен совершить преступление — зарезать П. Это была просто выдумка, но Канаевы отчасти поверили ей и, желая отвлечь меня от такого намерения, возились со мною, как с малым ребенком. Они посылали меня к своему доктору, давали денег и утешали всем, чем могли. И я между тем пьянствовал, представляя из себя отчаянного.

В апреле 1877 года была объявлена война с турками, и вскоре после того Обществом попечения о больных и раненых воинах было объявлено о приеме желающих поступить в санитары в действующую армию. Средний Канаев посоветовал мне записаться в санитары и много содействовал моему поступлению. Он выхлопотал мне от полиции свидетельство о полной благонадежности и рекомендовал начальнику фельдшерской школы.

Глава одиннадцатая

Поступление в санитары. — Отправление в действующую армию. — Жизнь в Бухаресте. — В Систове. — В деревне Мидхад-паша. — Сформирование санитарного отряда. — В Боготе. — В Орхании. — Отношение к нам болгар. — Отправление за Балканы. — Переход через горы. — Перевязочный пункт. — Голодный полковник. — В Софии. — Раненые турки. — Встреча Нового года. — В Самокове. — Иеромонах Челоков. — Станция Бела. — Татар-Базарджик. — В Филиппополе

В мае месяце 1877 года я записался в военно-медицинской фельдшерской школе санитаром. Всех записавшихся и слушавших курсы было человек семьдесят.

Принимали в санитары почти каждого мало-мальски знавшего грамоту. Тут были наборщики, артельщики, послушники, несколько евреев и разные лица, искавшие приключений или не имевшие занятий. Кроме одного старика немца, остальные по большей части были люди молодые, некоторые просто юноши. Какое чувство влекло других на войну, я не знаю, но о себе скажу, что меня влекло не столько чувство патриотизма и желание помочь страждущим, сколько желание выйти из стеснительного положения и зашибить копейку. Доктор-руководитель Бетхер раз десять или более читал нам лекции анатомии, физиологии и десмургии; а затем мы по неделе дежурили, то есть присматривались к способу ухода за больными в хирургическом и терапевтическом отделениях клиники. Я учился хорошо; скоро понял перевязку, наложение компрессов и пр., а анатомию и физиологию знал гораздо лучше многих.

Со дня поступления до отправки нам было назначено пособие по пятнадцать рублей в месяц; но полковник Самойлович, начальник военно-фельдшерской школы, делал выдачу не сразу, а когда придется или кто сумеет выпросить: иные получили больше, иные меньше. В начале июля было назначено отправление первой партии в Кишинев, и мне очень хотелось поскорее ехать; но полковник сам не посоветовал мне торопиться. Он сказал, что назначит меня в летучий отряд — в самую действующую армию. И действительно, вскоре за отправкою первой партии из нас выбрали сорок человек в летучий отряд государыни императрицы. Нам сделали форменный русский, довольно красивый, костюм и выдали по пятидесяти рублей подъемных. Перед отправкою уполномоченный Петлин и доктора Ген и Гаусман приходили проверить наши способности и познания и, кажется, остались довольны.

16 августа уполномоченный Петлин, доктора Ген, Янковский, Гаусман и Куколь-Яснопольский, фармацевт Данциг, классный фельдшер Лейвзенер, обозный офицер Молотов, вахтер, шестнадцать студентов и десять человек нас, санитаров, отправились по Николаевской железной дороге с почтовым поездом в путь. Уполномоченный

и доктор ехали в вагоне первого класса, а все прочие занимали вагон второго класса.

Я не буду описывать нашего переезда, хотя для меня было много нового и интересного: Москва, Курск, Киев, Кишинев, Яссы у нас только промелькнули перед глазами. На шестой день мы были в Бухаресте, и тут нам, в вокзале, выдали первое жалованье и порционные деньги.

Вообще все санитары получали по пятнадцати рублей в месяц, но нам было объявлено, что в летучем отряде мы будем получать по двадцати пяти рублей, и, кроме того, нам назначили еще порционные, на первое время по сорок пять копеек. Все это нам было выдано золотом, что, при тогдашнем курсе, увеличивало ценность денег более чем в полтора раза. Такое жалованье и порционные давали нам возможность не только жить в довольстве, но и иметь развлечения.

По прибытии в Бухарест наш высший персонал остановился в первоклассной, довольно чистой гостинице, а нам была отведена в улице Магашей, в доме Николеско, хорошая квартира. На другой день по прибытии уполномоченный, доктора, десять студентов и четыре санитара отправились в Систово, а мы и остальные студенты остались ждать приказаний.

Деньги у нас были, и время мы проводили в Бухаресте весело: день мы играли в стукалку, а по вечерам шлялись по ресторанам, садам и другим увеселительным заведениям. Нас принимали с почетом, и музыканты, при нашем прибытии, непременно старались сыграть что-нибудь русское; особенно чаще всего повторялся «Стрелок» и русский народный гимн, при исполнении которого все русские и румыны вставали и снимали шапки.

Но все-таки подобная жизнь начинала надоедать, и нам очень хотелось отправиться к делу.

Недели через две мы, под управлением Молотова, при шести тройках обоза, отправились в Систово. Дорогу до Систова мы шли пешком и ночевали под открытым небом. В Фратешти я отыскал младшего Канаева, находившегося тогда при военном госпитале. Он приглашал меня остаться у них, но Молотов мне не разрешил.

В Систове для нашего отряда был отведен целый дом, вероятно, какого-нибудь бежавшего турка; этот дом во все время войны принадлежал нашему отряду всецело. Он был разорен и замусорен, но его пообчистили и устроили в нем главный склад, при котором оставили двух санитаров. Кроме них, в Систове остался по болезни и старик немец, который во все время пребывания тут получал жалованье и занимался только тем, что варил сапожную мазь и ваксу и торговал этим в Систове.

На долю отряда, уехавшего раньше нас, досталась жаркая работа: после тридцатого августа из-под Плевны все раненые, которые только могли выносить дорогу, были направляемы на Систово. Транспорты были многочисленные, тысячные, и вот над этими транспортами раненых наши врачи, студенты и санитары, вкупе с персоналом находившегося там госпиталя и сестрами милосердия, работали целыми сутками, не отдыхая. Но когда мы прибыли, то раненые по большей части отправлены были уже далее в Россию, и только очень трудные остались в госпитале.

Вскоре после нашего приезда в Систово прибыли из Петербурга с уполномоченным В. Г. Боком и г. Чекувером (убитым в императорском поезде 17 октября 1888 г.) остальные санитары, а с ними также пришел и громадный транспорт вещей, медикаментов и всего потребного для отряда.

Дня через три мы отправились далее. Я не буду описывать трудности дороги; об этих дорогах уже несколько раз писали; скажу только, что позднею ночью мы добрались до деревни Мидхад-паша, которая считается от Систова в шести часах перехода. Эта деревня была совсем разорена, и в ней помещений почти не было.

Здесь отряд наш вполне сформировался. Он состоял из двоих уполномоченных, пяти докторов, фармацевта, двоих классных фельдшеров, восемнадцати студентов и сорока санитаров; кроме того, при отряде находились: обозный офицер, вахтер, повар, кухарка, прачка и другая прислуга. В одном из покинутых домов, или, вернее сказать, мазанок, устроили склад; другой заняли студенты, а третий — мы. Уполномоченные и доктора поместились

в палатках. Земляная кухня и столовая находились под открытым небом, и только во время дождя обед подавали под навесом, где, по-видимому, прежде помещалась скотина. Тут у нас хотя и была раскинута палатка для больных, но в ней лежало только восемь человек.

Здесь, на первых же порах, сказалась несостоятельность и непривычка нашей братии к работе. Большая часть санитаров были белоручки и не хотели исправлять таких работ, как дежурство на кухне, прачечной и т. п., а между тем работать было нужно, и людей взять было негде. Но не только эти работы, а и дежурство у больных некоторым не нравилось.

— Неужели мы за тем ехали, — сказал однажды дежуривший со мной товарищ, — чтобы выносить ведра с нечистотами: нас учили только перевязке да переноске раненых.

А на самом деле желать лучшего было невозможно: обращение с нами было вполне гуманное, вежливое, пища вполне достаточная и хорошая, а работы почти совсем не было; мы или делали дорожки от одного помещения до другого, или щипали траву для матрасов; большую часть времени, как и в Бухаресте, занимались стукалкой.

Рядом с нами помещался гвардейский штаб, начальником которого в то время был граф Воронцов-Дашков. Он и все офицеры штаба обедали постоянно у нас. Обеды были хотя и не роскошные, но и не дурные. Повар, нанятый Петлиным в Бухаресте, умел готовить, а вина из нашего склада, как водится, подбавляли аппетита, поэтому обеды были превеселые: шутки, анекдоты и остроты, что называется, лились рекой.

Неделю спустя из нашего отряда отделили часть на позицию под Плевну. Докторам, вероятно, всем хотелось быть ближе к делу, потому что они кидали жребии, и он выпал на долю теперь уже умерших Янковского и Гаусмана. Кажется, так же поступили и студенты; а санитаров Янковский просил выбрать тех, которые казались смелее и выносливее.

В Мидхад-паша мы стояли недели три, а потом поехали далее под Плевну. Все это время шли сильные дожди,

и дороги были невыносимые. Мы проехали Горный Студень, Овчую Могилу и Булгарени, и по мере приближения к Плевне дороги становились еще хуже, нередко они были запружены артиллерией и транспортами так, что по нескольку часов приходилось выжидать проезда; множество валявшихся замученных лошадей и волов также иногда задерживали путь.

В Порадиме мы остановились на сутки; запаслись галетами и солью и затем отправились в Богат, где в то время находилась главная квартира. Тут к нам прибыли из России доктора Веймар и Головачев и партия сестер милосердия, часть которых осталась при нашем этапном лазарете.

В Боготе совсем не было помещений. Доктора нашли себе маленькую мазанку, а мы разбрелись по клетушкам, в которые сыплют кукурузу. Для студентов и сестер были раскинуты палатки. Склад и кухня также помещались в палатках. Через небольшой проезд, на поляне, в двух больших и шести маленьких палатках был устроен этапный лазарет имени государыни цесаревны, при котором докторами состояли Ген, Куколь-Яснопольский и Бабаев, а уполномоченным — г. Бок. Все прочие доктора и уполномоченный Петлин, с несколькими студентами и санитарами, находились на позиции.

Лазарет наш можно было назвать образцовым; изобилие медикаментов и перевязочных средств, хорошие постели и белье и самый тщательный уход вполне успокаивали раненых. Лазарет наш несколько раз был посещаем государем императором, главнокомандующим, князем Черкасским, Пироговым и Боткиным и всегда получал похвальные отзывы.

Из Богота я два раза был командирован в Систово за покупками провизии и в склад за медикаментами и другими вещами. Поездки эти продолжались по неделе и мне нравились. Кроме удовольствия путешествовать по живописной гористой Болгарии и знакомиться с бытом и языком болгар, которых мы нанимали для перевозки наших вещей, эти поездки приносили мне и еще существенную пользу. Деньги Красного Креста давались щедро, а отчеты принимались по совести, без проверки.

В Боготе, так же как и в Мидхад-паше, к нам частенько заходили гости. Ни один обед не обходился без посторонних, и покойный М. Д. Скобелев нередко даже засиживался с сестрами.

Здесь нашей партии поубавилось. Несколько санитаров захворали, а некоторые, будучи недовольны возлагаемыми на них работами и отношением начальства, уехали обратно в Россию.

Со взятием Горного Дубняка гвардия тронулась далее в Балканы. Наш летучий отряд пошел за нею, а в начале ноября и этапному лазарету было приказано собираться в дорогу. Раненых, которые могли выносить дорогу, эвакуировали в Систово, а более трудных перевезли в расположенный близ Богота госпиталь. Петлин и доктора уехали раньше, а 6 ноября и мы на сотне легких повозок, находившихся в заведовании графа Соллогуба, напутствуемые князем Черкасским, под управлением Бока и Чекувера, отправились в путь.

Мы проехали Горный и Дальний Дубняки, Телиш, Радомирцы и Яблоницы и остановились в Ушковицах. Все эти селения были, по большей части, разорены, и жителей в них почти не было; но при всем том мы во время этого пути не испытывали трудностей потому, что дорога была хорошая — шоссейная, а повозки наши легкие, да и погода стояла сухая и теплая.

В Ушковицах мы стояли более недели, и в это время погода стала делаться холоднее. Войска наши вступали в Балканы, и наш летучий отряд, разделяясь на два, следовал за ними, а нам приказано было отправиться в Орханию, где предположено было устроить лазарет.

Дорога от Ушковиц до Орхании идет горами, по краям глубоких оврагов, и в некоторых местах так узка и неровна, что наши маленькие повозки рисковали свалиться в овраг.

Орхания — небольшой болгарский городок. Когда мы в него прибыли, он был совершенно пуст и разорен. В нем не было еще наших войск, исключая нескольких казаков, а впереди, в двух верстах, находились турки, почему мы на первое время остановились на улице и несколько часов не

распрягали лошадей; но вскоре подошли войска, а на другой и третий день начали возвращаться бежавшие болгары.

Через два дня по нашем прибытии с Балкан привезена была большая партия раненых; для госпиталя заняли общественную школу — довольно большое здание. Первое время раненые были положены в холодных помещениях, и за неимением постелей и других приспособлений для них достали несколько возов соломы. В Орханию мы вступили почти первыми, а до нас турки творили здесь неистовства, потому и немудрено, что болгары видели в нас своих избавителей и относились к нам и нашим раненым вполне по-братски. Многие женщины приносили в лазарет хлеб, брынзу (польский сыр), молоко и проч.; некоторые приходили перевязывать или обмывать раненых, а одна, довольно пожилая болгарка, ежедневно ухаживала за раненным в грудь солдатом, как за своим сыном, во все время пребывания его в госпитале. У нас, в Орхании, так же как и в Боготе, в скором времени лазарет устроен был образцово и снабжен всем нужным с избытком. Из Богота у нас было привезено много теплых вещей, да и в Орхании мы получили еще большой транспорт и потому из нашего склада очень щедро снабжали теплою одеждою почти всех офицеров.

Наступили довольно сильные морозы, доходившие иногда градусов до пятнадцати, и наши войска терпели в горах немало нужды и холода. Гвардейцы, приходившие с позиции на отдых в Орханию, были неузнаваемы: наполовину сожженные шинели и прочее платье и сапоги, обвязанные какими-нибудь шкурами и лохмотьями, встречались беспрестанно. Наш лазарет и находившийся тут военный госпиталь были переполнены больными и обмороженными. Но нам жилось недурно: нам, что называется, с ног до головы была выдана теплая и хорошая одежда.

Я считался недурным работником и исполнителем своих обязанностей и пользовался расположением начальства и товарищей; но я давно уже сгорал желанием послужить в летучем отряде; да и доктора, знавшие меня, охотно приглашали, только Ген и Чекувер отговаривали. Однако на этот раз они меня не удержали, и я 13 декабря

в отряде, находившемся под управлением Янковского, отправился в поход за Балканы.

Отряд наш состоял из семи человек: двух докторов, двух студентов и трех санитаров. Доктора ехали верхом, студенты шли пешком, мы вели по вьючной лошади. Утро было довольно морозное — больше десяти градусов. Но только мы вышли за город, как солнышко стало пригревать настолько, что мы дорогою принуждены были раздеться до рубашки. Переход до деревни Врачешти был не особенно большой; но добрались мы туда только к вечеру, и нам стоило немалого труда отыскать помещение, потому что вся деревня была занята кавалерийскою дивизией.

Отправляясь на позицию, наши летучие отряды, кроме медикаментов и перевязочных средств, всегда запасались с избытком бельем, спиртом, чаем и всякой провизией; а потому и были принимаемы всеми очень радушно. К нам нередко приходили, или присылали, не только офицеры, но и генералы за банкой каких-нибудь консервов или за чаем и сахаром.

Мы должны были переходить Балканы в колонне генерала Вельяминова. Переход начался 13 декабря, но мы, в хвосте колонны, вместе с кавалерией и прикрытые ею сзади, выступили из Врачешти только 16-го числа, потому что ранее путь был загражден пехотою и артиллерией. Погода была прескверная, а дорога сначала хотя и не очень крутая, но почти на каждой сажени была завалена камнями. С утра шел мокрый снег, а с полудня, по мере того как мы подымались выше, снег становился суше и сильнее. Чем дальше мы шли, тем дорога становилась круче, уже и каменистее. В некоторых местах мы лепились по крутым и покатистым тропинкам, имея с одной стороны гору, как стену, а с другой — глубочайший и обрывистый овраг. Всю дорогу я не верил, что тут могла пройти артиллерия, и убедился лишь тогда, когда увидел на самой вершине горы с полсотни пехотинцев, с припевами «Дубинушки» тащивших веревкой орудие.

На вершине одной горы, часов в десять вечера, колонна остановилась отдохнуть, и мы вздумали было погреться чаем; но руки у нас так окоченели, что мы никак не могли

развьючить лошадей и достать припасы. Однако нашлись два солдатика, которые за предложенные Янковским два рубля сделали нам все нужное — развели огонь и согрели кипятку. Но лишь мы успели налить по стакану, как снова скомандовали в дорогу, и нам пришлось все бросить и идти. Не прошло и получаса, — вьюга разыгралась сильнее, и мы опять принуждены были остановиться. На этот раз остановка длилась долго, и солдаты развели хороший огонь, около которого и собралась большая толпа. Конечно, командиры и наши доктора заняли первые места, а солдатикам и нам немного пришлось погреться.

Лошади наши были привязаны к кустам, а мы с товарищем, наполовину засыпанные снегом, лежали около них и рассуждали, как хорошо быть художником, чтобы срисовать эту разношерстную, сидящую около костра группу.

Доктор Гаусман, студент Гласко и один из наших санитаров, еврей, чувствовали себя нездоровыми и хотели вернуться назад, но Янковский отказался следовать их примеру, а они, по всей вероятности, побоялись одни пуститься в дорогу.

По дороге мы нагоняли много отставших от своих частей пехотинцев; один из них произвел на меня впечатление, которое не изгладилось до сих пор. Как сейчас вижу его, молодого, бледного, стоящим, прислонясь спиною к дереву. Когда мы стали подходить к нему, то он, почти не глядя на нас, а куда-то в пространство, говорил:

— И господи, боже мой! Что это нашему батюшке-царю нужно? Или у него народу много, или у него земли мало? — Более он не сказал ни слова.

Мы с Гласко поднесли ему небольшую порцию водки, дали несколько сухарей и английского кексу и подвели к дымящемуся невдалеке костру, у которого сидели тоже трое отсталых.

С рассветом мы опять тронулись в путь. Снег шел, хотя и менее, но дорога становилась еще круче и уже. В некоторых местах приходилось делать остановки, и в это время нам было еще хуже, потому что мороз, без движения, давал себя чувствовать сильнее, и чем выше мы поднимались в гору, тем становилось холоднее. Солдаты,

кроме утомления и стужи, терпели еще и от недостатка пищи: мне приходилось видеть, как они ели конские галеты — да еще подсмеивались. «Вот, — говорил один, жуя галеты, — этих бы сухариков надо отвезти жене к чаю: больно они уж вкусны». Но, несмотря на усталость, голод и все трудности, впереди на вершине нередко раздавалась залихватская песня кавалеристов.

Наконец, часов в десять или одиннадцать утра, мы добрались до вершины. Я несказанно был рад этому и думал, что вот скоро явится желанная пристань Чуриак; а если и не скоро, то, по крайней мере, под гору идти будет легче. Но тут оказалось новое неудобство: при спуске с гор седло и вьюки моей лошади постоянно сползали на шею, и мне, почти поминутно, приходилось останавливаться, поправлять их и перевязывать; да и вьюга с полудня разыгрывалась сильнее, и дорогу в некоторых местах глубоко перемешало. Нечего и говорить, что чем дальше мы шли, тем более отставали друг от друга, а под конец и совсем растерялись.

Часов в пять вечера я добрался до Чуриака и остановился на площади, не зная, где отыскать наш отряд. Каково же было мое изумление и радость, когда я увидел самого Петлина, шедшего ко мне с распростертыми объятиями. Он крепко обнял меня и поцеловал... Вечером мы все, в братской беседе, с несколькими офицерами и казаками, в холодном доме у горящего очага, праздновали этот трудный, но славный переход. Все чувствовали себя счастливыми и были уверены, что теперь Ташкисенские укрепления не устоят.

Следующий день мы, в компании нескольких русских и иностранных корреспондентов, походного фотографа Иванова и офицеров, при хоре музыкантов, тоже попировали. Мне здесь пришлось поделиться из нашего запаса с некоторыми офицерами сахаром и солью.

— Да, — говорил один из офицеров, — до вашего прихода мы бы с удовольствием здесь отдали по золотому за фунт соли.

19-го числа, в 4 часа утра, мы уже выступили в путь. Хотя в некоторых местах и догорали еще костры, а в одном горел целый сарай с соломою, но было еще очень темно, и потому нельзя было рассмотреть картины выступления. На

окраине деревни мы на несколько времени остановились, и мимо нас прошли финляндцы, а затем проехал генерал Гурко с своим штабом, корреспонденты и наш уполномоченный. Спустя часа два или три мы услыхали уже ружейные и пушечные выстрелы. Дойдя до деревни Поток, мы остановились и послали данного нам казака к уполномоченному узнать, где будет находиться перевязочный пункт. В болгарской избе мы напились чаю и закусили купленными у болгар яйцами и кукурузным хлебом, и тут же доктора купили несколько штук болгарских народных поясов.

Через час казак наш возвратился и повел нас на перевязочный пункт. Еще часа через два мы добрались до шоссейной Софийской дороги, где и увидали одного полкового врача, перевязывавшего нескольких раненых. Но тут было место небезопасное: над головами иногда посвистывали пули, а потому и приказано было устроить перевязочный пункт в деревне Чеканчево.

Когда мы прибыли в деревню, там у крайнего дома, на снегу, лежало уже несколько раненых и над ними работали врачи дивизионного лазарета; но у них был большой недостаток в медикаментах и перевязочных средствах. Живо развязаны были наши вьюки, достали из них перевязочные принадлежности, и наши доктора принялись за работу; а мне и казаку с фельдфебелем санитарной роты уполномоченный приказал приготовить для раненых помещения и пищу. Стоны, оханья и крики раненых, что называется, раздирали мне душу. Да и Петлин, обходя их со мною, сказал:

— Вот, Свешников, здесь, наверное, вы совсем не то ощущаете, что там, в лазарете. Вот здесь-то именно и нужна скорая помощь и хорошие работники.

Раненых беспрестанно приносили, и несмотря на то, что рабочих рук было много, многие оставались без перевязки, и потому работа затянулась далеко за полночь. А между тем мы уже знали, что Ташкисен взят и турки бежали, оставив в наших руках немало добычи.

При дивизионном лазарете находились котлы для пищи и громадный самовар. Чтобы накормить раненых, откомандировали нашего казака и несколько солдат санитарной роты достать рису и мяса. Через час они воз-

вратились и пригнали двух быков, а за ними шли болгары и плакали. Петлин приказал мне отдать братушкам по шести полуимпериалов за штуку; но они не хотели брать и этих денег, уверяя, что быки им самим стоят по десяти червонцев. Впрочем, тут торговаться было не время — таково было положение, а больных кормить нужно.

Поздно вечером раненые были накормлены (конечно, многие не ели), напоены чаем и размещены: кто по избам, а кто по сараям, и в каждом помещении оставлено по служителю. Ночью я еще раз обходил раненых. Одни из них метались, другие просили помощи, третьи пить, а иные и совсем уже богу душу отдали и лежали поперек своих живых товарищей. Сами мы отдыхали в эту ночь у костра и питались кексом и чаем.

Рано утром Петлин послал меня с товарищем обойти помещения раненых и проверить, сколько их всех и сколько из них умерло. Во время этого обхода нас встретил полковник, командир какого-то армейского полка, человек уже пожилой, с черной бородой с проседью, и, обратясь к нам, спросил:

— Господа, я вижу, вы к Красному Кресту принадлежите?

— Да, — отвечали мы.

— Так позвольте вас спросить, не имеете ли вы хоть куска хлеба или сухарей, то дайте, пожалуйста, я два дня почти ничего не ел; а вот сейчас нужно опять или на позицию, так и опять негде будет достать хлеба.

— При нас, полковник, ничего нет, — отвечали мы, — а вы идите на край деревни, там у костра увидите Красный Крест, и кого бы вы там ни встретили — докторов или студентов, все равно, без церемонии спросите, и вы непременно там напьетесь чаю и закусите.

Полковник поблагодарил нас, и на глазах его навернулись слезы.

В это утро у Чеканчева вырыта была большая могила, священник отслужил панихиду, и в могилу, без гробов, зарыли двадцать три человека, а раненых, около двухсот человек, перенесли в один большой чифлик (скотный двор).

За помощь, какую в этом деле оказал войскам наш отряд, генерал Гурко благодарил Петлина, а Янковскому

прислал богатый английский хирургический прибор, который был оставлен неприятелем.

Следующую ночь мы ночевали в болгарском доме. Тут мы написали письма и отправили их с одним вольноопределяющимся, провожавшим тело генерала Каталея.

Сделалось известным, что город София взят без боя, и вечером 23 декабря мы были уже в нем. Квартира нам была отведена в доме одного зажиточного торговца, где нас приняли очень радушно и угощали чем могли. Хотя генерал Гурко, вступив в Софию, строго наказывал, чтобы отнюдь не было мародерства, но дело обошлось не без греха: казаки и солдаты не откидывали того, что поценнее попадалось под руку. Так я у одного гвардейца приобрел добытые им четырнадцать роскошных узорчатых полотенец и продал их своим докторам. Да и болгары не зевали: на другой день по всем улицам видно было, как они тащили разный скарб из турецких домов.

В Софии мы пробыли около недели. Доктора, студенты и один мой товарищ ходили в турецкие госпитали, лечили и перевязывали больных и раненых турок. Плачевно было состояние этих госпиталей, и лежавшие в них были поистине несчастны. Больные и раненые турки валялись на полу без всякой подстилки и полуголодные, а убийственный запах от неперевязанных ран едва был выносим.

Здесь у нас оказались недостатки в медикаментах, белье и припасах, почему и послали одного из моих товарищей в Орханию, чтобы привезти все нужное из находящегося там нашего склада.

Бегство турок из Софии было так поспешно, что пустые повозки «Красной Луны» были ими покинуты. Гурко подарил нашему отряду эти повозки, и мы на них, 29 декабря, отправились далее.

Перед отъездом из складов, оставленных в Софии турками, я набрал в дорогу для больных разной провизии, как то: консервированного мяса, масла, рису и проч.

Из Софии мы поехали по Филиппопольской дороге, но затем свернули направо и на другой день позднею ночью добрались до деревни Чушурли, где находилось человек до ста больных и раненых.

Мы прибыли на этот раз очень кстати; хотя здесь и находились два врача армейского полка, но у них не было ни медикаментов, ни перевязочных средств; кроме того, больные уже вторые сутки находились почти без пищи. Весь день, 31 декабря, наши врачи и студенты ходили по домам, где находились больные, перевязывали их или оказывали другую помощь, а я раздавал привезенную нами провизию, водку, чай и белье. Я душевно был доволен этим днем и сознавал, что работал с пользою. Наверно, также и другие провели этот день с тем душевным удовольствием, какое человек испытывает тогда, когда он именно приносит пользу другим; а потому, поздно вечером, когда все больные были удовлетворены, мы уселись на земляном полу, кругом маленького столика, дружно встретить Новый год.

Чай, закуски и разведенный спирт у нас были, но нам хотелось достать вина. Мы послали двух казаков, дав им денег, чтобы они купили где-нибудь вина, но они объездили две деревни и нигде не нашли ни ока. Каждый из нас в этот вечер вспоминал родину и каждый рассказывал, как когда-то встречал этот день. Поздно ночью мы решись, предварительно приказав казацкому уряднику, чтобы на утро он достал соответственное число подвод для перевозки раненых в Софию.

Часов в девять утра подводы были уже готовы. Братушки, несмотря на то что им платилось по три франка в день за каждую подводу, ехали вообще неохотно: они боялись всегда, что русские, так же как и турки, не заплатят денег. Усадив больных и раненых и дав им на дорогу провизии, чаю и сахару, мы отправили их в Софию под присмотром студента Гласко, одного санитара и казака. По отправке раненых мы, взяв с собою проводника, с казаками поехали в Самоков.

Самоков накануне только был очищен от турок, и в нем тогда находился Владикавказский казачий полк. Жители Самокова — народ воинственный: все они ходили с оружием, заткнутым за широкими кушаками. Здесь мы приняты были тоже ласково, но все-таки того радушия, какое нам было оказываемо в Софии, мы не встретили: хозяин

дома, где мы остановились, был не прочь поживиться на наш счет. Но здесь нашим докторам и студентам оказан был хороший прием от митрополита и братии монастыря. Мне, за неимением времени, не удалось побывать в монастыре, но я познакомился с иеромонахом Василием Челоковым, почтенным старцем, когда-то воспитывавшимся в Троицко-Сергиевской духовной академии. Челоков был литератор-этнограф; он издал на болгарском языке большой «Сборник» песен, народных поверий и обрядов и «Описание села Пюнюгурищи». Кроме того, он был собирателем древних монет и показывал нам свою коллекцию, состоявшую более нежели из семи сот золотых и серебряных монет. Он подарил мне, с своею подписью, по экземпляру своих сочинений и несколько серебряных монет.

На другой день мы вместе с Владикавказским полком отправились далее. Не очень поздно мы приехали в большое турецкое селение Боние. Турки из этого селения почти все бежали. Оно наполовину было сожжено, и по улицам валялись трупы турок. Переночевав в Боние, мы поехали к Татар-Базарджику. По дороге, в какой-то пустой деревне, в погребе, казаки нашли бочку хорошего вина и недолго думая выбили из бочки дно и, кто чем мог, выпили всю бочку.

Вечером мы добрались до железнодорожной станции Бело. Здесь находится немецкая колония железнодорожных служащих. Колония эта довольно порядочная, и немцы живут хорошо; они приняли наше начальство с большою предупредительностью. Вечером все офицеры полка и наши доктора были приглашены к какому-то начальнику, или старшине, и угостились на славу.

На следующий день мы были в Татар-Базарджике. Здесь повсюду были видны еще свежие следы разрушения: сожженный мост через Марицу был кое-как настлан; турецкий квартал был пуст и полуразрушен; дюканы, или лавки, также были все пусты и разломаны; на улицах, в некоторых местах, валялись убитые турки, обломки телег и разный скарб. Здесь мы также нашли несколько полуголодных больных и раненых. Сделав все нужное для них, 6 января мы с владикавказцами отправились в Филиппополь.

Дорога от Татар-Базарджика до Филиппополя представляла поражающее зрелище. Человеческие трупы, падшие волы, кони и овцы, разбитые телеги, брошенные разные вещи валялись по всей дороге: все свидетельствовало о поспешном бегстве турок.

В Филиппополе мы встретили нашего уполномоченного, остававшегося после нас еще в Софии, и другой наш отряд, шедший через Балканы на Бабу-гору и Панючурищи. Тут в доме одного богатого грека нам отвели прекрасную квартиру. Так как на меня была возложена хозяйственная часть, то я на другой же день в сопровождении кучера-болгарина, тамошнего уроженца, пошел по городу за разными покупками. Красота города меня поражала, а рассказы моего проводника о разных достопримечательностях очень заинтересовали, и мне захотелось осмотреть его, особенно — мечети. И вот я, выбрав свободное время, пошел с болгарином по городу. Обойдя кой-какие места и осмотрев мечети, я зашел в одну, где увидал разрушенное книгохранилище. Как букинист, заинтересовавшись книгами, никогда мною не виданными, я начал с любопытством их рассматривать, и у меня, что называется, глаза разгорелись. Я набрал более двух десятков томов, которые мне казались изящнее и древнее. Я хотел съездить еще раз на повозке и забрать все остальные, но послушался доброго совета студента Конопасевича, который мне сказал, что служителю Красного Креста неприлично так делать. Ходя за покупками, я иногда заходил в книжные и другие лавки в Филиппополе и покупал болгарские книги, оружие и другие вещи местного производства, а также выменивал разные монеты, казавшиеся мне редкими.

В Филиппополе находились два госпиталя. Наш отряд большую часть времени проводил в этих госпиталях, я же ходил туда только раздавать вино и водку. Вместе с нашим отрядом там работали и сестры милосердия; особенною неутомимостью и попечением о больных отличалась княгиня Голицына: эта уже пожилая женщина, несмотря на свое высокое положение и на то, что в госпиталях возможно было заразиться, почти безотлучно находилась при больных с

двумя другими сестрами. Но все-таки между массою работы мы иногда имели случай и погулять; к нам заходил кое-кто из военных, и мы делали маленькие пирушки.

Один раз был у нас Черевин, которому доктор Гаусман делал перевязку. Генерал остался у нас пообедать, — а за обедом, конечно, было и не без вина, — и потому все были более, что называется, чем навеселе. После обеда зашел разговор о русской патриотической литературе, и доктор Гаусман, прочтя какое-то свое стихотворение, между прочим, указал почему-то и на меня как на поэта (вероятно, я когда-нибудь хвастался и читал ему свои стихи).

— И русский поэт? — спросил генерал.

— Да, конечно же, русский, — ответил за меня Гаусман.

— Ну так дай же я тебя поцелую, — и с этом словом генерал обнял меня и поцеловал.

Глава двенадцатая

Моя поездка в Россию с телом полковника Стрезова. — Шипка. — Подъем на гору. — Систово. — Журжево. — Возвращение в Петербург. — Вторичное отправление в Турцию. — Сан-Стефано. — Намерение обокрасть уполномоченного Красного Креста. — В Софии. — Солдатские сапоги. — В Адрианополе. — Назначение заведующим складом. — Разгульная жизнь в Адрианополе. — Болезнь. — Назначение агентом для устройства питательных пунктов. — Увольнение от службы в Красном Кресте. — Приезд в Петербург. — Отказ градоначальника в разрешении открыть книжную торговлю. — Пьянство. — Снова в Вяземском доме. — Старая любовь. — Трезвая жизнь. — Торговля книгами на ларе. — Пьянство и этап на родину

Накануне 1 февраля уполномоченный предложил мне сопровождать в Россию полковницу Терезу Эрнестовну фон Стрезову с телом ее мужа, полковника л.-гв. Преображенского полка, умершего от ран. Мне не очень хотелось

расставаться с товарищами и возвращаться одному на родину; но я считал и это службою и потому согласился.

Петлин дал полковнице две повозки из тех, которые нам достались в Софии. На одной из них поставили обложенный свинцом гроб с телом полковника, а в другой поместилась полковница со мною. Сопровождавшие полковницу два денщика попеременно сидели на козлах. В день отъезда уполномоченный выдал мне за наступающий месяц жалованье и порционные деньги. Отправляясь на родину, я не преминул взять с собою все купленные мною и даром доставшиеся книги и вещи.

Не успели мы отъехать и десяти верст от Филиппополя, как увидали ехавших навстречу нам двух всадников: один из них, с красным крестом на рукаве, был русский, а другой — болгарин. В первом из них полковница узнала спешившего к ней из России в Филиппополь своего брата, барона Николая Эрнестовича Таубе. Трогательная сцена, происшедшая при встрече брата с сестрою при таких грустных обстоятельствах, вызвала слезы и на моих глазах. Конечно, барон воротился с нами, и потому наш кортеж увеличился.

В Россию мы поехали на Систово и выбрали ближайшую дорогу через Шипку. От Филиппополя до Казанлыка дорога была довольно хорошая.

Первую ночь мы ночевали в какой-то деревне, где барон, за израсходованием своих сигар, попробовал местного табаку и нашел его превосходным; второй же наш ночлег был в совершенно разоренном небольшом городке — Калофере; а затем, до Казанлыка, мы проехали прекрасною и ровною местностью, так называемою Долиною Роз, и на четвертый день были у Шипки.

Довольно большая деревня, или, вернее сказать, село Шипка находится у самого подножия гор; но оно в то время было необитаемо и в нем, что называется, не было камня на камне. Невдалеке от него, с левой стороны дороги, находился турецкий редут, а близ него была выстроена караулка, в которой в то время помещался комендант Шипки, какой-то капитан. Около караулки навалены были два громадных костра турецких ружей, из которых

я взял себе парочку. Вот и все, что я увидал в то время под Шипкою.

Здесь нам нужно было остановиться, потому что подъем на гору для нашего поезда был невозможен. Мы сначала попробовали было запрячь своих лошадей в повозку, на которой находился гроб; но, поднявшись сажен пятьдесят, лошади по крутизне горы не могли тащить повозку, и мы принуждены были выпрячь их, а гроб оставить на горе. Приходилось оставить всякие надежды на этот способ перехода и искать помощи. Мы простояли здесь двое суток, и наконец денщик с казаками пригнали нам пять пар волов с болгарами. Болгары сначала было отнекивались, но, поощренные хорошею наградою полковницы, сделали все нужные приспособления — впрягли волов, и гроб тихо и плавно потянулся в гору: полковница и барон остались под Шипкой, и мы должны были ждать их на другой день.

Подъем наш начался в 11 часов утра, и только к 10 часам вечера мы успели добраться до вершины. Там, на горе Св. Николая, находилось множество землянок, в которых держались защитники Шипки, но на этот раз землянки были пусты, и только в одной из них находился сторожевой солдат. У этого солдата мы с денщиком полковника переночевали и стали ожидать полковницу с братом.

На другое утро, напившись чаю, я пошел посмотреть окрестность. Взобравшись на самый высокий пригорок, я увидал с южной стороны развалины Шипки, Казанлык и Долину Роз; а с восточной — глубочайший овраг, за которым на противоположной горе находились турецкие редуты. Вид восхитительный, но я не художник и не писатель, а потому и не могу описать его как следует.

Часов в одиннадцать утра к нам поднялись полковница с братом и другим денщиком. Не помню уже теперь, была ли поднята на гору другая повозка, или в Габрове уполномоченный Красного Креста, князь Накашидзе, дал нам свою; помню только, что мы до Габрова шли все пешком и прибыли туда поздно ночью. Я удивлялся выносливости полковницы и жалел ее. Когда мы от Габрова спустились в долину, то там была уже совершенная весна и на полях виднелись цветы.

За Габровом следующие остановки мы делали в Дранове и Тырнове; но за кратковременностью пребывания в них я не мог хорошо их разглядеть, — да что я видел, того не помню. Но для меня осталась памятной дорога от Тырнова к Систову, идущая чуть не на десяток верст ущельем, между гор, на которых с обеих сторон едва заметно выделялись православные монастыри.

Числа около 15 февраля мы прибыли в Систово. Полковница числилась также сестрою милосердия и в Систове занимала небольшой дом, в котором, когда мы туда прибыли, находилось человек пять или шесть больных офицеров. Прибыв в Систово, полковница не знала, на что решиться, — где схоронить мужа, в Петербурге или в Вене, где у нее тоже были похоронены родственники. В это время в Систове находился возвращавшийся из Орхании в Россию весь персонал нашего этапного лазарета. Тереза Эрнестовна предложила мне возвратиться в Россию с моими товарищами, на что я охотно и согласился. Она написала Петлину очень лестное для меня письмо, в котором с большою похвалою отзывалась о моих услугах и расторопности, выказанных во время сопровождения ее в пути. Распростясь с полковницею и бароном, я в тот же день перебрался на квартиру, где находились мои товарищи, и утром мы были уже на пароходе.

Доехав на пароходе до Журжева, мы пересели в вагоны Журжево-Бухарестской железной дороги и через неделю прежним путем возвратились в Петербург.

Дня через два по нашем прибытии вернулся в Петербург и Петлин. Я передал ему письмо Стрезовой, и он мне сказал, что ему лестно получать такие отзывы о рекомендованных лицах, и обещался быть еще мне полезным. Петлин сдержал свое слово и отрекомендовал меня отправлявшемуся в то время в Турцию главноуполномоченному Красного Креста, тайному советнику С. Ф. Панютину. Кроме того, он всем нам выхлопотал награду в размере месячного жалованья.

Степан Федорович Панютин, к которому я явился по рекомендации Петлина, послал меня в склад Красного Креста, находившийся в здании 8-го флотского экипажа, у церкви

Благовещения, к баронессе Раден, от которой я должен был узнать, когда будет готов транспорт вещей и медикаментов, предназначавшийся к отправке в Сан-Стефано. Транспорт этот должен был принять уполномоченный Красного Креста А. К. Фойгт, а моя обязанность была сопровождать его. При вторичном отъезде в Турцию мне выдали заграничный паспорт, семьдесят пять рублей подъемных и бесплатный билет по железным дорогам до Одессы.

Я во второй раз простился с Петербургом и простился без сожаления, потому что та, от которой я надеялся получить взаимность, хотя и относилась ко мне по-прежнему дружественно, но была, как говорится, занята...

Транспорт был отправлен в двух вагонах с товарным поездом большой скорости; а я ехал в пассажирском поезде и ожидал его в каждом городе, где кончалась ветвь дороги. Так мне приходилось по два и по три дня проживать в Москве, в Курске и в Киеве; затем я останавливался в Жмеринке и в Раздельной и не ранее как недели через две прибыл в Одессу. Останавливаясь в больших городах, я проводил время не в том, чтобы посмотреть, что в них есть замечательного, а проводил его безобразно — по трактирам и притонам разврата. Во время проезда я из упомянутых городов посылал уполномоченному телеграммы о благополучном следовании транспорта, а в Раздельной мы с ним свиделись. Получив от него нужные приказания, я в последний раз остался ожидать транспорт и через день был в Одессе.

В Одессе мне пришлось в ожидании уполномоченного и парохода прожить целую неделю, и этот город, с своими широкими улицами, с приморским бульваром и хотя дорогами, но большими и чистыми гостиницами, мне очень понравился. Здесь я встретил нескольких прежних своих товарищей из отряда Петлина, остававшихся в Турции по болезни, и с ними настолько запутался, что прожил все, какие были у меня, деньги.

Погрузив транспорт на пароход Российского общества пароходства и торговли, мы с уполномоченным отправились в Константинополь. Был сильный ветер: громадный пароход качало из стороны в сторону и всю палубу за-

хлестывало водою. Я не мог ни лежать на своей подвесной койке, ни сидеть, а сильная морская болезнь не дозволяла ни пить, ни есть. Только когда мы прибыли в Босфор, я мог выйти на палубу и полюбоваться на его роскошные берега, по обеим сторонам которых виднелись живописные восточные постройки.

В Константинополе я прожил два дня, но не видал там ничего, кроме пристани и прилегающей к ней местности, потому что транспорт наш пришлось погрузить в открытые вагоны, и я опасался, чтобы из него что-нибудь не пропало, а в нем были вещи довольно ценные. От Константинополя до Сан-Стефано — одна станция, и железная дорога идет, до половины пути, предместьем столицы.

Прибыв в Сан-Стефано и сдав транспорт в склад Красного Креста, я уже думал, что мне придется возвратиться в Россию; но Фойгт, назначенный уполномоченным в Софию и знавший, что я там был и немного знаком с болгарским языком, пригласил меня с ним в качестве артельщика, на том же жалованье и содержании, какое я получал в летучем отряде, на что я, конечно, согласился.

Сан-Стефано, очень небольшое местечко, находится на самом берегу Мраморного моря. Оно населено по большей части греками, и в нем есть православная церковь. Исключая нескольких красивых домов в восточном стиле, я там не видел ничего замечательного; но мне очень памятно бывшее тогда в нем землетрясение. Это было вечером. Мы все сидели в отведенной нам квартире. Я писал письмо в Петербург, намереваясь отправить его с возвращавшимся в Россию курьером, который тоже привозил транспорт вещей для находящегося в Сан-Стефано склада Красного Креста. Вдруг раздался глухой подземный удар; дом немного зашатался, и мы хотя и не испугались, но поняли, в чем дело. Прошло еще минуты три, и удар снова повторился гораздо сильнее; на этот раз мы все выскочили на улицу. Колебание продолжалось с полминуты и было настолько сильно, что пол под ногами качался, как легкий плот на воде во время сильного ветра. Минут пять или десять мы простояли на улице и затем, войдя в квартиру, увидали стоявший на столе подсвечник

опрокинувшимся, а лежавшие тут же бумаги горевшими. Ближе к морю колебания земли были еще сильнее: так, в гостинице, стоявшей на берегу, колебание было настолько сильно, что опрокинуло мебель и разбило много посуды и стекол.

В Сан-Стефано мы пробыли дня четыре и затем отправились к месту назначения. Эта дорога для меня была еще нова, и я с любопытством присматривался к живописным, хотя по большей части и пустынным местностям.

В Адрианополе я чуть не совершил такого тяжкого преступления, которое погубило бы меня безвозвратно, и при воспоминании об этом мне и сейчас делается жутко. Дело в том, что уполномоченный сначала хотел сделать меня своим личным слугою, т. е. хотел, чтобы я чистил ему сапоги и платье и убирал все за ним. Я наотрез отказался от подобных работ, сказав ему, что ездил раньше и теперь еду служить только делу, больным и раненым, но ни в каком случае не буду личным слугою ни ему, ни кому-либо другому. Уполномоченный пригрозил отправить меня в Россию, но я и тут не захотел уступить и, отуманенный вином, вознамерился его обокрасть. Я знал, что в его саквояже находилась тысяча полуимпериалов, выданных ему главноуполномоченным на расходы; вот этот-то саквояж я и хотел подрезать. Я уже достал хороший нож, примерился, как сделать разрез, и рассчитал скрыться с деньгами в Филиппополе у знакомых болгар... Но я почувствовал, что очень пьян; захотел немного отдохнуть и повалился тут же около денег... Поздно ночью я был разбужен уполномоченным; утром наши отношения несколько смягчились; он уже не требовал услуг, и мы поехали далее в дорогу.

В Филиппополь, или, как называют его болгары, Пловдив, мы прибыли накануне Пасхи, и уполномоченный для такого праздника не захотел ехать, а решил встретить его здесь. Ему была отведена хорошая квартира, а я нанял себе грязный нумер в гостинице. Я пьянствовал и великую заутреню просидел в своем нумере; но я слышал, как болгаре и греки радовались в этот великий день и эту радость они выражали более всего пальбою из ружей. На следующий день мы отправились в Татар-Базарджик.

Приехав сюда довольно поздно, мы оставили на станции железной дороги наши вещи и два мешка серебряных рублей под присмотром находившегося тут солдата, а сами в сопровождении другого солдата пошли к коменданту города, который должен был дать нам квартиру. Часа два мы месили грязь по Татар-Базарджику, но наконец добрались до цели. В Татар-Базарджике железная дорога кончается, и нам для проезда в Софию нужно было приискать лошадей; я встретил знакомого болгарина, служившего прежде в нашем отряде кучером, который скоро нам и устроил все дело.

Дорога от Татар-Базарджика к Софии делится на три части. Сначала идет довольно ровная и низкая долина с обработанными полями, засеянная по большей части пшеницею и рисом, за нею тянется крутой и длинный переход через так называемые Малые Балканы; а за ним уже до Софии опять идет ровная местность. Хотя болгаре и считают это расстояние в двенадцать часов переезда, но мы ехали почти целых два дня.

В Софии был только один военный госпиталь, но в нем лежало около полугоры тысячи больных. Здесь, кроме военного персонала — врачей и фельдшера, находилось еще шестнадцать сестер милосердия. Обязанности уполномоченного состояли в том, что он должен доставлять больным то, что они не могли иметь от казны. Так, мы доставляли в госпитали, или, вернее, старшей сестре милосердия, чай, сахар, вино, водку, кур, белье, принадлежности для перевязок и проч., а также, по просьбе докторов, доставляли и некоторые медикаменты, как то: хинин и т. п. По приезде в Софию у нас ничего этого не было, и я должен был все закупить у местных торговцев; но в скором времени Фойгт получил телеграмму от главноуполномоченного, в которой приказано было прислать кого-нибудь за некоторыми продуктами, медикаментами и бельем в Филиппополь к уполномоченному г. Балашеву. Я уже говорил раньше, что командировки доставляли мне удовольствие; на этот раз я охотно взял возложенное на меня поручение и на двух госпитальных подводах привез целый склад.

У меня развалились сапоги; новых русских сапог купить было негде, а местная обувь была дорога и непрочна. Но у комиссара госпиталя находилось много сапог, присланных из России для солдат, из которых он мне и обещал дать пару. Придя в склад, я увидел несколько сот пар сапог, но из всей этой массы на мою маленькую ногу не лезла ни одна пара.

— Ведь это, — говорю я, — все детские сапоги.

— Да, — отвечал комиссар, — все такие маленькие; оттого они здесь и пропадают без пользы. За них этим подлецам подрядчикам только даром деньги отдали.

Вообще работы у нас в Софии было очень немного; уполномоченный проводил время с офицерами, докторами и сестрами, а я, сделав нужные покупки и отправив их старшей сестре, иногда вел беседу с иеромонахом Челоковым, который в то время находился в Софии, или засиживался с болгарами в каких-нибудь дюканах (лавках) и грязных гостиницах.

Через шесть или семь недель по прибытии в Софию г. Фойгту было предложено занять, вместо отъезжавшего в Россию графа Комаровского, должность уполномоченного в Адрианополе. Этот район деятельности уполномоченного был несравненно шире. В Адрианополе и двух его предместьях, Карагаче и Дерлидеме, находились три военных госпиталя, в которых сначала насчитывалось до шести тысяч больных. Кроме того, близ станции железной дороги был выстроен эвакуационный барак, в котором также очень часто приходилось принимать эвакуируемых больных, находившихся исключительно на попечении Красного Креста.

По приезде в Адрианополь я первое время находился без дела, так как служащих было много и все должности были заняты. Помощником уполномоченного состоял довольно образованный (кажется, воспитывавшийся в России) болгарин Афанасий Узунов (это, по всей вероятности, тот Узунов, который лет пять назад был казнен за приверженность к России). В складах, находившихся при каждом госпитале, артельщиками были те же болгары. При бараке состоял доктор, студент и фельдшер, а про-

довольствием больных заведовала сестра московского отдела Красного Креста Иванова. В причисленных к этому же району госпиталях в Ямболи складом заведовал почтенный старичок священник, а в Деагачи и Мустафапаше сестра милосердия.

Видя, что мне тут нечего делать, я попросился у уполномоченного съездить в Чаталджи в гости к находившемуся уже там младшему Канаеву. Уполномоченный был настолько любезен, что охотно согласился на мою просьбу и исхлопотал мне даровой проезд туда и обратно. Прием, сделанный мне Канаевым, был самый радушный: в сообществе его и других докторов я пировал в ресторанах, лазил по горам и осматривал окрестности.

Одним словом, я провел время в Чаталджи, плохом городишке, с истинным наслаждением.

По возвращении моем в Адрианополь г. Фойгт предложил мне в скором времени занять место увольнявшегося Узунова. Конечно, я с удовольствием принял это предложение потому, что эта должность была и почетна и выгодна. Хотя мне и не было положено жалованье Узунова (Узунов получал в месяц сто рублей золотом, а мне уполномоченный назначил шестьдесят), но я в этой должности являлся уже, в некоторой степени, начальствующим лицом и, кроме того, заведуя всеми складами и всею хозяйственною частью по Адрианопольскому району, мог иметь и материальные выгоды. На меня была возложена покупка и доставка в склады всего нужного: я ежедневно закупал вино, водку, рис, табак, провизию для эвакуируемых и все, что только требовалось для больных и по хозяйству. Кроме того, я был обязан выдавать жалованье артельщикам, кучерам и другим служащим, которые находились под моим ведением. Денег было много: на наш район уполномоченному отпускалось полторы тысячи полуимпериалов в месяц, и наверное две трети из этой суммы проходило через мои руки.

Так как уполномоченный, безусловно доверяя моей честности, не входил ни в какие мои распоряжения, то я нередко давал ему отчеты не без греха. Хотя и вменялось мне в обязанность доставлять счеты от купцов, у которых

я забирал товар, но я очень часто, ссылаясь на потерю счета, брал у них дубликаты и, подавая уполномоченному отчет, представлял и эти дубликаты как действительные. Я бы мог в то время составить себе капитал, так как, получая жалованье, порционные и имея еще побочные приобретения, пользовался, кроме всего этого, из складов чаем, винами и всем, что могло быть мне нужно. Но я не берег денег и проживал все, что получал, в различных ресторанах и других увеселительных заведениях, которых в Адрианополе было множество.

Впрочем, не я один так грешил и тратил деньги без расчета: мне приходилось видеть офицеров, особенно заведующих разными хозяйственными частями, и интендантов, которые сорили золото без счета и притом еще хвастали, что отсылают тысячи на родину.

Адрианополь в то время процветал, и едва ли когда-нибудь для него будет лучшая пора. Многие торговцы, начавшие тогда свою торговлю с пятью-шестью золотыми, через несколько месяцев уже считались капиталистами. Но более всех нажились евреи, наехавшие в Адрианополь из Одессы и Польши и содержавшие гостиницы и рестораны с прекрасными феями разных наций. В этих гостиницах совершались необычайные оргии и иногда производилась картежная игра в штос. Вообще изобилие русского золота в Адрианополе меня поражало: я видел у некоторых торговцев, на конторках, такие груды полуимпериалов, какие можно было видеть только в Петербурге в меняльных лавках в начале пятидесятых годов. Но при всем том меня поражало и нищенство: старые и молодые женщины и полунагие и босые ребятишки почти на каждом шагу осаждали прохожих, протягивая руку и приговаривая: «Дай пори».

В некоторое оправдание свое должен заметить, что, пользуясь сам деньгами Красного Креста, я был также не скуп на них и для других: так, прикомандированным в эвакуационный барак тридцати солдатам я исходатайствовал у уполномоченного порционные, каждый день по франку на человека и за всякие работы расплачивался со всеми щедро.

В июне месяце я схватил лихорадку, но на первый раз она у меня скоро прошла. Не обращая внимания на то, что еще не совсем окреп, я продолжал свою прежнюю разгульную жизнь и в один вечер, подгуляв порядком, поехал в сообществе прекрасного пола в Карагач, где было увеселительное заведение «Конкордия». На дороге, намереваясь что-то указать арабаджи (извозчику), я вывалился из фаэтона, разбил себе о камень голову и бывшею в руках тростью с топориком разрезал руку. Я слег в постель, лихорадка вернулась, и я недели две был в очень трудном положении. Но и во время болезни я, хотя не мог сам ездить за покупками в город, делал все распоряжения и сам вел отчетность по хозяйству. От постигшей меня болезни я долго не мог оправиться; изнурительная, перемежающаяся лихорадка, хотя и не в сильной степени, не оставляла меня почти два года и по возвращении в Петербург.

В августе месяце многих больных из Адрианополя эвакуировали в Россию. В госпиталях было меньше работы и меньше требований от нас. Лошадей и другие ненужные вещи я пораспродал; но склады наши были еще полны. В них находились не только предметы необходимости, но и много предметов роскоши, например: были надпостельные роскошные ковры, превосходные тельные рубашки, вязаные теплые пиджаки, пуховые чулки, туфли и множество других вещей, предназначавшихся для офицеров, но не прибывших вовремя. Видя их ненадобность, я испросил у уполномоченного разрешение взять некоторые вещи себе, а другие раздать кой-кому из наших служащих. Уполномоченный охотно разрешил мне распорядиться ими как я хочу.

В сентябре из Сан-Стефано в Адрианополь переехал Панютин со всем находившимся при нем персоналом и складом. А. К. Фойгт уехал в Россию, и место его занял уполномоченный Донауров; а меня назначили агентом для устройства и заведования питательными пунктами для эвакуируемых в Россию больных между Ямболью и Бургасом.

Из канцелярии главноуполномоченного выдали мне несколько десятков полуимпериалов, а из главного склада

отпустили два тюка белья, вино, водку, чай и сахар. В мое распоряжение дали двух госпитальных солдат, и, кроме того, я был снабжен от коменданта Адрианополя полковника Зандрока открытым листом, в котором предлагалось как военному, так и госпитальному начальству во всех местах оказывать мне нужное содействие.

Расстояние между Ямболью и Бургасом — приблизительно около ста верст. На этом расстоянии в трех селениях — в Селмени, Карнобаде и Айдасе — я устроил питательные пункты. В первом и последнем из этих пунктов я оставил по два человека и выдал им приблизительно нужное количество вина, водки, чаю, сахару, белья и перевязочных принадлежностей; а в Карнобаде с двумя оставшимися солдатиками поселился сам. Здесь я пробыл немного более месяца, почти все время хворая лихорадкою, а эвакуируемых пришлось накормить только три транспорта. После Адрианополя мне показалось здесь очень скучно, и я захотел вернуться в Россию.

Отправившись в Адрианополь по делам службы, я стал проситься у главноуполномоченного в Россию. Сначала г. Панютин не отпускал меня, говоря, что я должен еще послужить, потому что представлен им к награде серебряною медалью и потому что некого послать на мою должность; но, видя, что я действительно слаб, и посоветовавшись со своим помощником г. Янкулио, разрешил мне уволиться от службы и ехать домой.

Дня через три назначена была отправка сестер милосердия из Мустафа-паши. Мне поручено было съездить за ними. Многие сестры не хотели ехать домой и, прощаясь с нажитыми там знакомыми, плакали; но мне не приказано было никого оставлять, и я привез всех в Адрианополь.

2 ноября, по распоряжению главноуполномоченного, я получил за месяц вперед жалованье, порционные и около пятидесяти рублей на проезд от Одессы до Петербурга.

Возвращались мы в Россию через Бургас. От Адрианополя до Ямболи идет железная дорога, а от Ямболи до Бургаса, знакомою мне уже местностью, мы ехали на госпитальных подводах. В Бургасе мы не застали казенных

пароходов, на которых могли иметь бесплатный проезд. Приходилось искать квартиру; но вследствие большого стечения народа помещений почти совсем не было, сестрам нашли маленькую комнатку, а я поместился у фельдфебеля санитарной роты.

Я не стал дожидаться бесплатного проезда и через два дня уехал из Бургаса на вольном пароходе, заплатив за проезд 15 рублей золотом. Переночевав в Одессе, я на другой же день отправился в Петербург и отчасти вернул свои дорожные расходы, выиграв в стуколку у проезжавших с харьковской ярмарки торговцев 50 рублей.

В Петербург я привез около 500 рублей кредитными и золотом и, кроме того, множество белья и разных вещей. Здесь в первое время все мои знакомые и родные приняли меня с почетом и уважением. Они полагали, что я вел трезвую и честную жизнь и отрешился окончательно от прежних пороков и пьянства. Я нанял себе довольно приличную комнату и хотел открыть книжную торговлю. Сняв на Васильевском острове, в Андреевском рынке, небольшую лавочку, я подал градоначальнику прошение о разрешении мне книжной торговли, но тут, несмотря на представленные мною свидетельства от бывших моих начальников о моем хорошем поведении и честности, я получил отказ.

От этой неприятности я опять стал пьянствовать и скоро растратил все свои деньги, а затем принялся за распродажу имущества. Прежде всего я продал Академии наук привезенные мною болгарские книги и арабские рукописи, затем уже и разные вещи — дорогие и редкие здесь — пошли за бесценок на рынок. Вследствие пьянства ко мне опять возвратилась лихорадка, и я принужден был лечь в больницу.

Выйдя из больницы, я опять не удержался и пропил все до нитки. Несколько времени я был без квартиры; ночевал по ночлежным приютам и наконец попал в Вяземский дом. Отсюда, по рекомендации среднего Канаева, я поступил писарем в общественную лавку на Семянниковском заводе; но, верно, уж в которой лагунке деготь побывает, так его и огнем не скоро выжжешь. Через месяц я ушел с места и погряз опять в Вяземском.

На этот раз я застал Вяземский дом гораздо населеннее: во дворе его хотя уже и не было прежних пяти кабаков, но зато в каждой квартире торговали водкой. Находился я в этой трущобе более года, доставая себе средства на хлеб и пьянство разными подачками от добрых людей. Наконец я остепенился и опять принялся за книжную торговлю.

На этот раз я начал свою торговлю на развалке в Александровском рынке, и начал ее с копеек. Мало-помалу дело у меня стало развиваться; я начал опять сообщаться кое с кем из мелких торговцев, а подоспевший большой аукцион книжного магазина Черкесова сблизил меня и с остальными букинистами. Надо заметить, что все букинисты и рыночные торговцы покупали черкесовский товар сообща и потому покупали его за бесценок, а после уже, посредством вязки, партии книг переходили в одни чьи-нибудь руки. Всех участвовавших в вязке хозяев находилось около тридцати человек, да «племянников» человек десять. Хозяева от этого аукциона получали вязку неравномерно: самая маленькая вязка доходила рублей до восьмидесяти, большая — до двухсот; а племянники, то есть те безденежные, которые не принимали участия ни в покупке, ни в вязке, а только так присутствовали, получали по три и по пяти рублей, вследствие чего товар поступал к его хозяину иногда в два и три раза дороже того, за что он был куплен на аукционе.

В это время я получил от Н-вой письмо, в котором она просила навестить ее. Я отправился по адресу; старая любовь снова возгорелась во мне, и на этот раз мы скоро с нею сошлись: наняли на Песках небольшую квартирку, и я опять зажил трезвою жизнью.

Книжная торговля с годами уже изменилась. Не стало тех букинистов, которые ходили прежде по домам с перекидными мешками или торговали на столиках и оградах в разных местах города. Некоторые из них умерли, другие сняли в рынке и в улицах лавки, а остальные торговали на городских местах с ларей. За дальностью квартиры и за неудобством в зимнее время торговать на развалке, я начал публиковать в газетах объявления о покупке книг

и бумаги и, покупая по этим объявлениям в домах товар, сбывал его или знакомым библиоманам, или в книжные лавки.

Торгуя таким образом, я развивал круг моего знакомства между торговцами, приобрел новых покупателей и к весне сколотил себе небольшие деньжонки и не один воз товара. Но тут опять меня одолела слабость: я опять начал пьянствовать, а вместе с тем пошли домашние раздоры; я переселился с квартиры и очутился опять одинок.

Лето 1881 года я прожил в Лештуковом переулке, нанимая маленький уголок, торгуя и пьянствуя. Пьянство и разгул настолько в меня вселились, что при недостатках, для удовлетворения своей пагубной страсти, прибегал к обманам: я брал у знакомых книгопродавцев якобы на покупку книг деньги и пропивал их.

К осени я опять остепенился, возобновил дружбу с Н-вой, восстановил свою репутацию и за зиму приобрел новых лучших покупателей. Особенно в это время много содействовал моей торговле тайный советник Н. П. Смирнов. Составляя себе юридическую библиотеку, он почти еженедельно покупал у меня большое количество книг и рекомендовал много своих знакомых, хороших покупателей. Но более всех других поддерживал меня граф Д. А. Толстой, тогда еще не бывший министром внутренних дел.

Он покупал все сочинения, относящиеся к екатерининскому времени, и платил за них очень щедро, а вместе с тем и утонченная вежливость и словоохотливость, с которыми граф обращался, крайне мне льстили.

Весною 1882 года у меня накопилась целая комната товару, и я опять задумал открыть свою торговлю. Сначала за мои прежние подсудимости мне опять было отказано в разрешении; но, по совету моего благодетеля Н. П. Смирнова, я возобновил ходатайство и, получив при его содействии нужное разрешение, открыл у Пешеходного банковского моста, в ларе, книжную торговлю.

Приобретя этот ларь и свидетельство на право книжной торговли, я уже думал, что приобрел себе вечный кусок хлеба. До меня тут торговал человек, имевший большое семейство, и не только кормился с ним, подчас

предаваясь тоже спиртным напиткам, но еще увеличивал свое состояние. Я же, открыв торговлю с небольшим количеством товара и без денег, с первого же времени повел расход не по доходам, тратился на три квартиры и манкировал торговлею, просиживая большую часть времени в портерной; вследствие чего на следующую же весну принужден был лишиться своего ларя.

Я опять стал заниматься покупкою книг по объявлениям и мог бы жить не нуждаясь, но слабость моя все усиливалась; я как будто перестал иметь над собою волю и при первой же неудаче запивал. Пропившись окончательно, я опять начинал прибегать к обманам; но на этот раз торговцы мне уже не поддавались, и я приходил к кому-нибудь из знакомых мне господ, моих покупателей, предлагал им нужные или подходящие книги, брал вперед деньги на покупку и более не являлся. Так в течение одной зимы я обманул более десяти лиц, которые были лучшими моими покупателями.

Наконец я опять очутился в Вяземском доме и хотя иногда принимался за книжную торговлю и даже два раза выходил из этой трущобы, но все-таки не мог совладать со своей слабостью и снова погрязал в этом доме пьянства и разврата.

Просрочив паспорт и не имея денег переменить его, я начал шляться по ночлежным приютам, где был арестован и отправлен на родину этапом.

Глава тринадцатая

Приход на родину. — Бедственное положение. — Ночлежный приют. — «Батум». — Светлый праздник в приюте. — Письмо от Канаева. — Мое переселение в кухню при доме мачехи. — Существование подачками. — Отсылка рукописи. — Нищенство. — Переселение в «Батум». — Его обстановка

Тяжело было у меня на сердце потому, что дома у меня никого и ничего не было. Некуда было, что называется, головы преклонить. Я знал, что мне придется ходить по миру.

Что пришлось мне вынести дорогой, я не буду описывать, потому что это уже описано и напечатано в «Русской мысли», — я впоследствии упомяну, где и как я писал о своем аресте и перенесенных в дороге испытаниях и при каких условиях удалось мне это пристроить в печать.

Свобода, после месячного ареста, после трудностей этапной дороги, меня нисколько не радовала. В голове вертелись только вопросы: что делать? чем жить?

Хотя у меня в городе и был родительский дом, но он по духовному завещанию принадлежал мачехе.

Несмотря на то что я с мачехою до сих пор нахожусь в очень мирных отношениях, — в то время я все-таки не хотел явиться к ней в моем изорванном костюме и в лаптях, данных мне нашим мещанским старостой. Я не ее стыдился, а жильцов, которые у ней квартировали, и чтобы не срамить родное пепелище, я решился лучше идти в «Батум» — так называют у нас ночлежный приют.

Когда я освободился из нашей мещанской управы, у меня от порционных денег оставалось 15 копеек. Я сознавал, что все мои несчастия происходят от водки, но мне было так грустно-тяжело, что я с каким-то отчаянием, не рассчитывая, что сегодня и завтра мне не на что будет купить кусок хлеба, пропил свой последний пятиалтынный, как будто надеялся в этом найти забвение или, по крайней мере, некоторую бодрость. Но, несмотря на то что я более двух месяцев не пил вина, оно не произвело на меня никакого действия. Я остался в том же тяжелом унынии, в каком и был. Побродив недолго по берегу Волги, я пошел в «Батум». Я пришел туда еще очень рано. Там находился только один старик. Мы разговорились с ним, и оказалось, что он знал все наше семейство и я также знал и много слышал о нем еще в детстве.

Старик этот был когда-то хороший торговец-краснорядец, торговал суровскими, или, как у нас называют, красными товарами. В молодости своей он был тоже известен всему городу своим дебоширством и безобразничаньем. Женившись, он нисколько не исправился и продолжал такую же жизнь. Долго билась с ним жена, но наконец она умерла. Детей его (у него были две дочери) взял на

воспитание его брат; а он начал скитаться. За его буйный характер никто его не хотел держать на квартире, даже родная мать и та не пускала, и потому он принужден был поселиться в «Батуме». Он теперь собирал милостыню и пропивал все, что доставал. Но это тип довольно обыкновенный: таких людей, для которых не существует ни стыда, ни раскаяния, встретить можно не только десятками, но даже сотнями и в столицах, и в провинции.

Первый и второй день я просидел буквально голодный. На третий день, в Страстную пятницу, некоторые из «батумцев» приглашали меня идти с ними обирать милостыню, говоря, что на праздник будет хороший сбор; но я отказался и предпочел лучше помочь сторожихе вымыть полы и нары нашего приюта, за что меня и покормили; кроме того, сторожиха сослужила мне еще службу: она снесла от меня записку мачехе.

«Батум», т. е. ночлежный дом в нашем городе, устроен не очень давно, именно с тех пор, как началась усиленная высылка из столиц людей неблагонадежных и порочных. Он помещается в полуразвалившемся каменном здании, в котором в старое время находился кожевенный завод. Теперь этот завод и вся местность, принадлежавшая ему, за неявкою наследников и за неплатеж поземельных сборов сделались достоянием города.

«Батум» считается у нас домом отверженных. Его занимают только высланные из столиц, находящиеся под надзором полиции и те, которые по своему поведению не принимаются уже ни в семью, ни куда-либо на квартиру, и только изредка случается, что в этот приют заходят какие-нибудь путники.

Зимою в нем проживает человек по тридцати и более, но летом число его обитателей сокращается, потому что одни уходят на работу в Рыбинск, а другие расходятся по деревням пасти скотину; есть и такие, которые предпочитают ночевать около кирпичных горнов и в других, более привольных и менее доступных надзору полиции местах. Но о «Батуме» и его обитателях я еще буду упоминать, а теперь хочу кое-что сказать о своем положении.

На праздник Пасхи в нашем городе некоторые лица из купечества имеют обыкновение рассылать подаяния в острог, в больницу, в богадельню и т. д. места. Нас, «батумцев», тоже не забыли: к нам были присланы подаяния из городской управы и по два яйца на каждого ночлежника; от купца Сурина — полфунта чаю и несколько фунтов сахару; от староверки-фабрикантши Вижиловой — гречневая крупа, капуста, хлеб и ситный, а от купца Дудкина — солонина. В большом котле, устроенном в сторожке приюта, сварены были на первый день щи, а на второй — каша; прочее же самими ночлежниками, в присутствии сторожа, разделено было на пайки и роздано по рукам. Мои товарищи не имели большой крайности в этих подаяниях — они на праздник почти все ходили собирать милостыню, которая на самом деле была довольно обильна, а потому у них были и деньги, и вино, и все съедобное; но все-таки никто не отказывался от своей доли, и каждый старался при дележе захватить пасхи побольше. Для меня же эти подаяния были чрезвычайно дороги потому, что не будь их, то мне в этот великий праздник пришлось бы буквально голодать.

На третий день праздника меня посетила мачеха. Она принесла мне кое-что поесть и немного чаю и сахару и приглашала к себе; но я опять-таки отказался, считая совершенно неприличным показываться в своем костюме в городе.

Впрочем, дня через четыре я принужден был сходить в свой дом, так как ожидал письмо от Канаева, которого просил писать на имя мачехи. Письмо действительно было получено. В нем Канаев извещал меня, что посылает мне с попутчиком посылку, которую доставили мне через день. Она состояла из довольно приличного костюма, двух пар белья и около сотни мелких книг и брошюр. Канаев советовал мне заняться на родине торговлею книгами, а в свободное время дописывать начатые мною еще в Петербурге воспоминания.

Имея мало-мальски приличный костюм и рубля на три товару, я не захотел более оставаться в «Батуме» и принял предложение мачехи, которая тогда уезжала

в город Иваново-Вознесенск, поселиться на все лето в находящейся у нас в доме отдельной кухне.

Кухня была совершенно развалившаяся. Большие щели светили сквозь прогнившие стены на двор, пол дырявый, окно с выбитыми стеклами, а сквозь крышу и потолок во время дождя вода лилась ручьем.

Но тогда только что начиналось лето, а потому я и надеялся, что мне тут будет все-таки лучше, чем в «Батуме». Главное же, что меня прельщало, — это то, что тут я оставался в уединении и мог кое-что писать.

Присланные мне Канаевым книги были вполне подходящие и полезные для торговли в провинции. Их легко можно было распродавать в торговые дни на базаре и по трактирам, которых в нашем городе, за отсутствием других питейных заведений, более тридцати; но я никак не мог себя к этому принудить. Мне было совестно в своем городе заниматься таким мелким делом, а потому через несколько дней я часть из них распродал разносчикам, а остальные отдал за бесценок в лавку.

Времени свободного у меня оказывалось очень много, и я задумал описать свои мытарства со дня моего ареста до освобождения.

Денег, вырученных за книги, при самом экономном расчете моем могло хватить мне не более как на две недели. Но я все-таки сначала не унывал. Я надеялся на Канаева, которому описал свое положение и сообщил о своем намерении. Между тем время проходило, а ответа не было, и я ради пропитания принужден был, штука по штуке, продавать присланные мне вещи.

Не видя в перспективе ничего, кроме нищеты и совершенной безвыходности, я начал падать духом и опять выпивать.

Впрочем, это продолжалось недолго, и через неделю я дошел уже до того, что мне нечего было продавать, и я остался буквально без куска хлеба. К голодовке присоединилась еще беда: надежды мои на теплое лето совсем не осуществились. Лето, как нарочно, стояло такое, какого никто не запомнил: почти постоянные дожди и холодные ветры, со свистом и воем врывавшиеся в мою конуру и пронизывавшие меня, что называется, насквозь.

Мне приходилось очень трудно. Не имея впереди никакой надежды, я решился не выходить никуда из своего логовища, хотя бы мне пришлось умереть в нем голодною смертью. Я пролежал двое суток, не имея ничего во рту, кроме воды. На третьи сутки, когда я пошел к колодцу напиться, меня увидела жившая у нас во дворе подрядчица.

— Что с тобой? — спросила она. — Ты никак совсем больной? Не хочешь ли чайку?

Тут я не вытерпел и признался, что двое суток ничего не ел, и попросил у нее кусок хлеба. Через пять минут она подала мне в окно большую краюху хлеба и чайник с чаем.

И вот с тех пор начались мне, как собаке в конуру, почти ежедневные подачки. Так продолжалось недели три. Я в это время опять принялся за свое сочинение. Но, вероятно, пословица говорит справедливо, что не устанет рука принимаючи, а устанет даваючи, и потому подачки постепенно начали делаться скуднее. Да и в самом деле, кому и какая была обязанность кормить совершенно чужого, здорового мужика?

Чтобы как-нибудь достать себе на хлеб, я стал ходить в лес за грибами; но, на мое несчастье, в тот год и грибы совсем не родились. Я приносил их не более как копеек на семь или на восемь в день.

Наконец в последних числах июля я получил от Канаева посылку и письмо. Посылка состояла из книг: в ней было около ста экземпляров о крещении Руси и столько же разных мелких народных брошюр.

На этот раз я решился сам заняться распродажею этих книжек; но торговля моя шла очень туго. Ходя по трактирам и в торговые дни на базар, я едва выручал по двадцати и тридцати копеек в день, и, конечно, вырученных денег мне хватало только на содержание. Наконец книги были распроданы, и я остался опять ни с чем.

В августе месяце я дописал свою рукопись и решился послать ее Канаеву, но мне положительно негде было взять денег на пересылку. Тогда я вспомнил, что верстах в семнадцати от города находилась деревня, где проживал тот мальчуган, который привез мне первую посылку.

Тогда он мне говорил, что в конце августа намерен был опять возвратиться в Петербург. Вот я и собрался отнести ему мою рукопись.

Памятно мне это путешествие!..

В то время погода сделалась еще холоднее. Шел мелкий дождь, сопровождаемый сильным ветром, и по всей дороге стояла сплошная грязь и лужи воды; а на мне было только нижнее белье, совершенно рваное пальто и фуражка без тульи. Но несмотря на грязь, на стужу, на рваную одежду, я босой шел с своею рукописью в упомянутую деревню, питая надежду, благодаря этой рукописи, выбраться из того тяжелого положения, в котором находился.

Благодаря уважению, которое питало к Канаеву семейство этих крестьян, меня там приняли радушно — напоили деревенским житным кофе, накормили обедом и обещали на следующей же неделе переслать мою рукопись в Петербург.

Прошли еще две недели; холод усилился; ветер еще назойливее завывал и врывался в мою конуру; с потолка текло, и на полу частенько стояли лужи. Чтобы согреться, я в течение дня почти постоянно шагал из угла в угол. Но долгие темные и холодные ночи добивали меня вконец. Я даже не могу описать, что испытывал в эти ночи, забившись в каком-нибудь сухом углу и постоянно поворачиваясь, чтобы согреть под моими лохмотьями окоченевшие члены.

Кроме стужи, мне также приходилось терпеть и голод. Я опять перебивался, иной день перекусив что-либо, а то и совсем без пищи. Но наконец однажды, проголодав более суток, я не выдержал и в праздник Рождества Богородицы, рано утром, взяв корзинку, пошел по деревням обирать милостыню. И вот тут мне вспомнились стихи Никитина:

> Надевает ли сумку неволя.
> Не охота ли взяться за труд,
> Тяжела и горька твоя доля,
> Бесприютный, оборванный люд, и проч.

Придя в первую деревню и получив первую милостыню, я не стал уже ходить по другим домам, а, зайдя за овин,

съел эту милостыню, чтобы утолить мучивший меня голод. Поев, я долго раздумывал — идти ли мне дальше сбирать или вернуться домой. Ведь куда как робко и тяжело сначала приниматься за это ремесло!.. Наконец я решился обойти еще одну деревню, за второй — обошел третью и четвертую и таким образом насбирал хлеба фунтов восемь.

Домой я вернулся тогда, когда совсем стемнело. Я очень был рад, что у меня оставалось хлеба еще дня на три. Теперь я думал только о том, как бы запастись теплом. На другой день, взяв веревку, я отправился в рыжишник (сосновый лес), отстоящий от нашего города в полуверсте, и, набрав там большую вязанку хворосту, принес ее домой и затопил печь. Следующую ночь я блаженствовал: я был сыт и спать мне было тепло.

Так перебивался я около месяца, через день ходя за хворостом и дня через два или три обирать милостыню.

Добрые крестьяне, несмотря на то что сами терпят много нужды, редко отказывают в милостыне просящему Христа ради. Как ни был стеснителен для меня этот способ пропитания, но я все-таки раз от разу делался смелее и, стуча в окна палочкой, резче и жалобнее просил.

В октябре стужа меня совсем одолела, и я опять принужден был переселяться в «Батум».

Теперь следует сказать несколько слов о помещении, в котором находился приют. Помещение это состоит из одной большой комнаты с тремя окнами, выходящими на площадь, и тремя же во двор; со сводами, поддерживаемыми посередине четырехугольным столбом. По задней стене его устроены сплошные нары, на которых каждый из постоянных обитателей имеет свое место; около столба находится большая лежанка; в ней ночлежники варят свои незатейливые кушанья; направо от двери отгорожена каморка для сторожа, нанимаемого городскою управою; а под окнами, по стенам, поставлены длинные скамейки и два стола. Помещение вообще очень грязно и изобилует множеством всевозможных паразитов.

На этот раз, считая себя жильцом этого приюта на всю зиму, я постарался поближе познакомиться и с его обитателями.

Большинство из них были еще очень молодые, здоровые люди, но уже пропащие, не надеющиеся и не мыслящие исправиться. Все они как будто бы повально были заражены слабостью к водке. Некоторые из них, как я уже упоминал, в летнее время уходят на работу в Рыбинск, нанимаются на суда, в пастухи или работают поденно в крючниках. Иной раз с этих работ они возвращаются в «Батум» с маленькими деньжонками, но на первый же или второй день все пропивают со своими товарищами и остаются раздетыми и разутыми. Но есть между ними и такие, которые и ничего не работают, а если и попадут на какую-нибудь работу, то непременно через час или сами бросают работу, или их прогоняют; эти и лето и зиму ходят по миру.

В то время как я находился в «Батуме», из числа его обитателей особенно заинтересовали меня четыре человека.

Первый из них — Василий Владимирович Рек, родной племянник ярославского вице-губернатора, — был человек хорошо образованный. Он воспитывался в Москве, в одном из высших учебных заведений. Окончив курс, Рек женился на актрисе и затем вскоре уехал в Самару, где получил довольно порядочное место. С первого же времени, по его рассказам, он жил с женой несчастливо. Актриса заводила связи, а он начал кутить, почему года через два они и разошлись.

Разойдясь с женою, Рек бросил службу и возвратился в Москву. Здесь он получил после родителей тысяч двенадцать рублей наследства, и менее чем через год из этих денег у него ничего не осталось; а еще через год он дошел до нищеты. В это время он узнал о смерти своей жены, которая умерла тоже в большой бедности.

Года четыре он прожил в Москве, без всяких занятий, скитаясь по разным притонам, и наконец принужден был отправиться в Ярославль к своему дяде.

Дядя сперва принял его хорошо. Он не только помог ему всем необходимым, но выхлопотал очень приличную должность. Но в Реке уже сильно вкоренились привычки к разнузданности: он манкировал службою, по нескольку

дней не являлся в должность, а иногда, случалось, приходил совершенно пьяный и производил скандалы.

Из уважения к его дяде Река долго терпели; но наконец его поведение перешло уже всякие границы, и ему принуждены были отказать от должности.

Тогда Рек начал ходить к дяде, выпрашивая у него денег. Дядя и на этот раз не отказывался ему помогать, но требования Река постепенно делались уже через меру нахальны, и дядя не велел его принимать. Тогда Рек, напившись пьяный, явился в канцелярию губернатора и там, во время присутствия, обругал, как только сумел, своего дядю и даже толкнул его в толстый живот ногою. Вот за эту-то проделку его и выслали к нам в Углич под надзор полиции. В Угличе Реку, как человеку образованному и имеющему такое влиятельное родство, сначала тоже сочувствовали. Ему несколько раз давали пособия и определяли к месту. Но, видно, уже не в коня и корм. Вся эта помощь была действительна только до первой рюмки; а как только он брался за рюмку, то уж бросал и занятие и в один день пропивал все, что было у него и что было на нем.

Тогда Рек принужден был существовать тем, что писал по трактирам письма и прошения; а когда не было этой работы, то обирал по лавкам милостыню и все, что доставал, в тот же день пропивал. Зимой и летом он ходил в каком-нибудь рваном сюртучишке или просто в деревенском холщовом зипунишке и, благодаря этому, несколько раз лежал в больнице и постоянно кашлял; у него явно развивалась чахотка.

О будущем Рек мало заботился: во-первых, он сознавал, что ему осталось недолго жить — недуг его был очень силен; а во-вторых, он говорил, что привычка к водке настолько в нем развилась, что вино сделалось как будто принадлежностью его натуры.

Между «батумцами» Рек вполне освоился, и те с ним нисколько не церемонились. Ему даже не давали места на нарах, и он валялся где попало на полу; когда же он поднимал почему-нибудь спор и упоминал о своем происхождении, то его без церемоний колотили.

Другой субъект, интересовавший меня, был сын дворового человека известного некогда ярославского губернского предводителя дворянства Н. П. Скрипицына, и можно сказать, что если бы природа дала ему немного поболее роста и дородства, то он был бы вылитый портрет своего господина.

Дмитрий Федосеев, так его звали, родился в поместье г. Скрипицына — селе Алексееве; но когда Скрипицын, получив звание камергера, переехал в Петербург, то и семейство Федосеева тоже последовало за ним в столицу. Тут его определили в ремесленное училище цесаревича Николая, а по окончании курса, по протекции того же Скрипицына, он поступил на какой-то завод за Невской заставой техником.

В начале восьмидесятых годов на том заводе, где служил Дмитрий, развилась какая-то противозаконная пропаганда, к которой и он был отчасти прикосновен. В скором времени все это раскрылось, и его, как участника, административным порядком лишили столицы на пять лет и выслали в Углич под надзор полиции.

Здесь, не имея определенных занятий, Дмитрий в первое время хотя и получал от матери небольшие суммы на содержание, но все-таки не мог устоять и со скуки начал пьянствовать. К чести его нужно сказать, что, когда он почувствовал, что эта слабость в нем уже укоренилась, он отказался от всякой помощи и принялся за черную работу. Все лето он постоянно ходил в крючниках, а по зимам занимался колкою и уборкою дров, набивал погреба и проч. Но нередко случалось, что и этой работы не было, тогда Дмитрий принужден был так же, как и другие, ходить по лавочкам и обирать милостыню. Когда кончился срок его высылки, к нему приезжала мать, привезла приличную одежду и дала еще пятьдесят рублей с тем, чтобы он оставил эту жизнь и отправлялся на место, которое выхлопотал ему тот же Скрипицын на одной из железных дорог. Место было хорошее: ему назначили семьдесят пять рублей в месяц жалованья. Но недолго Дмитрий там прожил, вкоренившееся пьянство одолело его, и он скоро вернулся опять в Углич и принялся за крючную ра-

боту. Теперь Дмитрий — еще очень молодой человек (ему не более двадцати семи лет); он так же, как и Рек, вполне освоился с тою жизнью, не чувствует возможности восстановиться и не заботится об улучшении своей участи.

Третье лицо, занимавшее меня, был сын священника, Фаворовский. Он воспитывался в духовном училище и затем перешел в семинарию. Наука ли ему прискучила, или по другому какому побуждению, но только Фаворовский с третьего курса вышел из семинарии и поступил в военную службу.

В то время наши войска, под командою Скобелева, совершали славные победы над текинцами. Фаворовскому тоже захотелось там подвизаться, и потому он был послан в Закаспийскую область; но скоро он соскучился и здесь и опять захотел вернуться в Россию. Он уволился из военной службы и, получив документы, отправился пешком на родину. Средства у него были очень скудные, и потому, пройдя несколько сот верст, ему не на что стало продолжать путь. Тогда он, уничтожив свои документы и сказавшись беспаспортным, препровожден был на родину этапом.

Родителей у него не было, но у него были дядя и два брата священниками, которые в первое время отнеслись к нему очень сочувственно. Они вновь выхлопотали ему документы и постарались подыскать подходящую к его способностям должность. Но Фаворовский почему-то вбил себе в голову, что не стоит и не следует работать, и считал всякий труд презренным, даже если бы это был легкий труд, например письменный и т. п. Бросив должность, он первое время кое-как перебивался около дяди и своих братьев, но и тут, имея в голове одно — что ему не следует работать, он положительно отказывался от всякого дела и, через это перессорившись со своими родными, пошел скитаться. Сначала он поступал в разные монастыри послушником, но так как и там заставляли что-либо делать, то он никогда не мог ужиться и начал бродяжничать. Беспечный и беспамятный, он опять утерял где-то свои документы и решил обходиться без них, считая их

лишнею формальностью. Скитаясь по разным губерниям без вида, Фаворовский несколько раз попадал под арест и переправлялся этапом, наконец дошел до того, что ему не в чем стало совсем ходить, и вот он поселился в «Батуме» и проживал там уже около года, сбирая в городе и по ближайшим деревням милостыню. Несмотря на все свои безалаберные странности и какую-то ненормальную испорченность, Фаворовский был очень честный и добродушный парень, готовый поделиться с другом и недругом последнею милостынею и не способный, что называется, и мухи обидеть. Всякая несправедливость, всякая пакость, кем бы она и против кого бы ни была сделана, вызывала в нем сильное негодование, за что, конечно, между «батумцами» он служил не только посмешищем, но подчас дело доходило до того, что его же за это и били.

Четвертый, который более других привлекал мое внимание, был еще мальчик — солдатский сын.

Петрушка, так его звали, родился в Петербурге и, еще в раннем детстве лишившись родителей, остался на попечении тетки, которая сначала таскала его на руках по миру, а потом, когда он немного подрос, посылала уже одного обирать милостыню. Пущенный на произвол теткою, которой нужно было только, чтобы он приносил ей деньги, ничему не обученный, Петрушка лет восьми еще познакомился с некоторыми темными личностями и от них скоро выучился лазить по чужим карманам и другим кражам.

С десяти лет Петрушка узнал арестантскую жизнь, а в тринадцать — уже попал на высыл.

Петрушка уже около трех лет проживает в Угличе; ежедневно ходит по миру, а когда удается, то и ворует, за что, конечно, и здесь не раз побывал под судом и спознался с угличскою тюрьмою. В тюрьме ему, как смазливенькому мальчугану, живется тоже недурно...

В городе Петрушку все знают и близко к себе не подпускают, а когда он зайдет куда-нибудь во двор за милостыней, то непременно следят за ним; но зато на базаре не проходит ни один торговый день, чтобы он не поживился

от деревенских баб и мужиков: или кошелек из кармана вытащит, или с возу что-нибудь стянет.

Петрушке теперь еще только семнадцать лет, а выглядит он совершенно мальчиком; но он уже вполне усвоил себе все арестантские привычки и замашки и, несмотря на свое бессилие, поражает отчаянностью. Впрочем, при всех его дурных качествах и при полной его распущенности у него все-таки имеется и известная доля доброты — той доброты, которая прививается всем обездоленным людям артельною, арестантскою жизнью. Так, Петрушка добытые им деньги никогда не истратит один, а непременно поделится со своими товарищами или другими бедняками — напоит, накормит, при хороших фартах и оденет и никогда не украдет у своего брата-нищего, но случается, что и сбережет иного, если тот оказывается не в состоянии собою владеть[1].

Кроме описанных мною и тех местных бездомовников, которые составляют как бы постоянный элемент «Батума», в нашу среду попадали и пришлые люди: это те поднадзорные, которые постоянно меняют для «полняка»[2] место своей высылки. Таких лиц в течение того времени, как я находился в «Батуме», перебывало человек около тридцати. Они почти все были столичные жители, а высылались по большей части за прошение милостыни или за другие мелкие проступки. Иные из них совершали такие путешествия уже десятки раз и в Угличе бывали не впервые. Им дается право избирать место жительства (за исключением губернских и некоторых других, более многолюдных городов). Но им не нужно постоянного жительства. Им нужно только то, чтобы при освобождении не отбирали от них казенную одежду. Друг от друга они уже

[1] В бытность мою прошлым летом в Угличе мне довелось узнать, что Рек в скором времени после того, как я покинул «Батум», исколоченный своими товарищами, умер в больнице; Фаворовский сошел с ума и отправлен в Ярославль в дом умалишенных; Петрушка опять в тюрьме; а Федосеев, так же, как и прежде, раздетый и босой, лето работает с крючниками, а зиму нищенствует.

[2] Полняком называется вся арестантская одежда, выдаваемая при отправке на этап.

знают, где легче освобождаться; а потому, заявляя желание быть высланными в какой-либо город и прибывая на место, сразу же по освобождении продают свои «полняки» и затем берут переводку в другой город. У нас, в Угличе, как и во многих городах, полиция при освобождении их не отнимала ничего из той одежды, которая давалась им при отправке на этап, и в тех же серых халатах или казенных полушубках выпускала их на свободу. Барышники наши отлично это знали и каждый этап уже караулили таких гостей. Тотчас же по освобождении они заводили их в какой-нибудь грязный трактир и там рубля за три, за четыре покупали у них «полняки»; а им, чтобы прикрыть их грешное тело, копеек за семьдесят — за рубль давали какую-нибудь сменку. Конечно, освобожденные из-под ареста и избавившиеся от своей казенной одежды переселенцы в тот же день и пропивали вырученные ими деньги, а на другой или третий день наравне с прочими «батумцами» просили милостыню. Но они у нас никогда долго не засиживались и дня через три или через неделю опять шли в полицейское управление за переводкой в другое место. И полиция, довольная тем, что избавлялась от надзора за ними, всегда охотно давала им переводку, то есть пропуск, в то место, куда они заявляли желание переселиться, а все бумаги, с которыми они обыкновенно пересылаются с места своего арестования, отправляла туда по почте. Впрочем, эти люди никогда не приходят в избранное ими место с данным пропуском. Они идут с ним только до того города, где получше и беспрепятственнее дают казенную одежду, и там, уничтожив свой пропуск, снова арестуются, снова берут одежду и опять отправляются в избранное место этапом, чтобы, освободясь, так же пропить казенную одежду, как и в предшествовавшем.

Надо сознаться, что, живя в «Батуме», я получал иногда от Канаева рубля по три, а один раз получил и десять рублей; но в этом обществе присылок его мне хватало ненадолго, потому что я большую часть из них проживал, или, вернее, пропивал с товарищами, которых я, признаться сказать, побаивался, вследствие чего мне так же очень часто приходилось голодать или ходить с кор-

зинкою по деревням. Положим, что я охотнее брался за какую-нибудь работу, но достать ее было очень трудно. На мою долю выпадало иногда у знакомых расколоть воз дров, набить снегом погреб, да и то очень редко. Деревни в нашем уезде небольшие, но зато очень частые. Иной день не пройдешь и двадцати верст в окружности, а побываешь более чем в десяти деревнях. В зимнее время за милостыней приходилось входить в каждую избу, иногда и просто посидеть, обогреться. Народ в нашем крае вообще не дикий — любознательный и разговорчивый. И вот, во время этих недолгих бесед, крестьяне прежде всего выспрашивали меня: кто я? где жил? и пр. — на что я отвечал всегда откровенно и затем, в свою очередь, расспрашивал их об их житье и обо всем, что меня интересовало. Надо сказать, что крестьяне в нашем уезде живут не особенно богато, но и не бедно. Мужчин, проживающих постоянно дома и занимающихся хлебопашеством, очень мало. Большая часть из них, еще с детства, уезжает в Петербург или в Москву, где иным и выпадает счастье. Но есть очень много и таких, которых чужая сторона только портит. Бедноты более всего заметно в подгородных деревнях. Подгородные крестьяне, а особенно живущие при больших дорогах, и у нас, так же как и везде, народ более избалованный. Частое посещение города не только не приносит им никакой пользы, но, напротив, причиняет вред в материальном и нравственном отношении. Они не пропустят почти ни одного торгового дня, чтобы не побывать в городе, и, по мелочи распродавая все, что им дает земля и деревенское хозяйство, тут же и оставляют вырученные деньги. Кроме того, они, спознавшись с городом, успевают также познакомиться и с трактиром, привыкают к чарочке и вместе с тем усваивают себе замашки трактирных забулдыг. Это уже не те робкие и поклонные крестьяне, которых всегда можно встретить в отдаленных от города деревнях; это народ по большей части смелый и способный кичиться своей кабацкой опытностью. Такие бывалые крестьяне уже отвыкают от земли и при всяком случае не прочь бросить свои крестьянские работы, лишь бы достать себе на трактирные удовольствия. Впрочем,

этого нельзя сказать о всех вообще, и между ними есть действительно степенные и трудолюбивые люди; но все же если сравнить их с крестьянами дальних деревень, то это сравнение всегда будет говорить в пользу последних.

Говоря так о мужчинах, грешно будет сказать то же самое и о женщинах. Наши крестьянки довольно степенные и трудолюбивые. Их хозяйственные добродетели несомненны, и нередко вся семья держится бабою. По крайней мере, мне так казалось, что в тех домах, где хозяйство лежит на бабьей заботе, всегда заметно было более довольства, чем там, где хозяйничает беспечный мужик, знакомый с чаркою. Так, в доме вдовы, если она только не безземельная бобылка и не обременена кучею малолеток, я никогда не встречал не только нищеты, но и большого недостатка. Если и есть в чем упрекнуть наших крестьянок, так это в пристрастии подражать городской моде, которая их ничуть не красит и вместе с тем приводит к лишним расходам.

Чаще всего я любил ходить в деревню Ратново, отстоящую от Углича в шести верстах. Тут в небольшом домике жили две вдовы — свекровь и невестка. Обе женщины, и старая и молодая, были очень скромные, набожные и вместе с тем добрые. Имея маленький достаток, они жили расчетливо, но и не скупо. Исполняя по своим силам крестьянские работы, они не пропускали ни одного праздника, чтобы поочередно не посетить храм божий, хотя ближайшая от их деревни церковь находилась в городе; в избушке своей они всегда соблюдали такую тщательную чистоту и аккуратность, что никогда не заметишь нигде грязного пятнышка. Я всегда любовался на эту тихую и скромную жизнь. В избе у них на первом плане привлекали взор висевшие в переднем углу дорогие старинные иконы в окладах и в хороших киотах, перед которыми постоянно теплились лампады; у перегородки от кухни находился порядочный шкафчик, все полки которого заставлены были чайными чашками, стаканами и другою посудою, а на шкафу лежало более чем полсотни книг духовного содержания, и все эти книги были в прочных переплетах и содержались в аккуратности и чистоте. Эти две вдовы —

свекровь и невестка — жили настолько мирно между собою, что я редко встречал подобную жизнь. В зимнее время, кроме обыкновенной работы по своему небольшому хозяйству, младшая, то есть невестка, занималась еще обучением крестьянских детей грамоте, которых в то время, как я к ним ходил, у нее училось шесть мальчиков.

В других губерниях, особенно в Тверской и Новгородской, нанимают прихожих учителей; но у нас этого нет. У нас чуть не в каждой деревне можно найти грамотников и грамотниц. И вот вследствие того, что сельские школы, да и в настоящее время устраиваемые церковно-приходские, в иных местах находятся на довольно порядочном расстоянии, то волей-неволей крестьяне принуждены бывают отдавать детей для обучения к этим доморощенным учителям. Учение у них ведется по-старинному. Сначала они обучают церковной азбуке, потом часослову, псалтири, затем гражданской грамоте и письму. С них многого не спрашивают, да и сами обучающие более того тоже не знают. Обыкновенная плата за такое учение бывает по три и четыре рубля в зиму. Моя знакомая брала по три рубля за ученика и, насколько она могла и умела, обучала добросовестно.

В один день, когда я пришел к ним за милостыней, я застал детей, писавших цифры. Я спросил их, умеют ли они складывать, вычитать и проч.; оказалось, что не только дети, но и сама учительница вовсе не знала первых правил арифметики. Я вызвался им показать первые четыре правила этой науки, и это заинтересовало не только детей, но и учительницу, и она стала просить меня, чтобы я ходил к ним и показывал, как нужно складывать, вычитать и проч. Не имея никаких занятий, кроме нищенства, я был рад этому предложению и стал ходить в Ратново раз и два в неделю. За эти занятия меня постоянно угощали чаем, кормили завтраком и обедом и, кроме того, давали хлеба с собою, что избавляло меня от нищенства, и я реже стал ходить по миру.

В некоторых трактирах нашего города до сих пор заседают отставные мелкие чиновники или просто писцы,

занимающиеся составлением прошений, писем и прочих бумаг. Господа эти берутся за какое угодно дело, лишь бы поболее дали за работу. Определенной платы за их труд не существует, и клиенты постоянно с ними торгуются, как на базаре с торговцами. Пишут они деловые бумаги и за рубль и более; пишут и за гривенник. В простые дни у них бывает мало работы, но в базарные они иногда зашибают порядочную копейку.

Из числа этих так называемых кабацких адвокатов (извиняюсь за выражение, оно не мое, но многие так их зовут) наибольшей популярностью пользовался у нас бывший вольнонаемный писец сиротского суда Александр Григорьевич Сладков. Местом своего заседания Сладков избрал так называемый Проходной трактир, самый грязный и многолюдный из всех находящихся на торгу трактиров. Он был здесь постоянным гостем и в будни и в праздники, и потому, кроме него, никто уже не имел права заниматься какой-либо письменною работой в этом трактире, если только Сладков за неимением времени или по каким другим причинам не отказывался сам от нее; да и то он разрешал это делать только тогда, когда его угостят за такое разрешение.

Мне не раз приходилось присутствовать при торговле этих адвокатов с своими клиентами. Постараюсь описать один из примеров этой торговли, памятный мне до последнего слова.

В каморку с тремя столиками, за одним из которых я пил чай, приходит довольно пожилой крестьянин и, заказав себе тоже чаю, спрашивает полового:

— А что, здесь ли этот самый, что у вас прошенья-то пишет?

— Александр Григорьевич?

— Да. Как его зовут?

— Александр Григорьевич Сладков.

— Ну, вот он самый и есть. Здесь он?

— Здесь.

— Нельзя ли его сюда позвать? У меня до него есть дельце.

— Ладно, скажу. А еще чего надо? Сороковочку надо?

— Нет. Погодим еще сороковочку-то. Опосля.

Половой ушел и минут через пять вернулся с чаем.

— Сказал? — спрашивает мужичок.

— Сказал. Придет.

Еще через пять минут является и Сладков.

— Ну, кто тут меня звал? — говорит он.

— Да вот я, батюшка Александр Григорьевич, — отвечает мужик. — У меня до вас есть дельце.

— Дельце есть? Ну ладно. Да что ж у тебя и чай-то на одного заказан? А еще о деле толковать зовешь. Впрочем, я чаю-то не хочу, а вот водочки бы купил, так складнее было бы толковать о деле-то.

— Да уж это мы, батюшка Александр Григорьевич, насчет водочки-то так после. Мы за этим не постоим. А теперь вот не угодно ли со мной чашечку чайку, да немножечко потолкуем.

— Э, да ты, я вижу, мужик-то сам пройдоха. Ну да ладно. Я таких-то люблю. С такими скорее пиво сваришь. Рассказывай, что у тебя за дело, — говорил Сладков, усаживаясь к столу.

Крестьянин начал рассказывать ему о своем деле. У него вышла какая-то неурядица при разделе с братом-солдатом.

Всю суть дела я не мог слышать, так как сначала мужичок говорил очень тихо, но потом до меня ясно доносились следующие фразы:

— Ведь ты подумай, — толковал он, — брат маленький был, а я работал. Брат в службе служил, а я все работал, все приобретал, все строил. А мир-то вон как говорит: все поровну. Разве это закон? Да и волостной-то у нас такой же. Теперь вот и судись, как знаешь. Куда теперь обратиться-то?

— Нужно подать прошение в уездный земский суд, — безапелляционным тоном говорил Сладков.

— Так. А я думал к мировому?

— Нет. Мировой тут ни при чем.

— Так. Ну а сколько же, батюшка, ты возьмешь с меня за это прошение?

— Целковый-рубль.

— Целковый? Нет, уж так-то очень дорого, Александр Григорьевич. Ты возьми-ка подешевле.

— А сколько же ты дашь? Ведь тут надо до тонкости дело-то разобрать.

— Да оно так-то так, конечно, надо написать порядком, — вытягивая каждое слово, говорил мужик. — Да это уж очень дорого.

— Ну, так по-твоему сколько же? Говори! А то меня вон в ту каморку еще звали.

— Да, положим, у вас дела есть. Как не быть дела у такого человека. Да только целковый-то все-таки дорого. Нельзя ли подешевле?

— Да что же ты не говоришь, сколько дашь? Ведь не двугривенный же с тебя взять.

— Само собой не двугривенный. Да и так-то уж дорого.

Произошла пауза. Сладков понял, что мужик — кремень.

— Ну вот что, — начал он, — я вижу, что человек ты не очень богатый, да притом же тебя обижают, а я таких-то вот как жалею... Так я уж хочу тебе помочь. Я возьму теперь с тебя полтинник, да сороковку водки разопьем. А там как дело пойдет, так ты меня и опять угостишь.

— На этом, батюшка мой, спасибо. Дай бог вам доброго здоровья. А что там насчет угощенья, так мы во всякое время, лишь бы дело-то пошло. А теперь вот, Александр Григорьевич, ты возьми с меня три гривенничка, да по стаканчику водочки выпьем. Вот и ладно будет.

Сладков с полминуты подумал и, вероятно, сообразив, что от мужика больше не вымолотишь, махнул рукой и сказал:

— Ну, давай. Посылай за бумагой, сейчас накатаю.

— Да ты хошь и не торопись, только напиши получше.

— У меня будет и скоро и хорошо. Посылай за бумагой, да требуй водки.

Мужик постучал о чайник и велел половому принесть лист бумаги и два стакана водки. Сладков встал и через минуту вернулся с чернильницей и пером.

Но эти адвокаты — еще небольшое зло в нашем городе. Гораздо вреднее их постоянно ютящиеся в том же Проходном трактире маклаки-барышники, торгующие

разным старьем; они действительно являются какими-то вампирами бедноты и особенно тех, которые пристрастны к чарочке.

За отсутствием в нашем городе ссудных касс беднота частенько принуждена бывает прибегать к ростовщикам, ремеслом которых у нас занимаются очень многие, и не только простые граждане, но и лица благородного звания. Но, по крайней мере, крупные ростовщики если и берут со своих жертв неимоверные проценты, то, в сущности, почти никогда не поступают так нахально-бесчестно, как упомянутые мною маклаки барышники, которые ведут свои дела преимущественно с мастеровыми и рабочими, принимая от них разную, иногда последнюю одежду и выдавая им копеечные ссуды. Не говоря уже о том, что за выданный под какой-нибудь залог полтинник они не возьмут меньше двугривенного процентов за одну неделю, они часто совсем не возвращают вещей, если последние представляют стоимость. При этом они всегда избегают ответственности потому, что принимают вещи и дают деньги где-нибудь за углом один на один.

Между угличскими торговцами, особенно так называемыми холщевниками, скупающими холст, пряжу, лен и проч. произведения, с давних времен существует особенный разговорный язык, называемый «масовским». Хотя этот язык далеко не полный, но все-таки говорящие на нем могут объясниться между собою так, что их разговор для других будет не совсем понятен.

Мне еще в детстве очень часто приходилось слышать разговоры на этом языке, но я запомнил лишь очень немногие слова, да и их на чужбине скоро забывал.

На этот же раз мне вздумалось не то что выучить масовский язык, а записать все существующие в нем слова, с намерением доставить это кому-нибудь из филологов как материал. Но при моем положении мне трудно было этого добиться. Даром со мною заниматься никто не хотел, а заплатить, или по крайней мере угостить за подобное занятие, у меня не было средств.

Наконец случай мне помог. Однажды я встретился с купцом И. И. Пивоваровым, с которым мой отец более

двадцати лет ездил торговать по ярмаркам, и попросил его сообщить мне все, что он знал из этого оригинального лексикона. Пивоваров отнесся к моей просьбе благосклонно и, не брезгуя мною, приглашал иногда с ним попить чаю и тут же сообщал мне известные ему масовские названия. Таким образом я собрал от него более четырехсот слов, из которых чуть не половина относилась к названиям чисел и денежных знаков.

По возвращении в Петербург этот тощенький словарь я при содействии Ариста Аристовича Куника доставил Я. К. Гроту, который намерен был поместить его в областной словарь.

И в прежнее время, когда мне приходилось проживать на родине, я не много видал красных дней, но все же иногда мне случалось бывать в обществе и видеть коекакие развлечения; а на этот раз для меня только и были доступны «Батум» да грязные трактиры.

По своему положению и по костюму я не мог бывать ни на церковных торжествах, которые у нас происходят очень часто и всегда привлекают множество богомольцев, особенно женщин и девиц, являющихся на эти торжества непременно в самых модных и новых костюмах; ни на гуляньях, устраиваемых в городском саду и других местах. Также мне ни разу не удалось быть в наших общественных собраниях или каких-либо учреждениях, хотя вышеупомянутый Пивоваров и предлагал мне поинтересоваться, послушать в городской управе рассуждения наших граждан о городских делах.

Однажды я только заинтересовался судом над монахами Алексеевскою монастыря и зашел в камеру мирового судьи послушать дело о краже денег и разных вещей у сборщика-монаха. Тут, на суде, в качестве свидетелей фигурировало более десятка старых и молодых монахов и других духовных лиц, состоящих в монастыре под началом. Но так как в числе обвиняемых находился один мальчик, сын священника, т. е. лицо, принадлежащее к привилегированному сословию, и мировой судья не мог его судить в взводимом на него преступлении, то дело

окончательно и не разбиралось, а перешло к судебному следователю.

В марте месяце кончался год со дня моей высылки из Петербурга, и я мог опять туда явиться, но у меня не было ни денег, ни паспорта, ни одежды.

Я обратился опять к Канаеву, прося его помочь мне в этой нужде, и он выслал мне шесть рублей. Из этих шести рублей я, заплатив в нашей мещанской управе числящиеся за мной недоимки и выправив годовой паспорт, на остальные деньги встретил наступившую Пасху.

Прошел первый и второй день праздника, а на третий я решил отправиться в Петербург.

Костюм мой был совсем худ. Он состоял из нижнего белья, рваного пальто, такой же фуражки и опорков, а в кармане денег находилось только одиннадцать копеек; но я решил во что бы то ни стало пуститься в путь и во вторник на Пасхе вышел из Углича по Ростовской дороге.

Глава четырнадцатая

Дорога в Москву. — Помещик граф Хвостов. — Пребывание в Москве. — Возвращение в Петербург. — Хлопоты с моими записками. — Литератор Н. С. Лесков. — Напечатание в «Русской мысли» отрывка из моих записок. — Мое переселение в Вяземский дом. — Литератор Г. И. Успенский. — Моя квартира в Вяземском доме. — Ее хозяин и жильцы. — Желание сделаться книгоношей. — Отъезд в Углич. — Празднества по случаю обновления дворца Димитрия-царевича. — Село Никольское. — Пожар в Никольском и его последствия. — Эпитафии. — Трактирщик Маз-в. — Угличский музей. — Новый тип барышников. — Село Ильинское. — Трактирщик Г-в. — Крестьянин-собственник М-н и богач Соколов. — Село Губачево. — Торговец Щер-в. — Заключение

Ближайший путь из Углича в Петербург лежит через Родионовскую станцию Рыбинско-Бологовской железной дороги и от Болотова по Николаевской дороге. Но мне

хотелось побывать в Москве, так как Канаев писал, что рукопись мою, которую я ему послал из Углича, он отправил к А. П. Чехову и потому советовал зайти к нему и справиться, может ли она, по его мнению, быть пригодна или нет. Дорога на Москву для меня составляла большой крюк, но ведь я от этого ничего не терял, тут и там мне все равно приходилось идти Христа ради. До Москвы от нас считается двести верст, но здесь дорога проселочная и весною во время разлива рек бывает неудобопроходима, а потому я решился сделать еще верст семьдесят крюку и идти большою дорогою на Ростов. Труден был для меня этот путь: натерпелся я и голода и холода, но подробно его описывать не буду, потому что спустя три года мне опять пришлось пройти этим путем и еще более с ним ознакомиться, и я постараюсь тогда передать все то, что мне казалось стоящим внимания. А теперь приведу только слышанный мною рассказ про графа Хвостова. На одном ночлеге, близ города Переяславля, в с. Выползове, пришлось мне разговориться с одним старичком. После обычных расспросов о теперешнем житье-бытье, об урожае и т. п. я спросил его:

— А прежде, дедушка, вы были вольные или господские?

— Господские, батюшка, господские. Богатого господина графа Хвостова.

— Графа Хвостова?

— Да, батюшка. Нас тут в четырех деревнях у него было 750 душ. А вот здесь, с полверсты отсюда, была его усадьба.

— Он тут и жил?

— Нет, батюшка, он жил все в Питере, а больше, говорят, проживал в Париже; здесь у него управляющий был, из своих же крестьян.

— А каково вам тогда жить-то было?

— Нечего Бога гневить, мы тогда большой обиды не видали. Барщиной нас особенно не мучили, и было время справляться и с своей работой.

— А граф приезжал к вам когда-нибудь в усадьбу?

— Приезжал, но редко — годов через семь, да и то недели на три, не больше. Зато, когда приедет, для нас на-

ступало приволье. Он приезжал не один, а, бывало, привезет с собой штук семь барышень и все француженок, не умеют и говорить по-русски. И вот пойдут у него пиры да веселье. Сам почти каждый день разъезжал с француженками по озерам, то на Переяславское, то вот тут недалеко есть еще небольшое озеро; откупит там у рыбаков лодки, наберут с собой разных напитков, кушаньев, самоваров, кофейников и катаются. А как чуть только на неделе зазвонят к вечерне, он сейчас призывает управляющего и спрашивает: «А что, Семен, завтра праздник, что ли?» — «Должно быть, праздник, ваше сиятельство», — говорит управляющий. «Так ты скажи крестьянам, чтобы завтра на работу не выходили, а собирались бы на барский двор; да прикажи повару, чтобы завтра для них обед приготовил». И соберутся все, и мужики и бабы. На дворе столы расставят, вина притащат вещи четыре, и пойдет угощение. А он с своими француженками ходит кругом и смеется, — они, как собачки, около него прыгают, скачут и все по-своему лепечут. Напьются, бывало, мужики допьяна — и ничего; а если который свалится, ни за что не позволит тащить домой. «Нет, нет, — говорит, — вы его изломаете, а вон, отнесите его на балкон, пускай он там проспится». Вот какой он был у нас чудак. Когда стали поговаривать о воле, так он все упрашивал, чтобы подписались, что не хотят на волю, да мужики не хотели подписаться. А если бы подписались, то дело-то, говорят, лучше бы было. Он, говорят, хотел похвастаться перед государем: что вот крестьяне не хотят от меня на волю, а я сам их отпускаю со всею землею и со всем, что мне принадлежит. Это он хотел как будто подарок сделать государю. А вот мы не подписались, так теперь и пользуемся только казенным наделом, а громадный лес и богатейший покос, который был у нас, отошел к графу.

На одиннадцатые сутки я пришел в Москву и застал там Чехова, который, несмотря на то что я был не в одежде, а в лохмотьях, принял меня более чем ласково. Рукопись мою он нашел небесполезною и небезынтересною, но исправить ее и дать ей ход отказался, мотивируя свой отказ тем, что он лично описываемой мною жизни не знает

и никогда ее не наблюдал, а потому и не считает себя компетентным в моем описании.

Благодаря Чехову остальную дорогу до Петербурга я прошел без горя. Мне так хотелось поскорее добраться до столицы, что я шел день и ночь и 18 мая, рано утром, вступил в Петербург. В первый же день я побывал в рынке у товарищей-букинистов, у родных, у Канаева и, наконец, приютился у Н-вой. Немного я, кажется, делал добра в своей жизни, но все-таки я был принят всеми радушно и на другой же день при помощи добрых людей сменил свой дорожный, страннический костюм. Но все-таки мне предстояли еще заботы: надо было приискать квартиру, отдать адресные пошлины и заняться делом. Я рассчитывал на мои записки. Начатые мною воспоминания, перед отправкою на родину, были оставлены у Канаева и, переходя от одного писателя к другому, наконец попали к Г. И. Успенскому. Мне желательно было узнать, считает ли он мои воспоминания сколько-нибудь стоящими или нет, и вместе с тем показать ему свою последнюю рукопись; но в это время его уже не было в Петербурге: он уехал в имение. Необходимость иметь какие-нибудь средства заставила меня прибегнуть к Н. С. Лескову. И вот я принес ему мою рукопись. Почитав ее с четверть часа, Н. С. мне сказал:

— Ну вот, из этого можно что-нибудь сделать. Есть некоторые тощенькие журнальцы, просят прислать какую-нибудь статейку. Я исправлю вашу рукопись и постараюсь поместить. А что вы хотите за это?

— Н. С., — говорю я, — я не литератор и не могу ценить своего произведения. Но если бы оно погодилось куда-либо, то я бы с удовольствием его продал, потому что теперь нахожусь в таком положении, что, сколько бы мне за это ни предложили, я готов отдать.

— Да нет, однако, сколько же вы бы хотели? Ну, скажите? — настаивал г. Лесков.

— Мне в данную минуту необходимо рублей тридцать, — говорю я. — И вот за это я бы согласился продать свою рукопись.

— Ну, это еще возможно. Я посмотрю ее, а вы зайдите ко мне через недельку.

— Но я сейчас-то крайне нуждаюсь. Мне необходимо отдать за квартиру и заплатить адресные пошлины.

— Сейчас я вам не могу всех отдать, а на адресные я вам дам.

И он вынес мне три рубля.

— Так через недельку или деньков через десяток понаведайтесь. Если можно будет это пристроить, то я и заплачу, — добавил он, подавая деньги.

Маловато, крайне маловато было этих денег; но так как я был совершенно без копейки, то пришлось взять что дали. Впрочем, свет не без добрых людей, говорит пословица. И действительно, нашлись и еще добрые люди — помогли, и я, в сообществе с Н-ми, снял на Песках маленькую квартирку и устроился по-семейному.

Я принялся опять за книжную торговлю, но дела мои шли очень туго; да вместе с тем следует сознаться, что я и опять стал забывать свои испытания и опять начал попивать пивцо. Лето я все-таки держался и хотя не вполне достаточно, но кормил себя и Н-ву. В течение этого времени Лесков, исправив мою статью и дав ей довольно оригинальное название, поместил ее в журнале «Русская мысль», а со мною рассчитался частью деньгами, частью своими изданиями.

В некоторых газетах об этой статье напечатаны были отзывы, очень польстившие моему самолюбию. Особенно же вскружило мне голову, когда я пришел к Г. И. Успенскому за своими воспоминаниями и за советом, стоит ли продолжать их или оставить.

— Как же не стоит? — сказал мне он. — У вас такой материал, какого никогда другому писателю не придется наблюдать. Да притом же у вас есть и способность писать. Ведь посмотрите. Лесков не бог весть что прибавил своего в вашей статье, а о ней почти все газеты говорили.

От этих слов известного писателя я был, что называется, вне себя от удовольствия. Не рассчитывая быть писателем, сознавая, что это мне уже не по годам и не по образованию, я все-таки мечтал, что своими воспоминаниями буду не бесполезен, да и себе заработаю кусок хлеба, даже лучшего хлеба, чем я зарабатывал от торговли, а потому я

бросил торговлю и засел опять писать. Но я плохо рассчитал свое положение. Просидев неделю, я остался совсем без средств, и вследствие этого у меня пошли неприятности по квартире. Мне начали делать замечания, что я занимаюсь пустяками. Я не вытерпел этих замечаний и, не имея возможности продолжать принятые на себя обязательства хозяина, в один прекрасный день ушел с квартиры и более в нее не возвращался. Я опять поселился в Вяземском доме и, конечно, снова пустился в самое бесшабашное пьянство.

Впрочем, дня через три я образумился, но уже считал себя настолько виноватым, что не смел возвратиться на свою квартиру.

Я решился написать письмо Успенскому и идти к нему просить помощи.

— Да неужели вы в Вяземском доме? — сказал Г. Ив. и с этими словами отступил от меня на шаг. Но в этом отступлении и в его словах мне показались не отвращение и не упрек, а глубокое сожаление.

Он быстро вынул из кармана своего жилета три рубля и дал мне.

— Придите ко мне дня через три, — сказал он, — я еще вам дам, а теперь у меня больше нет.

Через три дня я опять пришел к нему, и он опять дал мне немного денег.

Когда же я стал просить его, не может ли он взять на себя труд исправить мои записки и дать им ход, то он мне сказал:

— Теперь я не могу, я очень занят своею работою. Летом я много путешествовал и мне нужно все это обработать, а поступить так, как Лесков, я не соглашусь. Ведь он за вашу статью, знаете ли, сколько получил...

Но Г. И. не досказал и продолжал:

— А вы пишите что знаете, что там есть у вас интересного и приносите ко мне; я буду вам платить по пяти копеек за строчку, так же, как газеты платят.

Это было мое последнее свидание с Успенским, хотя после этого я несколько раз сам приносил и присылал ему небольшие статейки о трущобной жизни и получал за это рубля по три и по пяти.

Три года я опять прожил в Петербурге, и большую часть этого времени мне пришлось находиться в Вяземском доме. Иногда я писал свои воспоминания, а иногда принимался за книжную торговлю.

Хотя об этом доме я в своих записках упоминал уже не один раз, но это относилось ко временам давно прошедшим, а теперь я считаю нелишним сделать краткое описание той квартиры, в которой мне довелось жить в последний раз.

Квартира эта находилась во флигеле над банями, в третьем этаже. Она состояла из двух небольших и низеньких комнат, каждая по два окна; кроме того, комнаты разделены еще перегородками. В первой из них, которая вместе с тем и кухня, отделена маленькая каморка, где помещался сам хозяин со своим семейством; во второй комнате также отделена каморка, и в ней стояло шесть коек для жильцов; затем, все остальное пространство было занято нарами, над которыми по стенкам прибиты полки, и на них поставлена незатейливая посуда жильцов, состоявшая большею частью из изуродованных и полуразбитых чайников, жестяных котелков и чашек, а в углах прибиты закоптелые, почерневшие иконы, перед которыми имеются простенькие лампадки. Под полками, во всех щелях, гнездились неизбежные обитатели всех общих квартир — клопы и тараканы, а выходящие наружу стены в зимнее время постоянно были покрыты склизкою зеленою плесенью. На нарах кое-где валялось разное лохмотье, грязные, засаленные донельзя тюфяки и подушки, набитые мочалою, а в ином месте в головах лежало простое полено.

Вся мебель нашей квартиры, исключая нар и коек, заключалась в двух скамейках и нескольких турышках, заменяющих стулья. Об опрятности квартиры можно судить по тому, что полы и нары мылись не более одного раза в месяц; о чистоте же воздуха нечего и говорить: в ночное время зловоние доходило до того, что захватывало дыхание. Этот воздух могли выносить только люди, свыкшиеся с ним, с загрубевшими легкими, а приходящие посторонние долго им дышать были не в состоянии.

Всех жильцов в нашей квартире, исключая хозяйского семейства, считалось около сорока человек. Большая часть из них отставные солдаты, жившие пенсией, прошением милостыни и разными пособиями; затем разные мастеровые, крючешники, собирающие тряпки и кости по помойным ямам, отставные служители придворного конюшенного ведомства и около десятка наборщиков, или, как они себя величали, литературных кузнецов.

Но прежде чем говорить о жильцах, нужно кое-что сказать о самом хозяине квартиры и его семействе.

Хозяин — отставной рядовой Петр Степанов Коршунов, или, как его попросту называли, Степаныч. Он уже около тридцати лет держал одну и ту же квартиру.

Степаныч — уроженец Калужской губернии, до солдатства был крепостным крестьянином и в деревне жил очень бедно. Сданный почти юношей в солдаты, он года два пробыл под ружьем, а остальное время, до отставки, прожил денщиком у полкового квартирмейстера. Во время Крымской кампании Степаныч десять месяцев находился в Севастополе, где ему зачислили месяц службы за год, вследствие чего он на двенадцатом году службы получил уже чистую отставку.

Степаныч начал сколачивать деньгу еще на службе. Он не стеснялся рассказывать, что и там мух не ловил и наживал копейку всюду, где только представлялся случай, и к отставке сколотил сот шесть-семь рублей.

С этими деньгами он приехал в Петербург и здесь повел дело с аккуратностью. Первое время он поступил в услужение к какому-то путейскому майору за маленькое жалованье, а затем уже, пооглядевшись и ознакомившись с петербургской жизнью, принялся маклачить-барышничать на Сенной.

Сенная в старые годы была, как известно, самым удобным и безнадзорным местом для всяких темных промышленников, и маклакам это приходилось вполне на руку.

— Э-х-х, — вспоминал иногда Степаныч, — Сенная в прежнее время была мать-кормилица. Сколько тут кормилось разного народу, и чем-чем только тут не промышляли. Особенно для нашего брата как было привольно.

Бывало, выйдешь рано утром, а тебя уж ждут: либо сменку кому, либо темненький товарец предлагают.

Поосвоившись окончательно с Петербургом, спустя еще год Степаныч выписал из деревни жену, снял в верхнем этаже стеклянного коридора боковую квартиру и приютил здесь несколько фортовых, которые доставляли ему большую выгоду.

— Вот житье-то было в Вяземском доме, — рассказывал он. — Платил я за боковушку только восемь рублей в месяц, а ночевало у меня постоянно человек тридцать. На нарах укладывалось человек пятнадцать, да под нарами клал столько же. Прописных, настоящих жильцов было не больше как человека три-четыре, а то так, кто с паспортом, кто и без паспорта — все ложись. А ребята-то были все ловкие, денежные; бывало, как вечер, так четверти три да четыре вина выйдет. И вино-то в то время было дешевое — за четверть только восемьдесят пять копеек платили. По три копейки за ночлег брали, а выгоднее теперешних пятачков.

Лет через пять Степаныч переменил квартиру и перебрался на Забалканский проспект в лицевой флигель. Но там ему почему-то не понравилось, он взял квартиру над банями и проживал в ней, как я уже сказал, около двадцати лет. В этой квартире он похоронил первую жену и года полтора спустя опять женился.

— Здесь тоже сначала-то хорошо было, — говорил мне Степаныч. — По первому-то разу я здесь платил только двадцать два рубля в месяц, а жильцов-то не столько, как теперь. Бывало, как выйдешь ночью да посмотришь, так сердце радуется: и на нарах, и под нарами, и на печке, везде полно. А теперь вот всего тридцать человек, и дела-то уж совсем не те. Теперь вот и пустил бы другого, да боишься. Отсидел я за два непрописных паспорта четыре дня, так теперь уж и слабит. Сидеть-то еще ничего, а вот как вдруг лишат столицы, так и узнаешь кузькину мать.

Десять-пятнадцать лет тому назад Степаныч был ловкий и смелый мужчина, не робел вести дела с разными темными личностями, о чем теперь говорит с похвальбою. Но он вел эти дела с аккуратностью и никогда не попадал

впросак. Не зная совсем грамоты, он имел хорошую смекалку, понимал судебные и полицейские порядки и за словом в карман не лез.

С уничтожением на Сенной хлебных и обжорных ларей уничтожились и барышники, и Степаныч занялся исключительно отдачей внаймы углов.

Хотя квартира его была и сыра, и грязна, но она всетаки считалась одною из лучших в этом доме и постоянно была полна жильцами. В ней, как я уже упоминал, почти всегда находилось до сорока человек жильцов. За квартиру с них Степаныч брал недорого, по рублю двадцати копеек в месяц с человека, а когда случались приходящие ночлежники, то по пяти копеек за ночь.

Конечно, одними сборами за квартиру Степанычу было бы невыгодно жить с его семейством, и он, по примеру прочих квартирохозяев, производил у себя распивочную торговлю водкою, которой у него выходило от двадцати до двадцати пяти ведер в месяц, и ссужал нуждающихся деньжонками под залог разных вещей за проценты.

Степаныч горько жаловался на существующие в настоящее время порядки, и хотя его жалобы были несправедливы, но имели свои причины. Прежде дела его действительно шли лучше: кроме торговли водкою и ссуды под залог, он покупал и темненький товарец и держал иногда у себя беспаспортных, от которых ему всегда была хорошая выгода.

А теперь Степаныч, как человек осторожный, не принимал уже ничего подозрительного и оставлял ночевать у себя без прописки только известных ему людей. Он не столько боялся мировых судей, сколько полиции, которая очень многих хозяев этого дома лишила столицы. Между прочими сенновскими привычками у него осталась привычка беспрестанно браниться площадными словами, несмотря на присутствие жены и детей, и насмехаться над другими, особенно над пропившимися у него же жильцами.

Но к чести его нужно сказать, что он был во многом лучше других хозяев этого дома. Он не затаивал, не захватывал вверенного ему на хранение или под залог, не спаивал и не обирал сам своих жильцов, хотя и не мешал

другим это делать, притом же он пропившихся у него жильцов снабжал кое-какою одеждою на работу и давал по пятаку на обед и на ужин.

Степаныч считался богачом, утверждали, что у него хороший капитал — не один десяток тысяч рублей, но он был крепок, и никто не знал в точности его средств. Все видели только, что Степаныч никогда не нуждается, за квартиру платит исправно, никому ничего не должен; его четыре больших сундука в квартире и отгороженная им большая кладовая на чердаке битком набиты разною покупною и закладною одеждою, а в долгах, за одними жильцами, исключая посторонних, у него постоянно ходит до трехсот рублей. В квартире нет ни одного жильца, который не был бы должен Степанычу, а некоторым он доверял иногда красненькую и две. Но, конечно, такое доверие он делал тем, у кого есть заработок или кто получает пенсию. Под пенсионные книжки он доверял не только своим жильцам, но и посторонним. Зато, когда бывали получки, он сам провожал своих должников за пенсией в казначейство, опасаясь, чтобы они дорогою не загуляли, и там, из рук в руки, получал свои долги. Случалось нередко, что получающему от пенсии не оставалось ни копейки; тогда Степаныч давал ему рубль или два вперед, как он выражался, поздравить царя.

Степаныч свыкся с живущим у него народом, знал, когда и как с кем нужно обойтись, как удержать каждого в своих руках, и сразу видел, кому до каких пределов можно поверить.

Хотя Степаныч постарел, не так уже предприимчив, но страсть к стяжанию и скупость его все более усиливались. У Степаныча не пропадала даром ни косточка, ни тряпочка, не могли сгореть ни один лишний прутик, ни одна капля керосина. За провизией на Сенную он ходил постоянно сам, и денной расход его, как он говорил, никогда не превышал полтинника в день на все семейство. Детей своих он баловал, частенько давал по копейке на гостинцы, но вместе с тем водил их в отрепьях, и если требовалось купить что-нибудь из одежды или обуви или книгу для ученья, он день ото дня откладывал эту покупку. Не охотник

был он также покупать себе или жене что-либо новенькое и старался обойтись какими-нибудь переделочками или употребить в дело закладные вещи; посуда же и прочие хозяйственные предметы постоянно им приобретались случайно. Когда же он собирался что-нибудь купить, то обходил весь рынок, выторговывая каждую копейку и упрашивая торговцев уступить небогатому человеку. Страсть к стяжанию у Степаныча доходила до того, что он при своем капитале не стеснялся поводить за полтинник нищего, прикидывающегося слепым или паралучным.

Несмотря на свои шестьдесят четыре года, Степаныч был еще довольно силен и бодр; как я уже упоминал, он редко прибегал к силе, и если ему необходимо было иногда угомонить не в меру расходившегося жильца, он поручал это жившему у него племяннику, о котором я буду говорить позже.

Из жильцов своих Степаныч более всех был расположен к старикам пенсионерам, к нищим и к простым мужичкам, но недолюбливал мастеровых и особенно наборщиков.

— Ох уж эти мне бескишечные голопузы, — говорил он, — они спотворились очень водку пить да любят, чтобы им кто-нибудь приспел, а я-то сам себе приспевал, а не для них.

И действительно, если бы он побольше доверял своим жильцами-наборщикам, то они бы постоянно пили и никогда не пошли бы на работу.

Напрасно было бы описывать всех жильцов Степаныча, но о некоторых из них нельзя не упомянуть.

В углу задней каморки, то есть в отделении для сожительствующих, помещался отставной канонир Петр Федоров Собакин со своей возлюбленной Марьею Хомовой.

Последняя, вдова городового, женщина довольно пожилая, имела троих детей, которые были помещены в каком-то благотворительном заведении. Она отлично умела «подстреливать», т. е. просить милостыню на умирающего мужа и полунагих и голодных детей... Она стреляла на улице, на ходу и по квартирам и каждый раз приносила домой какое-нибудь мужское, женское или

детское белье и рубля полтора или два денег. Часть денег они пропивали вместе с Собакиным, а остальную он или отнимал у нее насильно, или крал у сонной.

Собакин — уроженец Тверской губернии Ржевского уезда. В солдаты он был сдан в семьдесят втором году, и из его формулярного списка видно, что он, неизвестно почему, беспрестанно был переводим из бригады в бригаду, из батареи в батарею, пока наконец не попал в Бобруйскую крепость в исправительные роты за то, как он говорил, что с компанией пьяных товарищей сбросил офицера в реку.

Побыв полтора года в исправительных ротах, Собакин был освобожден и зачислен опять на службу; но тут он заболел и попал в киевский военный госпиталь.

В госпитале ему пришла мысль совсем отделаться от службы. Он начал развивать в себе болезни и притворяться и, наконец, пролежав с лишком полгода, признан был неизлечимо больным и уволен в отставку.

Получив увольнение от службы, Собакин на казенный счет был отправлен на родину, где в скором времени оправился и удачно женился. Но он недолго прожил в семье, начал пьянствовать, издеваться над женою, тащить у своего тестя сначала понемногу, затем побольше и, наконец, будучи послан на мельницу с двумя возами ржи, продал рожь и деньги пропил. Тогда тесть, выйдя из терпения, выгнал его вон из дому, и он явился в Петербург.

Сначала он поступил здесь на какой-то завод, но, проработав с месяц и получив расчет, попал на Сенную, а с Сенной в Вяземский дом, где, пропив не только имевшиеся деньги, но и одежду, принялся «стрелять» — просить милостыню.

В то время только что кончилась турецкая война, и помощь пострадавшим воинам сыпалась со всех сторон. Собакин, прикидываясь, смотря по обстоятельствам, где паралйчным, где хромым, где раненым, для чего надевал чужую кавалерию, являлся во все попечительства, благотворительные учреждения, придворные канцелярии, к лицам высокопоставленным и к частным благотворителям и всюду получал вспомоществование. Кроме того, он, как числящийся неизлечимо больным, выхлопотал себе

ежемесячное трехрублевое пособие, которое получал каждую треть года.

Едва ли можно было найти еще другого такого человека, который сумел бы так искусно притворяться и обманывать самый опытный глаз, но если б и нашелся, то у редкого хватило бы силы и терпения так долго выдерживать напущенную на себя болезнь или юродство. Собакин иногда падал на землю, бился, трясся, начинал тяжело вздыхать и стонать до того, что у него выступал пот, или, прикинувшись слепым, уставлял на какой-нибудь предмет свои оловянные глаза и стоял сколько угодно времени не сморгнув. Он так ловко умел вводить в обман, что доктора не раз, признавая его больным, выдавали ему и очки, и костыли, и всякие лекарства.

Собакин в трезвом виде был тих и робок: его на квартире почти не было слышно, и он редко ходил со двора. Если ему не удавалось выпить, то он частенько ел один хлеб с водою, а не шел просить; но как только выпьет стакана два-три водки, то готов идти куда угодно. Иногда он брал кого-нибудь в провожатые и ходил под видом слепого по рынкам, магазинам и к разным лицам, известным своею добротою, а иногда вооружался костылями и двигался волоча ноги. Но как только, настреляв, подходил к воротам Вяземского дома, то бросал костыли и с песнями, криком и отборною бранью, тряся над головою набранным им подаянием, плясал и скакал по двору.

Когда же ему приходилось получить порядочное вспомоществование, то он брал извозчика и также с песнями и криком приезжал в Вяземский дом, где у Степаныча и в других квартирах нередко в тот же день пропивал свою получку. Пьяный он кричал, ругался, озорничал до нахальства и не давал покою никому в квартире не только днем, но и ночью. Сколько ему ни говорили, сколько ни упрашивали, ни усовещевали, он не слушал, а еще более озорничал. Его можно было унять только силою, но он был очень хитер, и если видел, что до него хотят добраться серьезно, сейчас начинал шутить, смеяться, плакать так, что поневоле на него махали рукой.

Собакин за прошение милостыни был выслан по этапу и лишен столицы на три года. Тогда он приходил

сюда только на несколько дней, чтобы получить пенсию, остальное же время бродил по окрестностям Петербурга, начиная от Царского Села до Чудова, а когда поспевали грибы, уходил в лес за Охту, где проживал до осени в шалаше, собирая грибы и продавая их на Пороховых или на Охте. Теперь его срок кончился, и он свободно прописался на квартире у Степаныча.

Несмотря на все причиняемые им беспокойства, несмотря на его безграничное озорство, Степаныч относился к нему очень снисходительно, потому что Собакин более других оставлял денег в его каморке.

У самых дверей, на отдельной скамейке, занимала место Саша Столетова, по прозванию Пробка.

Сколько лет Пробке, никто не знал, да она сама этого не знала. Ее можно было дать и сорок, и шестьдесят лет, потому что лицо ее настолько было обезображено, что даже самое время отказалось сделать на нем какой-либо отпечаток. Пробка помнила только, что когда-то она была солдатскою дочерью и затем, давным-давно, уже приписана мещанкою в Шлиссельбурге.

Пробка пала еще в ранней молодости и долго находилась в известном тогда на Сенной «Малиннике», а когда поустарела, то хозяйка выгнала ее, и она скиталась в Таировом переулке, в котором существовали заведения еще грязнее, чем в «Малиннике». Наконец она стала уже негодна и для этих заведений.

И вот она перешла в Вяземский дом. Дни она стояла, как и теперь еще стоят подобные ей женщины, — в кабаке; но ее и здесь уже стали обегать. Тогда она завела себе любовника, безногого георгиевского кавалера, который заставил ее добывать ему деньги на пропой. С тех пор Пробка начала «стрелять», но она не заходила дальше Сенной. Ее благотворители были исключительно сенновские торговцы — мясники, рыбаки, зеленщики, селедочники и другие.

Пока был жив ее кавалер, он из своего пенсиона платил по третям за квартиру за себя и за нее, а она обязана была приносить ему каждый день торбу хлеба, говядины для щей и шесть гривен денег. Когда ей случалось не принести положенной контрибуции, он ее бил немилосердно

и таким образом выбил ей левый глаз, все зубы и переломил переносье. А сколько доставалось ее бокам, спине и т. п. — нечего и говорить: я думаю, ни одна ломовая лошадь под кнутом пьяного извозчика не вынесла того, что выпало на долю Пробки. Но она оставалась жива: от нее как будто отскакивали побои, и, вероятно, поэтому она и получила название Пробки.

Лет семь назад Пробка попала в комитет для призрения нищих. Ее назначили к высылке, и она, по совету своего возлюбленного, пожелала отправиться на его родину, в Ростовский уезд Ярославской губернии, куда и он обещался приехать; но вскоре после ее высылки заболел и с пьянства умер.

Пробка, потеряв возлюбленного, недолго пожила на месте высылки и возвратилась, именем Христовым, опять в Петербург. Но ей плохо везло. Ее раз восемь уже возвращали в Ростов, так как, напившись, она буянила и попадала в полицию.

Рваная, грязная, безобразная, с растрепанными волосами. Пробка, шатаясь по корпусам сенновских торговцев, кричала, пела песни и не хуже любого мужика ругалась. Мясники, зеленщики и молодые ребята, ради развлечения, навешивали на нее разные украшения вроде бараньего хвоста, свиного уха и т. п., обливали водой, пачкали лицо грязью, а иногда украшали лентами, цветами.

Пробка ходила на Сенную раз пять в день и каждый раз приносила корзину мелких обрубков говядины, рыбы, зелени, рваных селедок и проч. Все набранное она тотчас же распродавала в Вяземском доме, а деньги пропивала.

Степаныч, отчасти из жалости, а более из-за того, что Пробка немало пропивала у него в каморке и каждый день исправно платила пятаки за ночлег, держал ее без прописки, а когда бывали обходы, то высылал ее в коридор, где она забивалась за мусорные корзины, или прятал ее под нары, застанавливая сундуками.

Я уже упоминал, что в нашей квартире проживали по большей части «стрелки»-нищие, тряпичники и разные мастеровые. Но положительно можно сказать, что во всей нашей квартире, исключая хозяина, не было ни

одного безусловно трезвого человека. Иной, бывало, и не пьет месяца полтора и два, но потом как зарядит, то уж не выходится до тех пор, пока не пропьет с себя все и пока хозяин не перестанет верить.

Редко случалось, чтобы у нас в квартире было тихо; особенно при получках и во время праздников происходил такой содом, что описать трудно.

Исключая своих жильцов, к Степанычу ходило много постороннего народу, то выпить, то с закладами, а потому в праздники в квартире у нас народ толпился, точно в кабаке на ярмарке, с тою только разницею, что там хотя и шумно, но нет такого безобразия и наглого цинизма.

Особенно отличались у нас выходящим из ряда безобразием дни Пасхи и Рождества Христова.

Уже накануне этих праздников не было ни одного трезвого человека, а в самые праздники попойки начинались с раннего утра. Где ни посмотришь — на столе, на нарах, везде стоят сороковки: квартиранты в самом неприглядном дезабилье ораторствуют, поют песни, пляшут. По мере того как хмель начинает кружить головы, собеседники делаются, судя по характеру, или дружелюбнее, или ожесточеннее — в одном углу целуются, а в другом — уже схватились драться, причем как те, так и другие орут во всю мочь.

Ни один праздник не проходил без большого скандала, нередко бывали довольно крупные драки, причем противники не щадили друг друга: белье и одежда летели клочьями, носы разбивались в кровь, под глазами навешивались фонари; но эти наружные украшения являлись только придатками к тому, что попадало в грудь и в бока. Бабы, большею частью, старались вцепляться в бороды. Иногда эти драки отзывались тяжелыми последствиями для здоровья участников, которых приходилось отправлять в больницу.

Но не только в праздники у нас бывали побоища, и не одни пьяные затевали драки. Сам хозяин на свою руку охулки тоже не клал, особенно когда страдали его интересы. Вот один из примеров его расправы с виноватым пред ним человеком.

Один из корзинщиков Вяземского дома заложил Степанычу за рубль и за сороковку сапоги, с условием при выкупе заплатить двадцать копеек процентов. Не имея чем выкупить, он захотел их продать и для этой цели привел с собою двух барышников, надеясь выкупить сапоги и дополучить с них на похмелье. Дело не сладилось: с барышниками он не сторговался и сапоги остались у Степаныча. В это время Степаныч и хозяйка куда-то отвернулись, а корзинщик, видя, что за ним никто не смотрит, схватил сапоги и удрал. Хватились сапог и побежали разыскивать. Корзинщика поймали на дворе, но сапог при нем уже не было — он успел их кому-то передать. Тогда Степаныч с женою притащили корзинщика в квартиру.

— Где сапоги?

— Я не знаю, — отвечал корзинщик. — Я не брал. Утащили, должно быть, барышники.

— Как барышники? Ты, такой-сякой, утащил! Снимай пальто! — кричал Степаныч.

Овладев пальто, Степаныч схватил корзинщика за волосы, повалил на нары и начал бить сперва кулаками, а потом сбросил его на пол и продолжал топтать ногами. Тут только я вспомнил его слова: «Я бить не буду по рылу. А я сделаю тепленьким и мякеньким; будет помнить, как начнет кашлять».

Степаныч бил несчастного воришку в грудь каблуками. Тот просил прощения, плакал, обещался заплатить, но Степаныч не унимался и бил до тех пор, пока измучился.

Место его заступила хозяйка. Хотя она и очень здоровая баба, но скоро устала и отбила себе руки. Тогда она схватила железный прут и, несмотря ни на просьбы, ни на моленья, ни на стоны несчастного, била его этим прутом, пока совсем не измучилась.

Более получаса продолжалось истязание. Хозяин и хозяйка по нескольку раз принимались бить корзинщика и до того остервенились, что страшно было на них смотреть.

Более полувека я прожил, видал много злых, безжалостных людей: видал, как бьют мазурики, видал, как бьют арестанты, но никогда не приходилось мне видеть, чтобы женщина могла до такой степени рассвирепеть.

Но на что всего прискорбнее и возмутительнее было смотреть, так это на одиннадцатилетнего сына этих достойных родителей. Все время, пока продолжалось истязание несчастного, мальчишка стоял с толстым наметельником и беспрестанно совал его то отцу, то матери в руки.

— Вот папа, вот мама, — кричал мальчишка, — вот чем его надо бить, мазурика! Вот этим его лучше проберешь, а то руками-то его бить только измучишься.

На что зачерствелые сердца были у наших жильцов, но и из них многие уходили, отвертывались, зажимали уши, чтобы не видеть и не слышать этого побоища. Никто из нас не осмелился в это время сказать ни единого слова разъяренным хозяевам, потому что большая половина квартирантов находилась в полной зависимости от них, а независимые — слабосильны и боятся за свою шкуру.

Наконец несчастного выбросили за дверь в одной рубашке. Как он добрался к себе, я не знаю.

— Ну, уж досталось же ему, — говорил Степаныч, — не пропадай мое даром. Теперь сыт будет. Пожалуй, и не миновать больницы. Вот так-то лучше, а то, что тут, веди в участок, да после пугайся с ним, ходи к мировым; а нонче суд-то каков... — И он только махнул рукой.

Впрочем, подобные побоища в этом доме были не редкость, и в нашей квартире они случались не в первый раз; бывало, иной после драки уходил в больницу и уже более не возвращался.

Это последнее время моего пребывания в Вяземском доме я вел себя так же очень слабо, как и прежде: случалось так, что недели по две и более я пьянствовал и пропивал с себя все до последней нитки. Но я еще не погряз совсем, и мне крайне надоела эта беспутная жизнь. Я постоянно искал случая вырваться из трущобы и изменить свое положение. Конечно, это легко можно было сделать: это зависело от меня самого; но я, при всем желании, не мог совладать с своею слабостью и взять себя в руки.

Я давно имел мысль сделаться книгоношею — торговать мелкими книгами в провинции. И мне хотелось торговать не теми книгами, которыми обыкновенно торгуют

владимирские офени. Я желал разносить издания Святейшего синода, Общества распространения религиозно-нравственного просвещения, Комитета грамотности и другие популярные, но полезные книги. Я сознавал, что от этой торговли не может быть большой выгоды, но мне хотелось попробовать провести это полезное, по моему понятию, дело в провинции.

Я многим высказывал об этом моем желании, и все его одобряли. Но у меня не было средств осуществить мою мысль, а мои знакомые опасались помочь мне в этом предприятии. Да оно и понятно: люди, знавшие всю мою жизнь, знавшие мою слабость, хотя и верили в искренность моего желания, но все-таки должны были предполагать, что я и на этом деле не устою твердо. Да я и сам за себя крепко ручаться не мог; мне только думалось, что при этом занятии я был бы вдали от тех случайностей, которые так часто заставляли меня искать утешения в чарке.

Наконец для меня случайно мелькнула надежда осуществить мое желание. Накануне праздника Пасхи меня посетили в Вяземском доме три господина: Потапенко, Сергеенко и Минский. Они меня раньше не знали, обо мне им сообщил Канаев, и интересовались они совсем не мною, а тою трущобою, в которой я жил. Но все-таки они знали о моем положении и на праздник принесли мне довольно приличный костюм, который я и носил все лето.

Из этих господ дружелюбнее других отнесся ко мне Сергеенко. Я, между прочим, высказал ему о своем желании бросить трущобу и идти в провинцию торговать книгами. Он принял это, по-видимому, к сердцу и пообещал помочь выполнить мое желание. Через неделю Сергеенко сообщил мне, что моему предприятию сочувствует и Потапенко и даже предлагает чрез его посредство снабдить меня нужным для этого товаром из склада «Посредник». Это было совершенно верно. Потапенко, по словам Сергеенко, в день своего отъезда за границу написал письмо Эртелю и просил его выдать мне квитанцию на получение товара из склада.

Но я не дождался этой квитанции и в конце дня уехал в Углич, попросив моего племянника получить назначен-

ную мне квитанцию, набрать по ней народного товару и выслать мне на родину.

Но этому не суждено было осуществиться: впоследствии оказалось, что никакой квитанции на мое имя не было.

Я поспешил в Углич потому, что мне хотелось посмотреть там на торжество освящения вновь реставрированного дворца царевича Димитрия.

Я приехал туда за день до торжества и был поражен чистотою города и какою-то суетливою деятельностью наших граждан. К этому дню ожидали прибытия великого князя Сергея Александровича, ярославского губернатора, архиепископа и других почетных гостей.

Можно сказать, что с самого начала своего существования Углич никогда так не украшался и не чистился, как украсился к этому дню. Постоянно мусорный и в последние десятки лет какой-то полуразрушенный, он на этот раз был неузнаваем. Все церкви, торговые ряды, дома и заборы были починены и выкрашены; тротуары исправлены, улицы выметены и везде насыпан был песок. Работа всюду так и кипела, и положительно не хватало рук, хотя на это время разных мастеров, как то: штукатуров, маляров и прочих, понаехало более чем вдвое против других городов. За городским рыжишником оборвали почти все кусты черники и брусники, чтобы наделать венков и гирлянд для украшения домов. Все домовладельцы запаслись флагами, более богатые — выписали их из Петербурга, а беднякам их выдала городская управа. Ученики городских училищ в первый раз еще облачены были в форму и в фуражки с вензелями. Девочки и приютские дети также были одеты в новые костюмы.

Целых три дня происходили репетиции. По лестнице, от пароходной пристани, устроенной на этот раз против дворца, расставляли детей — учили их приветствовать высоких гостей, бросать им под ноги цветы и петь гимны. На площади между собором и городскою управой выезжали экипажи, которые должны были участвовать в церемонии. Тут были коляски, кареты и пролетки, запряженные одною, двумя и тремя лошадьми. Около этих экипажей на

резвом иноходце гарцевал г. Троянов. Это был очень ловкий и красивый господин из военных, в турецкую кампанию служивший под начальством Скобелева, а теперь занимавший должность акцизного чиновника и вместе с тем состоявший в нашем городе устроителем и распорядителем всех церемоний, спектаклей и т. п. Троянов по нумерам выкрикивал кучеров и указывал каждому, где он должен занять место во время церемонии. Затем он несколько раз быстрой рысью пропускал экипажи, а собравшуюся толпу заставлял махать шапками и как можно громче кричать «ура». Тут же на площади расставляли охрану, состоявшую из граждан Углича, волостных старшин и крестьян; последние разделялись на две категории — одни были почетные, т. е. те почтенные зажиточные мужички, которые шли в охрану бесплатно, а другие назывались рублевые, так как нанимались от земства по рублю.

Одним словом, угличане выбивались из сил, как бы роскошнее и торжественнее встретить высоких гостей и провести этот многозначительный для них день.

Я не буду описывать самого торжества потому, что о нем уже писали во многих газетах наезжавшие тогда корреспонденты и даже вся церемония воспроизведена была в рисунках. Но все-таки следует сказать, что торжество было вполне удачно, даже величественно. Не знаю, какое впечатление вынесли посторонние люди, приехавшие на этот праздник, что же касается угличан, то они были, что называется, в восторге от своего праздника.

Теперь я перейду к тому, как я провел это лето на родине и что мне удалось узнать и увидать в провинции.

Я уже говорил, что у меня на родине не было никого близких, кроме мачехи и ее зятя-вдовца. Но последнего я до этого года совершенно не знал, потому что в то время, когда я жил в упомянутом выше «Батуме», мне было совестно заявлять ему о своей личности. На этот же раз, когда я приехал, как настоящий питеряк, в приличном костюме, я не преминул ему отрекомендоваться, и мы с ним скоро сошлись, даже побратались.

Этот мой зять — живописец: он держит несколько человек мастеровых и занимается преимущественно ра-

ботами по церквам. В это время работы у него производились в уезде, там же находилась и моя мачеха, исправляя у него должность хозяйки.

На день торжества она также приезжала в Углич, а на другой день пригласила меня погостить к ним в село Никольское, чему, конечно, я был очень рад, потому что на самом деле мне в Угличе проживать было негде.

Село Никольское, или, как его иначе называют, Николы Мокрого, находится в двадцати верстах от Углича, в стороне от большой Ярославской дороги. Оно расположено не в особенно благоприятной местности — кругом его места лесистые и болотистые. Но мне, после трехлетнего пребывания в столице, где я жил преимущественно в грязных и вонючих квартирах, здесь очень понравилось.

В первые дни я много гулял по полям и ходил на речку купаться, но затем мне вздумалось ознакомиться и с самым селом.

Село Никольское прежде принадлежало к Юхотской вотчине графа Шереметева. Оно не особенно большое, в нем считается с небольшим тридцать дворов крестьянских, и в прежнее время, несмотря на то что у крестьян было несравненно более земли, а графский оброк не доходил и до шести рублей с души, село это, по словам стариков, только и славилось одною церковью, крестьяне же жили так себе, посредственно; не было таких богачей, какие были в других селах и деревнях этой волости.

В настоящее время село это процветает. В нем находятся канцелярия и квартира станового пристава, почтовое отделение, волостное правление и волостной суд и довольно большое двухклассное училище. В нем есть два трактира и четыре лавки. Но торговый народ преимущественно пришлый, и можно сказать, что только этот торговый народ и богатеет, остальные же крестьяне и теперь живут вообще небогато. С приливом народа хотя цивилизация и коснулась несколько этого села, но выразилось это только подражанием моде. Никольское можно теперь считать как бы уголком провинциального города. В нем уже не встретишь серого мужичка: все ходят в пиджаках и в пальто, а женщины еще более подражают городской моде.

Год тому назад в Никольском был большой пожар. Сгорело более тридцати домов. Пожар этот случился от поджога, который учинил свой же односельчанин за то, что общество за прежние его — далеко не благовидные и вредные — проделки грозило выслать его на поселение. Впрочем, когда я там жил, со времени пожара хотя и истекало пять месяцев, но дело это еще не разбиралось, и суд не установил виновности поджигателя, — он содержался еще под предварительным арестом.

Несмотря на то что, по рассказам очевидцев, пожар был ужасный, — у многих сгорело не только все имущество и вся домашняя птица и скот, но были и человеческие жертвы: сгорели четыре человека, — все-таки пожар этот как крестьянам, так и другим погорельцам не принес большого убытка. Помимо того что погорельцы получили страховые и пособие от казны по 15 рублей на дом, к ним еще со всех сторон стекались частные пожертвования как деньгами, так и имуществом.

Надо сказать, что в старые годы Юхотская Шереметевская вотчина славилась богачами, преимущественно торговцами в Петербурге и в Москве (да и теперь еще очень многие из них имеют там большие заведения), и потому погорельцы, главным образом, и направили свои просьбы к землякам. Подаяния были щедрые. Присылали не только деньгами, но и одеждой и разным домашним скарбом. Все погорельцы повыстроили дома гораздо лучше тех, которые у них сгорели. Но, кроме того, мужички сами признавались, что на те же подаянные деньги они почти все лето гуляли.

Эти пожертвования, быть может, и еще бы увеличились, если бы мужички вели себя поскромнее — поменьше гуляли на пожертвованные деньги, а другие лица не пересаливали бы в своих просьбах.

Не имея в Никольском никаких занятий, я также часто заходил на кладбище, — перечитывал и записывал интересовавшие меня надписи на памятниках. Все эти надписи, как я мог заметить, воспроизводились в пятидесятых и в начале шестидесятых годов, как будто в то время на них существовала мода, а раньше и позже это-

го времени некому было их писать. Для примера приведу некоторые из записанных мною эпитафий:

1) Сей камень Вечной,
над могилой положен
От Жалости Сердечной
Родных и Всех друзей.

Девица Колкунова 37 лет скон. 66 г.

2) Супруга иерея Александра,
се памятник печальн
сокрыта здесь в земле
Екатерина его достойная
жена ума и сердца в ней
доброты сполна силно
угоден богу тот кто
жил так как она.
Постой заплачь дитя
се Катенька лежит
чувствительный супруг
здесь прах ее сокрыл,
с надеждою оград в ней
на веки схоронил
и с смертию ее к нему
смерть его бежит.
Увы! прочтя сие
кто трогаться не станет
чье сердце не вздохнет
и чья слеза не капнет.

Ты Катя оставя супруга и детей на 50 году на небо переселилась к создателю твоему природы всей прожив со мною 32 лета на век сокрылась в 27 день августа 1858 года.

3) Здесь лежит дражайшая детям мать
которую нам до общего воскресения не видать,
ставим памятник сей не для сего украшенья
и просим Бога о душе ее прощенья
почто же и мы сей участи смертной не страшимся
по времени и сами в той же нроб вселимся,
сей памятник воздвигнут любящими детьми ее.

Акилина Табунный скон. в 1852 г.

(Орфография подлинников.)

У меня записано и еще несколько подобных эпитафий, но полагаю, что для примера и этих довольно.

Хотя в Никольском есть и достаточно образованные люди, как, например, становой пристав, почтмейстер, два учителя, два молодых священника и два диакона, но мне с ними не пришлось хорошо познакомиться и сойтись. Да я и вообще мало с кем сходился, мало бывал и в компании, но не могу умолчать, что в этом селе привлек мое внимание простой мужик-трактирщик Ф. С. Маз-в.

Маз-в уроженец не тамошний, он тоже заезжий человек в этом селе, как и прочие торговцы, но он проживает здесь более тридцати лет и давно уже сделался общественником этого села.

Несмотря на то что весь свой век он провел за стойкой и этим составил себе капитал, все-таки он сохранил в себе настолько доброты и честности, что заслужил уважение и почет почти всей волости и всех знающих его людей. Хотя торговля водкою и составляет его промысел, но он не только никогда и никого не втравлял в пьянство, а даже удерживал крестьян от него. Нередко случалось, что он от загулявшего мужика отбирал имевшиеся у него деньги и тут же посылал за его бабой, которой и передавал их. Кроме того, к Маз-ву прибегает почти вся беднота за одолжением, и он, почти никогда не отказывая, ссужает под обеспечение или просто на слово и не берет ни с кого никаких процентов. Человек он необразованный, но грамотный и любитель просвещения: все свободное время он проводит за книгами или за газетами, а детей своих обучает в гимназии. Это единственный кулак, которого мне пришлось встретить, сохранивший в себе совесть и добрую душу. И я о нем вывожу не собственное свое мнение, а общий голос, именно то, что слышал от всех знающих его людей.

Мой зять по своим делам часто ездил в Углич и по другим селам нашего уезда. Я почти постоянно сопровождал его в этих поездках, и они мне доставляли большое развлечение потому, что я мог видеть новые места, новых людей и хотя отчасти знакомиться с ними.

В Углич мы приезжали обыкновенно ненадолго — только за покупками материалов или по другой какой

надобности, а потому о своем родном городе мне теперь писать нечего. В жизни его, по окончании торжеств, мало что изменилось: пошла такая же спячка, как и прежде, только ожидание страшной азиатской гостьи заставило угличан еще несколько почиститься. К торжеству они чистились снаружи, а теперь пришлось очищать и внутри.

Некоторым нашим гражданам, привыкшим уже к родной грязи, это казалось излишним. «Это доктора все выдумывают, — говорили они, — им делать нечего, много уж их больно, а служить-то негде, вот они и выдумали холеру. А по-нашему, ежели Бог не попустит, так никогда ничего не будет, а ежели посылает Господь что за грехи наши, так уж никакой санитарией не убережешься». Но немного было у нас людей с такими понятиями, — большинство признавало пользу санитарии и других убеждало ее придерживаться.

Но здесь, может быть, нелишним будет упомянуть, что у нас, в Угличе, во вновь реставрированном дворце царевича Димитрия устраивается, по примеру Ростова, музей церковных и исторических древностей, и это обстоятельство породило новый тип барышников. Я знаю человек пять и более, которые оставили свои прежние торговые занятия и принялись исключительно отыскивать антики. Эти античники скупают все, начиная с древних икон, рукописей и кончая битыми изразцами и поломанными старыми прялками. Некоторые из них не ограничиваются одною нашею местностью, но разъезжают отыскивать старинные вещи и по другим городам. И действительно, им попадаются иногда довольно редкие предметы, но вместе с тем они зачастую приобретают и такой хлам, какой в Петербурге на развалке ни во что не ценится. Впрочем, у них на все находятся покупатели — часть своих товаров они продают тут же для музея, а прочее сбывают в Ростов или в Москву.

Средства нашего музея еще очень скудны, а потому коллекция находящихся в нем предметов невелика и небогата; если и можно в нем встретить ценные и редкие вещички, то все они дарственные.

В уезде нам чаще, чем в других местах, приходилось бывать в селе Большом Ильинском.

Село это находится на большой дороге, идущей из Углича в Ростов. Оно хотя и называется большим, но на самом деле очень невелико: в нем считается только 22 двора. Но в нем есть почтовое отделение, волостное управление, двухклассное училище и богатая церковь, при которой три священника. В нем есть также несколько трактиров и других торговых заведений, а по воскресеньям бывает порядочный базар.

Село это, несмотря на малочисленность его коренных обывателей, довольно богатое как по постройкам, так и по тому, что из числа его крестьян есть не только люди состоятельные, но и капиталисты.

Впрочем, не одно это село, но и вся Ильинская волость считается богатою, и народ в ней, так же как и в Юхотчине, достаточно просвещенный. Крестьяне этой волости живут преимущественно на стороне, кто в Москве, кто в Петербурге, и почти исключительно торговцы — овощенники, мелочники, мясники и зеленщики.

В Ильинском мы постоянно останавливались у трактирщика Р. К. Г-ва, о котором я уже упоминал в описании моего этапа. На этот раз мне пришлось поближе познакомиться с этим деловым и предприимчивым человеком.

Г-в уроженец не этого села, а из деревни, отстоящей от него верстах в трех. В молодости своей он жил в Петербурге в овощной лавке и скопил там небольшие деньжонки. Приехав на родину в начале шестидесятых годов, т. е. в то самое время, когда кончилась откупная система, он открыл в Ильинском питейное заведение. В то время патенты на торговлю питиями были дешевые, да и водка — также; к тому же и торговля ею велась совершенно бесконтрольно, а потому в скором времени Г-в порядком разбогател от этой торговли.

Через несколько времени он приписался в Ильинское общество и взял себе надел земли. Но не надел его прельщал, ему хотелось иметь голос в селе и сделаться в нем и во всей волости заправилою. Действительно, в скором времени его стали избирать на разные общественные должности, и, наконец, он попал в волостные старшины. В старшинах он прослужил, как сам мне рассказывал, тринадцать лет;

да, может быть, служил бы и сейчас, если бы не новое положение, по которому торгующие питиями теперь не могут быть избираемы на общественные должности.

В Ильинском, около самого церковного погоста, было очень топкое место — настоящее болото. Г-в, как семейный мужик, облюбовал это место и выпросил его у общества в свою собственность в обмен того надела, который он имел. Крестьяне были рады, что он им отдает свою удобную пахотную и сенокосную землю и берет от них болото. Но Г-в хорошо знал, что делал. Он прежде всего выкопал большой пруд и спустил в него разлившуюся по всей местности воду, а эту местность стал заваливать щебнем и разным мусором с песком, и в скором времени здесь образовалась очень большая и ровная площадь. Так как это место прилегает почти к самой церковной ограде, у которой в базарные дни располагались все торговцы, то Г-в на своем месте устроил питейное заведение и трактир, а затем открыл и лавку, в которой продаются всевозможные товары; в проезде же, против церковной ограды, Г-в выстроил торговые ряды в виде крепких и просторных помещений. Купцы, наезжающие из Углича в Ильинское торговать, наняли у него эти помещения, потому что они в самом деле лучше и удобнее тех деревянных навесов, которые они прежде нанимали от церкви. Тут можно поместить товару несравненно больше, а иной тяжелый товар, как, например, соль и т. п., можно оставлять до следующего базара.

Через это удобство базары в Ильинском стали улучшаться, да и самое село стало процветать. Г-в нажил солидный капитал. Ему валились деньги отовсюду — и от общественных должностей, которые он занимал, и от аренды за свои помещения, и от собственной торговли. Теперь на том месте, где было болото, у Г-ва красуется очень большой двухэтажный дом, в котором помещаются овощенная и мелочная лавка, нисколько не уступающая столичным, довольно просторный и негрязный трактир с садом, а далее понастроены флигеля, в одном из которых находится этапный дом и разные службы, а между всеми этими постройками, вокруг того пруда, в который он спустил воду из болота, разведен очень недурной сад;

в упомянутом же проезде, против церковной ограды, он теперь возводит уже каменные торговые ряды.

Впрочем, несмотря на ум и предприимчивость, в Г-ве все-таки виден кулак: он при всяком удобном случае готов пользоваться обстоятельствами и, не выходя из границ законности, способен прижать всякого. Если ему и приходится делать что-либо полезное и доброе для других, то и это он старается сделать с заднею мыслью — или из тщеславия, или из-за того, чтобы впоследствии получить пользу.

Рядом с селом Ильинским, чрез небольшой ручей, находится земля крестьянина собственника М-на.

М-н родился в нищете: мальчишкою он нанимался на лето в подпаски, зимою ходил по миру, а в молодости был что-то вроде прислужника при Ильинской церкви и, понаучившись от кого-то серебрению риз на иконы, занимался и этими поделками. Мастер он, говорят, был очень плохой, но зато обладал способностью угодить и прислужить каждому человеку.

Лет пятнадцать и более назад по Ильинской волости славился как своим богатством, так и влиянием крестьянин села Воскресенского-Поречья, известный в Петербурге придворный поставщик — царек, как его называли, всех мелочников[1] — Филимон Кирсанович Соколов. Где и при каких обстоятельствах удалось М-ну подвернуться на глаза этому богачу, я достоверно не знаю, но только Соколов заметил в нем способности не мастерового, а ловкого торговца и, взяв к себе в Петербург, поставил буфетчиком в одном из своих многочисленных заведений.

Но не всегда бывает способен в столице тот, кто в деревне считается деловым человеком: тут мало одной ловкости и услужливости, а нужно быть еще и специалистом — иметь опыт в деле. Так случилось и с М-ным. Он, несмотря на свою расторопность, не мог исправлять возложенного на него дела. Но все-таки он не потерял ни доверия, ни расположения своего хозяина, и последний мог ему только сказать: «Ты, брат, здесь не годишься, а поезжай-ка опять в деревню, я у себя в селе открою тебе кабак».

[1] Имевший в столице более шестидесяти мелочных лавок, кабаков и других торговых заведений.

Опытный Соколов не ошибся. М-н в деревне действительно сделался настолько ловким торговцем, что сумел опутать и своего хозяина. Торговал он в селе довольно порядочно, но так, что хозяин для себя пользы не видел, а потому и предложил ему приобрести открытое им заведение, с условною выплатою, в собственность. М-ну только это и нужно было. Но его средства были невелики, притом же ему следовало платить по условию, а между тем, во что бы ни стало, ему хотелось быть капиталистом. Для достижения своей цели М-н не был разборчив на средства и прежде всего подделался к одной пожилой вдове, у которой было тысячи три рублей, и женился на ней. Имея в своих руках женины деньги, он, зная по опыту, что в Ильинском на большой дороге дело вести будет гораздо выгоднее, чем в Воскресенском, купил себе рядом с селом пустую и неудобную землю и выстроил на ней большой дом, в котором, по примеру Г-ва, открыл трактир и лавку.

Первое время он жил с женою хорошо, был очень ласков и уважителен и вместе с тем сошелся также и с ее братом, у которого тоже был капиталец в тысячи две рублей. Он задумал воспользоваться и его капиталом и для этого предложил ему сделаться компаньоном в своих предприятиях, конечно, по-родственному — на слово, без всяких формальных условий. Родственник был недальновиден и, поверив М-ну, как близкому человеку, вручил ему весь имевшийся у него капитал.

Забрав у жены и от шурина деньги и укрепив все имение за собою, М-н не сразу, а постепенно начал к ним охладевать и придираться, а затем чрез несколько времени совершенно отстранил их от всякого вмешательства в свое хозяйство. Наконец он довел дело до того, что шурина совсем не стал принимать к себе, жену выжил из дома, дав ей небольшую избушку на задворках, а сам завел любовницу.

Теперь М-н ведет свои дела отлично. В трактире и в лавке он торгует недурно и, кроме того, через дорогу, против своего дома, на имеющейся у него там земле, выстроил еще большой дом, который приносит ему также хороший доход, потому что в нем находится почтовое отделение и квартиры почтмейстера и земского врача.

Как торговец, он замечательно подделистый человек, — знает, как кому уважить, как с кем обращаться, даже нищих — и тех он умеет завлекать к себе.

В начале июля мой зять отправил часть своих мастеров на работу в село Губачево и просил меня ехать с ними для присмотра. Губачево находится в сорока верстах от Углича и немного в стороне от большой Ростовской дороги. Село это довольно порядочное, в нем 60 дворов, и расположены они на четыре посада вокруг церковного погоста. Все строения хотя и не отличаются красотою, но зато просторны и прочны: здесь я не видал ни одной обветшалой или покосившейся избушки. Местность вокруг села очень красивая и здоровая, высокая, гористая и лесистая. Жители села мне тоже очень понравились: здесь еще сохранилась старинная русская патриархальность и простота. Крестьяне от старого до малого вообще почтительны, скромны и добродушны. С каким-то особенным удовольствием я всегда смотрел на детей, которые при встрече с взрослыми, хотя бы и совершенно незнакомыми, непременно снимут шапку и поклонятся. Это мне напоминало то старое время, когда я был маленьким и у нас в Угличе заставляли детей отдавать почтение старшим.

В двух или в трех верстах от Губачева, за большою дорогою, есть деревня Кожлево, и в этой деревне находится довольно богатая лавка купца-крестьянина В. М. Щер-ва. Мне не раз приходилось там бывать за разными покупками и, между прочим, познакомиться с деятельностью этого предприимчивого и сметливого человека.

Щер-в сначала занимался тем, что скупал по деревням яйца и перепродавал их раньше в Угличе, а потом возил в Москву и в Петербург. Как человек деятельный и аккуратный, он при этой торговле скопил деньжонки и открыл лавку в торговом селе Высокове, отстоящем от его деревни в восьми верстах, и затем, по мере того как торговля его стала расширяться, он и в своей деревне тоже устроил лавку.

Но не эта торговля доставила ему громкую известность по окрестности, а то, что Щер-в при своей торговле открыл что-то вроде почтового отделения: он начал принимать

письма для отправления и получать их с почты для передачи окрестным крестьянам. Всегда точный и аккуратный, он никогда не задерживал корреспонденции и безотлагательно отправлял данные ему письма и передавал по назначению получаемые, чем и заслужил расположение своих земляков и вместе с тем увеличил обороты своей торговли.

Письма, денежные пакеты и посылки, отправляемые на Щер-ва, всегда попадают в руки настоящего получателя скорее, чем если бы были посланы прямо на имя последнего, потому что Щер-в не пропускает ни одного почтового дня и всегда аккуратно, в день прихода и отправления почты, является в почтовое отделение в Борисоглебскую слободу, отстоящую от его деревни верстах в тридцати. Отправитель простого письма, принеся ему оное и заплатив за марку 8 копеек, как и везде за них платится в частной продаже, может быть вполне уверен, что его письмо не залежится и с первою почтою будет отправлено; такой же порядок ведется и с денежными пакетами и с посылками, но только тогда взимаются проценты за отправление.

При получке же простых писем адресат платит Щер-ву по 3 коп. за каждое, а при получке денежных пакетов и ценных посылок получатель обязан платить ему также процент с рубля, а если корреспонденция на большую сумму, то берется и $^{1}/_{2}$ процента.

Крестьяне, производящие свою переписку чрез Щер-ва, находят это очень удобным и выгодным по крайней мере потому, что им не приходится тратить время на проезд в почтовое отделение. А Щер-ву это дело и еще более выгодно, так как количество получаемых им с почты простых писем почти постоянно бывает около трехсот штук в неделю, денежных пакетов в неделю получается до сотни, а посылок несколько десятков. Отправление же простых писем бывает и более трехсот в неделю, но денежных пакетов и посылок менее, чем получается.

Такое дело, как мне рассказывал его сын, особенно если оно ведется в порядочных размерах, выгодно еще и потому, что, кроме известного процента, который оно приносит за отправку и приемку корреспонденции, каждый адресат невольно делается и их покупателем.

Большинству крестьян, для которых Щер-в получает деньги, приходится и кредитоваться у него же; но он никогда из получаемых с почты денег не удерживает своего долга — разве только при передаче пакета напомнит о нем. Впрочем, он сам ежегодно перед Нижегородскою и Ростовскою ярмарками уезжает собирать долги в Москву и в Петербург к тем должникам, которые живут при каком-либо деле, а семейства их у него кредитуются.

У Щер-ва пять сыновей. Троих старших он с детства отвозил в Петербург для обучения торговле и каждого из них отдавал в разные торговые заведения: так, старший у него отдан был в овощенную и зеленную лавку, второй — в железную и скобяную, а третий — в кожевенную. По мере того как они делались способными понимать то дело, к которому приучались, он брал их домой и там вручал торговлю каждому по его специальности. Но последних двух сыновей он уже приучает к делу около их братьев. Теперь у Щер-ва, кроме Высокова и Кожлева, имеется еще торговля в селе Давыдове Ростовского уезда, и во всех трех местах принимается и выдается корреспонденция. Годичные обороты по торговле у него доходят до восьмидесяти тысяч в год. Но все-таки русский торговец не может вести дело безусловно честно. Так и Щер-в. Имея в своих руках постоянно тысячи чужих денег, он не утянет, не задержит их, не станет порочить своего имени, но при торговле не прочь обсчитать или обвесить, и если видит, что заборщик не может обойтись без его кредита, то с таким уже мало церемонится. Такому заборщику сойдет и залежалый и даже попорченный товар, да и цену он возьмет дороже, чем за хороший. Конечно, сам Щер-в этими мелкими отпусками мало занимается: у него по горло и более нужного дела, но это проделывают его дети и, без сомнения, с его ведома.

Этим я закончу свои воспоминания. Довольно. Теперь мне и в самом деле надо подумать, как век доживать.



Петербургские книгопродавцы-апраксинцы и букинисты

В Петербурге, в старые годы, то есть в половине текущего столетия, книжная торговля сосредоточивалась преимущественно на Невском проспекте, в Гостином дворе и в Апраксином рынке, или, как тогда называли, в Апраксином дворе. Кроме того, несколько магазинов находилось по Садовой улице против Гостиного двора.

По приезде моем в Петербург, в 1852 году, я помню по Невскому проспекту магазины: Шмитдорфа, Юнгмейстера, Смирдина, Базунова и Печаткина, в Гостином дворе — Исакова, Овсянникова и Свешникова, а с 1853 года открылся уже и магазин Маврикия Осиповича Вольфа.

По Садовой улице в то время находились книготорговли: Глазунова (существующая с 1782 года и до сих пор), Кораблева и Сирякова, Лоскутова, Полякова, Панькова, Лисенкова и Масленникова, впоследствии Шигина; затем еще существовала книжная лавка Терского по Чернышеву переулку в доме Пажеского корпуса.

Но я не намерен описывать торговлю больших магазинов, потому что лично мало знаю об этой торговле, а сообщать сведения из посторонних источников нахожу неудобным, так как нельзя всегда поручиться за верность чужого рассказа.

Вследствие этого я постараюсь описать торговлю книгами только в Апраксином и Александровском рынках, на ларях, находившихся в разных местах города, и букинистов, разносивших книги в своих оригинальных мешках.

I. КНИГОПРОДАВЦЫ-АПРАКСИНЦЫ

В Апраксином рынке, в старину, как рассказывают, торговля книгами производилась только на развалке и с рук[1]. Основателем же постоянной торговли в лавках считают Василия Васильевича Ходмушина. Но я этого с точностью не могу утверждать, потому что когда я поступил в Апраксин мальчиком, то там книжных лавок было уже в изобилии. Там существовала даже особая книжная линия.

Эта линия, как и большинство прочих торговых линий Апраксина рынка, состояла из небольших деревянных лавок, построенных не корпусами, а каждая особо, но тесно сплоченных между собою. У каждой из лавок, снаружи, понаделаны были прилавки и столы, на которых торговцы выкладывали кипы разных старых и новых книг и журналов, а также раскладывали поодиночке дешевые, преимущественно московские издания, с заманчивыми названиями и с обложками, украшенными картинками трагического содержания.

Всех книгопродавцев, или, как их просто звали, книжников, в Апраксиной рынке до пожара, бывшего там в 1862 году, находилось человек до двадцати.

Из числа их более прочих выделялись как состоятельностью, так и деловитостью — Яков Васильевич Матюшин, Иов Герасимович Герасимов, Василий Васильевич Холмушин и Дмитрий Федорович Федоров, но у каждого из этих торговцев была своя специальность.

---

[1] Не помню, где-то я читал, что и основатель фирмы Глазунова начал здесь же свою торговлю, раскладывая товар на рогожке. — *Здесь и далее примеч. Н. И. Свешникова.*

Яков Васильевич Матюшин раньше служил в книжной торговле Ф. Панькова, а в 1815 году начал уже вести дело самостоятельно. Матюшин держался торговли более старыми книгами, русскими и иностранными. Он был в полном смысле знаток книжного дела, обладал замечательною памятью, и, кроме того, у него был особый нюх, как иногда выражались о нем. Этот нюх заключался в следующем: если какая-нибудь книга или журнал, выходившие в свет, обращали на себя внимание публики, то он наверняка знал, что это издание разойдется, и потому всегда скупал попадавшие на рынок экземпляры и приберегал их до более благоприятного времени, когда они подберутся в магазинах и их можно будет продавать втридорога. С этою целью он ежедневно, по утрам, обходил других книжников и осведомлялся, не приобретали ли они чего-либо новенького. Прочие книжники, особенно небогатые, охотно показывали ему свои приобретения и так же охотно продавали, если он что-либо выбирал, потому что продать Матюшину часто было выгоднее, чем постороннему покупателю. Он любил книги и хорошую, редкую из них никогда не выпускал из рук и иногда платил довольно высокую цену.

Зато он сам держался крепко товара, не торопился продавать и за некоторые книги назначал буквально чудовищные цены. Для примера приведу следующий факт.

Однажды меня с товарищем гусарский офицер попросил достать «Дворянское гнездо» Тургенева. Отдельного издания этой книги еще не было, и в редакции «Современника», где она печаталась в первом номере 1859 года, тоже невозможно было достать этой книжки. Мы и отправились искать на Апраксин. Сначала мы обошли всех книжников, и так как ни у кого не оказалось этого номера «Современника», то принуждены были обратиться к Матюшину.

— Яков Васильевич, нет ли у вас первого номера «Современника» за прошлый год? — спрашиваем мы.

— Вам «Дворянское гнездо» нужно? Да? Есть, — говорит Яков Васильевич, — есть, и хороший экземпляр найдется, чистый.

— А сколько вы возьмете?

— Десять рубликов.

— Что вы, Яков Васильевич, господь с вами, за номер журнала десять рублей? Да это не слыхано!

— А не слыхано, так вот слушайте: десять рублей — меньше я не возьму.

— Да у нас барин-то, — говорим, — взбесится, скажет, как это возможно: десять рублей за такую книжку.

— Ну и пусть его бесится. А вы с него меньше пятнадцати рублей не берите, а нет — так пускай он сам поищет, а ко мне придет, я с него и двадцать спрошу. Надо, так даст, а не надо, так нечего и покупать такую книжку.

На этот раз мы не купили у Якова Васильевича книги, а прежде объяснили барину цену, и он велел нам принести ее за двенадцать рублей, а Яков Васильевич с десяти рублей скинул нам два рубля.

— Вот так-то лучше, я нажил, и вы наживете, а то что господ баловать: я говорил вам, что надо — так даст; наверно, его какая-нибудь барышня просила достать этот роман, — говорил он, завертывая книгу, и затем, когда мы выходили из лавки, добавил: — Если потребуется, так есть еще экземпляр, тоже хороший, чистый.

Вначале я упомянул, что Матюшин обладал хорошею памятью. Упомнить книгу, раз бывшую в руках, и особенно книгу редкую или ценную, и каждый книгопродавец упомнит, если только он заинтересован своей торговлей. Но Матюшин иногда несколько лет помнил, что такую-то книгу — даже маленькую брошюрку — спрашивали у него, и хотя не помнил, кто именно спрашивал, но все-таки берег ее и ценил.

Так, не особенно давно, мне довелось разговаривать с одним известным писателем, который в старые годы очень часто похаживал по Апраксину и собирал исторические книги и брошюры.

«Писал я раз статью историческую, — говорил почтенный писатель, — и потребовалась мне небольшая старенькая книжонка: книжонки этой я никогда не видал, а только знал о ее существовании. Вот я и пошел на Апраксин, обошел всех книжников, ни у кого не нашел. Прихожу к Матюшину, спрашиваю, нет ли такой-то книжечки.

— Знаю, — говорит, — я эту книжечку, знаю, но только она очень редко попадается; бывала она у меня раз-другой, а теперь нет.

Так я и не нашел этой книжечки.

Проходит года два после этого, прохожу по Апраксину, Матюшин и зазывает: зайдите-ка, говорит, господин, ко мне, вот я сегодня купил разные книжонки исторические. Захожу, смотрю, у него лежит на прилавке стопка, так в пол-аршина вышины. Начинаю разбирать. Все такая дребедень неподходящая. Смотрю дальше и вдруг вижу — эта самая книжонка и попадается. Как тут быть, думаю: если ее одну выбрать, так он сейчас догадается и заломит за нее баснословную цену. Дай наберу побольше дряни, может быть, он вместе-то и не обратит на нее внимания. Ну и выбрал я еще несколько штук, не помню уже именно сколько. Спрашиваю: сколько это стоит? Он начинает перекидывать, доходит до этой книжки, откладывает ее в сторону и говорит:

— Вот за эти хоть два рублика, а за эту рубликов восемь.

— Что вы, — говорю, — разве возможно за такую маленькую и пустяшную книжонку восемь рублей?

— Ах, не скажите, что пустяшная, у меня тут давно какой-то господин эту книжечку спрашивал, так десять рублей давал, только бы достать ее.

Что тут делать? Я — торговаться, да за все-то, кажется, рублей семь и заплатил. Так вот он какой был Матюшин, не мог запомнить личность, кто у него спрашивал книжечку, а все-таки помнил, что ее искали», — пояснил писатель.

Впрочем, несмотря на то, что Матюшин продавал свой товар дорого, библиофилы охотно его посещали, потому что у него действительно был хороший выбор книг по всем отраслям знания, а особенно ни у кого нельзя было найти такого выбора мелких и редких брошюр, оттисков и журнальных статей, как у Матюшина. Частенько он берег и такой товар, который, по мнению других книжников, считался прямо бумагою. Однажды за границу искали полные коллекции «Русского инвалида» и «Северной пчелы»

и не могли найти этих изданий не только у торговцев, но и в редакциях, а у Матюшина они нашлись, и он, конечно, взял за них столько, сколько хотел.

Пожар уничтожил все его собрание, у него сгорели такие книги, каких теперь уже и не отыщешь. После пожара он так же, как и другие, открыл торговлю на Семеновском плацу, но, проторговав года два, должен был прекратить ее по случаю болезни (его разбил паралич). Устарелый, больной и обедневший, он умер в 1869 году. Некоторые из старых собирателей книг и до сих пор вспоминают о нем как о знатоке и любителе своего дела.

После Матюшина старейшим из книжников Апраксина рынка следует считать Иова Герасимовича Герасимова. Он был уроженец Ярославской губернии Рыбинского уезда, деревни Харитонова, и был *совершенно неграмотный*.

Иов Герасимов родился в 1796 году и еще мальчиком, по собственным его рассказам, был отправлен в Москву, где и находился прислугою в трактире.

В 1812 году, когда, по случаю нашествия Наполеона, стали высылать всех из Москвы, хозяин его, в числе прочих, также отослал в деревню.

— Дал он нам шестерым, — говаривал Иов Герасимович, — пуд каленых орехов на дорогу, разделили мы их и пошли домой. В деревне меня взяли в подвозчики, я подвозил провиант к войскам, а когда кончилась война, поехал в Петербург и здесь первое время торговал сбитнем на Сенной.

Затем Иов Герасимов начал торговать лубочными картинами, сказками, соломонами и другими мелкими изданиями, а в двадцатых годах текущего столетия он уже является самостоятельным и дельным книжником. Так, когда после наводнения 7 ноября 1824 года в складе Синодальной типографии оказалось громадное количество попорченных водою книг, то он купил их более десяти возов за сто рублей.

«Все книжники, — рассказывал он, — боялись и подступиться к этим книгам, потому что многие из них совсем смокли и слежались, как кирпичи, да и не знали, какую цену давать за них, ведь тут их смоченных-то было

на несколько тысяч. Я тогда был еще молодой и смелый. Вот и пошел и говорю: я слышал, что здесь продаются моченые книги, если угодно, так я куплю их. — А сколько ты дашь? — спрашивают. — Да вот, — говорю, — есть у меня сто рублей, отдам последние, может, я выберу что, а может, и свои денежки потеряю. — Там подумали, потолковали что-то между собою, да и велели забирать. Вот я и принялся их возить. Больше десяти возов вывез. А сколько же мне пришлось и выбросить их и как жалко-то было... Посмотришь, бывало, книга хорошая, денег стоит, а развернуть никак нельзя, — вся слепилась. Ну, значит, и бросай ее. Все же, слава богу, я много выручил на них, наверно не могу сказать сколько, а, должно быть, не одну тысячу выручил: с этой покупки я и жить пошел. Ведь тогда книги-то ценились не по-нынешнему», — добавлял он.

Около сороковых годов у Иова Герасимова было уже несколько книжных лавок. Несмотря на свою безграмотность, Герасимов обладал такою замечательною памятью, что если он раз видел какую-нибудь книгу, то непременно запоминал ее так хорошо, что знал, кто ее автор, сколько должно быть томов или частей, сколько раз, где и в каких годах она издавалась. Но особенно он был большой знаток в старинных книгах церковной печати: этот товар был его коньком, и он скупал его почти у всех других торговцев. Он лучше других знал все старинные церковные книги и по печати мог определить, из какой типографии вышла та или другая и при каком патриархе, царе или императоре.

Надобно отдать ему справедливость, он не замыкал в себе это знание и охотно делился им с прочими книжниками и другими лицами. К нему частенько заходили люди ученые и поучались от него церковнославянской библиографии. Покойный Н. С. Лесков мне не раз говорил, что он много почерпнул знания в старинных книгах от Иова Герасимовича.

После пожара Герасимов поторговал года два на Семеновском плацу, перебрался сначала в Апраксин двор, а затем, в скором времени, перешел в Александровский рынок, где до конца своей жизни и торговал в еврейском

пассаже. Умер он в 1884 году в преклонной старости. Года за два или за три перед смертью он ослеп, но все-таки постоянно целый день просиживал за выручкой и сам наблюдал за торговлей, которую вели его внуки.

Василий Васильевич Холмушин начал книжную торговлю в двадцатых годах. Первое время он торговал на развалке, раскладывая свой товар на рогожке, а с 1830 года перевел торговлю в постоянное помещение. В пятидесятых годах он имел в Михайловском проезде, против книжной линии, довольно большую лавку, в которой занимался торговлею, преимущественно народным товаром. Он торговал синодальными изданиями, житиями святых и другими духовными книгами; затем — оракулами, письмовниками, песенниками, московскими романами, каковы, например, «Битва русских с кабардинцами», «Киевская ведьма, или Страшные ночи за Днепром» и т. п., повестями вроде «Гуака» и «Английского милорда», сказками и картинами лубочных изданий. У него очень много было собственных изданий, но почти все они были народные и преимущественно мелкие. Его покупателями в большинстве были торговцы на ларях и на столиках, каковых было несколько на Сенной площади, по Невскому проспекту и в других улицах — разносчики по Петербургу, а также провинциальные торговцы и офени.

Кроме Петербурга, Холмушин ездил сам и посылал своих приказчиков торговать также и по ярмаркам — в Нижний Новгород, в Ирбит, в Ярославль, в Кострому, в Ростов-Ярославский, Рыбинск и другие города. Он вел большое дело с Москвою, покупал и выменивал там разные книги на свои издания.

Из его учеников и приказчиков вышли также очень деловитые торговцы, каковы, например, Д. Ф. Федоров, И. А. Архипов, Ив. Семенов и др.

В начале шестидесятых годов, чувствуя себя уже устарелым и, вероятно, потрясенный громадным убытком, причиненным ему пожаром, Василий Васильевич передал хозяйство сыну Александру Васильевичу; последний стал уже менее обращать внимание на народный мелкий товар, а старался расширить торговлю более

крупными и ценными книгами, но это у них не привилось, и дела их стали ухудшаться.

В 1872 году умер Александр Васильевич, а в 1874 году — и Василий Васильевич. По смерти В. В. наследники выбрались из большой лавки, находившейся в каменном корпусе, в так называемой инструментальной линии, и перевели торговлю в металлический корпус в книжную линию. Но внук В. В. Александр Александрович и тут почему-то не мог продолжать торговлю и прикончил ее совсем. Только впоследствии, получив в наследство после своего родственника Василия Гавриловича Шатаева довольно богатую лавку с товаром, он опять принялся за торговлю и опять занялся производством мелких народных книжек и картин.

Дмитрий Федорович Федоров, дальний родственник Холмушина, сначала жил у него в мальчиках 6 лет, а затем был приказчиком на отчете у Иова Герасимова. Прослужив два года у Герасимова, он по предложению своего хозяина взял совсем за себя лавку, в которой торговал. Но Федоров не преследовал той торговли, которой держался его учитель Холмушин, так же мало обращал внимания и на церковные книги, которые так любил И. Герасимов: он любил поторговать теми книгами, которые читались более образованною публикою. Он до некоторой степени старался быть последователем Александра Филипповича Смирдина, но только с тою разницею, что последний предпочитал почти исключительно так называемую изящную литературу и предпринимал издания не с одною целью получить барыши, а хлопотал более всего о распространении этой литературы, а Дмитрий Федорович придерживался учебного товара и книг по разным отраслям знания и вел торговлю более спекулятивно.

Конечно, он не отказывался от книг и беллетристического содержания, но из них очень охотно приобретал только выдающиеся сочинения известных авторов, именно те сочинения, которые ценились как распроданные или на которые был большой спрос. С этой целью он так же, как и Матюшин, ежедневно обходил всех мелких торговцев Апраксина рынка, а впоследствии нередко навещал и букинистов, торговавших по Невскому и в других местах,

и скупал у них хорошие и ценные издания. Но зато он и поберегал редкие книги, держался цены на них крепко: иные стояли у него десятки лет, а он все не спускал цены. Так, например, один раз он у букиниста Ивана Семенова выменял «Требник» Петра Могилы на целый воз разных книг и журналов, добавил к этому товару восемьдесят рублей деньгами, а сам назначил за него пятьсот рублей. Эта редкость стояла у него годов пятнадцать, и только в 1875 году он продал «Требник» за триста пятьдесят рублей.

Но главное, что ему составило капитал, это собственные издания. Им издано в течение своей жизни более ста пятидесяти сочинений, и в числе их есть очень хорошие, например «Жизнь птиц» А. Брема, «Чудеса древней страны пирамид» К. Оппеля, «Крошка Доррит» Ч. Диккенса, сочинения Мятлева и другие. На издания у Дмитрия Федорова было какое-то особое чутье: он в большинстве случаев угадывал, пойдет или нет книга, вследствие чего при выборе издания не задавался какою-либо специальностью, а также не заботился и о полезности книги, но охотно издавал все, что, по его мнению, могло иметь сбыт, хотя бы это отзывалось и шарлатанством. Но самым выгодным изданием для него была «Библейская история» Базарова: она выдержала до тридцати изданий и разошлась в сотнях тысяч экземпляров.

С мелкою сошкою из книжников, особенно с молодыми, Дмитрий Федоров не очень был сообщителен, но зато со всеми был поклончив и приветлив; с старыми же торговцами он был как товарищ, и многие из них, считая его за опытного торговца и издателя, нередко обращались к нему за советом при каком-нибудь предприятии. Кроме того, он был на приятельской ноге с многими учеными и литераторами: последние очень часто заходили к нему и беседовали по нескольку часов в его лавке.

Пожар в 1862 году принес ему большие убытки, но у него была еще кладовая на Банковской линии, в которой находилась масса товару, вследствие чего он после пожара скоро оправился и заторговал лучше прежнего.

Проторговав года два на Семеновском плацу, который после пожара временно был отведен апраксинцам

для торговли, Дм. Федоров опять перебрался в Апраксин рынок, сначала в железный корпус, в книжную линию, а затем уже в инструментальной линии в каменном корпусе открыл большой магазин. Но тут не особенно долго дела его были блестящи; года через три-четыре они стали упадать. Это произошло вследствие смерти московского книгопродавца-издателя Салаева, все издания которого в Петербурге находились на складе у Федорова, и, наоборот, Салаев в Москве также был единственным производителем изданий Федорова.

В половине семидесятых годов Дм. Федоров начал серьезно похварывать: приходилось передать дело сыну; но все же следует сказать, что он до самой смерти, которая последовала в 1880 году, наблюдал за торговлею и предпринимал кое-какие издания.

После смерти Дмитрий Федоров оставил наследникам значительный капитал и более чем на сто тысяч рублей книжного товара. Сын его, Дм. Дм., выдав прочим наследникам деньги за их части, сделался полным хозяином отцовской фирмы; но он не сумел вести дело или, вернее сказать, взялся не за свое дело и не по средствам. Он увлекся изданием нот и, кроме того, предпринял два периодических издания: «Посредник печатного дела» и иллюстрированный журнал «Наше время», которые втянули его в долги и быстро расстроили дела.

Теперь эта крупная, в свое время, фирма окончательно рушилась. Большую часть товара с правами на издания (на двенадцать тысяч рублей) приобрел Губинский, остальное также все перепродано разным торговцам.

Кроме этих четырех книгопродавцев, знанием и умением вести книжное дело в то время выделялись также братья Вагановы и Ив. Ив. Ильин.

Старшего Ваганова, Ивана Андреевича, я не знал, он умер в 1850 году; но брат его, Осип Андреевич, был дельный торговец; он очень хорошо знал как русские, так и иностранные книги и отличался особенною энергиею к стяжательности. Это был человек — так называемый — загребистая лапа; он не любил поделиться с товарищем барышом, и если ему приходилось сделать какое дело

с кем-либо из своих собратий, то непременно старался забрать себе львиную долю, особенно тогда, когда компаньон был слабее его по средствам.

Напротив, Семен Васильевич Ваганов, хотя был также человек довольно сведущий и вместе с тем человек достаточно начитанный, был противоположного характера — мягкий, уступчивый и доброжелательный, он всегда старался помочь другим делом и советом.

Покойный Е. Ив. Екшурский частенько вспоминал о следующем случае, характеризующем его доброжелательность.

«Я, — рассказывал Екшурский, — открыл уже лавку (раньше Екшурский был букинистом-мешочником, и об нем я скажу ниже), повадился с одной компанией погуливать; как бывало наступает вечер, так мы и заберемся в трактир “Стамбул” у Пяти Углов, и пойдет у нас попойка. Вот однажды сидим мы тут у окошка, — пируем; на столе у нас бутылочки, рюмочки, закуска и все такое. Сидим, попиваем. Случайно мимо этого окна проходит Семен Васильевич и увидал меня. Я, конечно, его не заметил, а он остановился, посмотрел на меня, посмотрел, с кем сижу и что у нас на столе. Наутро выхожу я в лавку и, немного погодя, вижу — подходит ко мне Семен Васильевич.

— Пойдем, — говорит, — Елеся, чай пить (Екшурского до старости в глаза и за глаза товарищи-книжники называли Елеся).

Мы пошли. Привел он меня в отдельный кабинетец; подали чаю; налили по чашке и выпили. Потом он и спрашивает меня:

— А что, Елеся, ты когда-нибудь читал Псалтирь?

— Читал, — говорю, — хоть не всю, а читал, ведь я торгую же псалтирями.

— А ну-ка, скажи мне, как начинается первый псалом.

— Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых... — начал я.

— Довольно, — говорит Семен Васильевич, — я только к тому тебя спросил, что я знаю, что ты читал это, может быть, сотни раз, а слова царя-пророка послушать не хочешь. Ты вчера вечером где был? С кем сидел, угощался?

Ведь это все матушкины сынки да приказчики. Ведь у них у всех деньги-то краденые: у одних из отцовской выручки, а у других из хозяйской. А ты сам хозяин, сам работаешь, сам и деньгу наживаешь. Так след ли тебе связываться с такой компанией? Тебя теперь зовут Елеся, будут величать и Елисей Иванович, а повалишься с этими людьми, так достукаешься до того, что будут звать Елеськой.

И вот, — продолжал Екшурский, — до того он меня усовестил, что я по вечерам с полгода не ходил мимо этого трактира. Нужно идти на квартиру по Чернышеву переулку, а я обходил на Семеновский мост, да по Лештукову переулку и выбирался на Загородный».

К Семену Васильевичу многие из людей ученых и сочинителей того времени относились с уважением, но особенно благоволил к нему бывший в то время министр народного просвещения А. Х. Норов. Семен Васильевич был у него свой человек и в кабинет к нему ходил без доклада. Про него говорили, что если бы он хотел провести какой-нибудь учебник или пособие обязательным в школы, то это мог бы сделать очень легко через Норова, но он никогда не добивался таких привилегий.

Семен Васильевич торговал русскими и иностранными книгами и более всего любил духовную литературу и журналы и скупал этот товар в остатках изданий большими партиями. А. А. Краевский и Н. А. Некрасов всегда предпочитали его другим книгопродавцам, и остатки «Отечественных записок» и «Современника» по истечении года поступали в его лавку. Из этих журналов он иногда выделял лучшие статьи и приложения, отдавал брошюровать, перепечатывал к ним титулы и обложку и продавал за отдельные издания.

Иван Иванович Ильин был природный книжник и хорошо знающий свое дело. Его отец, обучавшийся книжному делу у Глазунова, впоследствии был самостоятельным и довольно видным книгопродавцем, но под конец он расстроил свои дела, и Ивану Ивановичу пришлось жить в услужении у Печаткина, а затем уже он открыл свою лавку в Апраксином рынке.

Иван Иванович в своей торговле не придерживался никакой специальности: торговал он русским и иностранным товаром и при покупке его не отказывался ни от чего. Покупал он и беллетристику, и духовные книги, и по разным отраслям наук, и всевозможные специальные и неспециальные журналы, и остатки каких бы то ни было изданий. Конечно, мелкие покупки он производил один, а крупные, особенно остатки больших и ценных изданий, приходилось делать в компании с другими книжниками.

Пожар и у него, как и у других, уничтожил весь товар, но у него была еще кладовая в Гостином дворе, в которой находилось также много товара, и с этим-то товаром он возобновил торговлю сначала на Семеновском плацу, а года через два перебрался опять в Апраксин, где открыл уже две лавки; но в половине шестидесятых годов вторую лавку передал своему приказчику П. А. Истомину, который впоследствии перевел ее на Садовую улицу в дом Пажеского корпуса, где и до сих пор торгуют его наследники. Ильин, оставшись в одной лавке, производил торговлю исключительно сам, хотя при лавке и находился у него помощником его шурин, но так как тот не был настоящим книжником, то и не мог ни купить, ни продать ничего самостоятельно. Ильин был человек честный и справедливый, но вместе с тем тяжелый, и прочие книжники вели с ним дела не особенно охотно. Он был какой-то ноющий, постоянно жалующийся на настоящее время и при покупке и продаже крайне неподатливый. Бывало, торговцу книжнику потребуется какая-нибудь книга, то хотя он и знал, что непременно найдет ее у Ивана Ивановича, но прежде обойдет десяток других книжников и потом уже идет к нему. Для примера приведу следующий случай: один раз мне потребовался «Дневник» Берхгольца. Обойдя Александровский рынок и Апраксин и не найдя этой книги, я зашел к Ильину.

— Есть у вас, Иван Иванович, «Дневник» Берхгольца?

— Есть-то есть. Да ты, брат, сколько дашь? — говорит он как будто нехотя, растягивая слова.

— А сколько же вы возьмете?

— Да я ведь меньше тринадцати рублей не возьму. Ведь у меня экземпляр-то хороший.

— А покажите-ка ваш экземпляр.

— Да что тебе казать-то, ведь не купишь. Только книгу ломать надо. Ну, на, посмотри, пожалуй. Да все равно не купишь, — приговаривал он, доставая книгу с полки. Экземпляр был хотя и подержанный, но довольно чистый.

— Возьмите десять рублей, цена хорошая.

— Нет, брат, меньше тринадцати не возьму, — и поставил опять книгу на полку.

— Ну, наконец, я вам дам одиннадцать рублей, мне не хочется ходить, а то ведь найду и дешевле.

— Иди, пожалуй, а я меньше не возьму.

Действительно, я ушел, не купив книги, и на Литейной приобрел за девять рублей тоже хороший экземпляр.

При всей честности и правдивости Ильина в покупке и продаже он был очень прижимист. Раз Иван Семенов продал ему какое-то крупное издание без одного тома, — продал, конечно, за дешевую цену, но потом ему пришлось отыскать и недостающий том. Вот он и приносит его к Ивану Ивановичу и говорит:

— Я тебе продал тогда издание, но без тома, а теперь вот нашел и этот том, давай полтора целковых, так у тебя полное будет.

— Что ты, брат, — говорит Иван Иванович, — ведь я у тебя те-то тома купил по четвертаку, так ты и за этот возьми с меня четвертак, тебе ведь все равно, один-то том бросить надо в бумагу.

— Я не в бумагу его брошу, а разорву. Даешь полтора рубля?

— Нет, не дам.

— Даешь? — тебе говорят, а то сейчас разорву, — и начинает перегибать переплет.

— Да ты постой, постой, ну, возьми полтинник.

— Нет, — настаивал Иван Семенов, держа в обеих руках вывороченную из корешка книгу, — полтора рубля, меньше не возьму. Дашь или нет?

— Нет, больше полтинника не дам, — твердит Ильин.

Тогда Иван Семенов сразу разрывает книгу.

— Ай! Не рви, не рви! — спохватывается Ильин. — На, получи деньги.

— Нет, уж теперь поздно, — говорит Семенов и разрывает книгу на мелкие части.

Впрочем, такой казус не испортил их отношений, им приходилось много раз и после этого совершать многие сделки.

Иван Иванович в свое время нажил хороший капитал, а так как он был человек бездетный, то последние годы своей жизни не особенно интересовался торговлею, а вел ее только ради того, чтобы не скучать без дела.

Чтобы покончить с апраксинскими книгопродавцами старого времени, следует сказать еще несколько слов о Василье Гавриловиче Шатаеве и Елисее Ивановиче Екшурском.

Василий Гаврилович Шатаев в молодых годах торговал посудою, почему его в насмешку другие книжники и называли горшечником, но родственник его, В. В. Холмушин, сам быстро расторговавшись и нажив капитал от книжного дела, присоветовал и ему заняться этой торговлей. Кроме того, Холмушин, как опытный торговец, передавал ему свои знания в этой торговле, а также оказывал материальную поддержку. Василий Гаврилович до самой смерти ценил эту поддержку Холмушина и всегда относился к нему с самым искренним уважением. Не имея большого знания в книжном деле, он все-таки вел его очень успешно. Василий Гаврилович был вполне человек русского пошиба — с русскою верою, честностью и добротою; будучи сам безукоризненно трезвый, аккуратный, расчетливый и набожный, он был совершенно лишен ханжества и вместе с тем всегда благодушно относился к слабостям других: я с ним был хорошо знаком и никогда не слыхал, чтобы он кого-либо осуждал за беспорядочную жизнь.

Шатаев торговал исключительно русскими книгами и преимущественно духовными, но все-таки он держал в своей лавке и беллетристику, и учебники. У него было несколько сотен и собственных изданий, как то: житий святых, сказок, песенников и разных мелких рассказов. Рукописи у разных безызвестных авторов он покупал без разбору, не только не вникая в смысл написанного, но и не читая,

лишь было бы подходящее заглавие. Свои издания он часто украшал в тексте и на обложках оригинальными рисунками, которые ему делал какой-то придворный кучер, и нередко одни и те же рисунки печатались в разных книжках. В прежнее время интеллигентные литераторы не писали книжек для народа[1], а этим занимались преимущественно такие авторы, как Нестер Око, П. Татаринов, Суслов, Волокитин и т. п., и писались эти книжки не ради преследования какой-либо идеи, а исключительно ради хлеба. Бывало, принесет какой-нибудь писака Шатаеву рукопись.

— Купите, — говорит, — Василий Герасимович, у меня рассказ.

— Какой же это, барин, у тебя рассказ — большой или маленький? (Шатаев не стеснялся с такими писателями и в большинстве говорил им «ты», но это выходило у него так просто и добродушно, что нельзя было обижаться.)

— Да порядочный, вот посмотрите, — и подает ему рукопись.

Взяв в руки рукопись, Шатаев начинает разбирать заглавие.

— Это как у тебя: «Степан Ко-р-шу-н, или Ст-ра-шный Вор и Про-й-до-ха». (Следует заметить, что Шатаев был совсем малограмотный и чужое писанье разбирал очень медленно.)

Затем разворачивает рукопись и главное соображает, каков ее объем, а после спрашивает:

— Про кого же ты тут пишешь?

— А вот... — и тут автор начинает объяснять происхождение своего героя и разные изумительные его похождения, местами вычитывая их из рукописи.

— Да уж не знаю, барин, брать или нет, — снимая шляпу и почесывая в голове, говорит Василий Гаврилович, — у меня тут в ящике сотни полторы валяется этих рукописей, давно бы надо которые напечатать, да все никак не соберусь, времени нет.

---

[1] Ради идеи в 1864 году первую книжку для Апраксина двора написал гимназист А. Н. Канаев — «Рассказ извозчика», а в 1866 году — «Мертвец и пьяница», которые разошлись в 200 000 экземпляров и идут еще и теперь безостановочно. Эти сведения получены нами от самого автора упомянутых книжек.

— Да купите, Василий Гаврилович, как-нибудь соберетесь, напечатаете, — умоляет автор, — мой рассказ пойдет, а я недорого с вас возьму.

— Да знаю, что недорого, — за что тут дорого давать? Много ли тут писанья-то? Да, право, будет лежать: когда его соберешься печатать?

— Да вы напечатайте поскорее, уверяю вас, что эта штучка пойдет.

— Да пойти-то пойдет, у меня, слава богу, что ни напечатаю, все идет, все тащат понемногу. Ну а сколько же тебе за это?

— Да рубликов двадцать положите, Василий Гаврилович.

— Двадцать, что ты? Ведь это писал не Пушкин или Крылов, а ты.

— Так сколько же вы дадите?

— Да рублей бы пять-шесть я, пожалуй, бы и дал.

— Да что вы, Василий Гаврилович, ведь этак и на хлеб не заработаешь, а у меня жена да двое ребятишек.

— Ну, господь с тобой, на ребятишек-то я прибавлю. Так и быть, уж дам тебе красненькую, пиши вот расписку, что продал свой рассказ в вечное и потомственное владение.

Автор, довольный, пишет расписку и получает красненькую, а Шатаев говорит:

— Ну, барин, теперь пойдем в трактир, чайком попою.

Золоторотцы частенько, пропившись, заходили к Шатаеву с просьбою дать им книжонок на поправку, и он почти никогда не отказывал, а наберет какого-нибудь хламу копеек на двадцать и даст.

— На, — говорит Василий Гаврилович, — поправляйся, но не пропивай же хоть это, а то я больше не дам.

Своею трезвою и аккуратною жизнью он скопил под старость порядочный капитал, а так как у него не было прямых наследников, то отказал его на богоугодные дела, преимущественно на монастыри и церкви, а лавку со всем находившимся в ней товаром, в знак признательности к своему родственнику и учителю Холмушину, завещал его внуку Александру Александровичу, который и теперь продолжает его дело.

Елисей Иванович Екшурский, как я уже упоминал, раньше был букинистом-мешочником. Сметливый и достаточно развитый человек, он во время своей молодости хотя также не прочь был погулять с компанией товарищей, но все же вел себя сдержанно и прилично. Когда он ходил торговать еще с мешками, то и тогда имел уже небольшой достаток и пользовался доверием состоятельных книжников. Нередко многие из букинистов, получив какой-нибудь порядочный заказ и не имея ни средств купить требуемое, ни доверия, принуждены были обращаться к Екшурскому и брать его в долю для выполнения заказа. Когда же у них встречались покупки, то они из-за денег также приглашали его в компанию. В начале шестидесятых годов Екшурский открыл в Апраксином рынке небольшую лавку. В первое время он торговал чем придется, а затем познакомился с московскими издателями народных книг, начал выписывать от них разную мелочь и продавать торговцам, преимущественно разносчикам, ходившим по трактирам, портерным и т. п. заведениям, и торговцам на ларях. Вскоре он сделался и сам издателем разной мелочи. Став на приятельскую ногу с некоторыми писателями мелкой прессы, он давал им поручения составлять песенники, сонники, разные гадальные книжки и мелкие повести и рассказы с интересными заглавиями. Но более всего принесли ему пользы самоучители французского, немецкого и английского языков, составленные Фурманом, а также толковые молитвенники.

Елисей Иванович был человек ходовой и для того, чтобы заручиться покупателями, не скупился на угощения. Каждое утро он собирал партию мальчишек-спичечников, которые в то время торговали и книжками, и водил их в трактир поить чаем; для этих его покупателей в трактире была особая комната, называвшаяся «Кавказом». Покупателей же, которые были посостоятельнее и покупали сразу на несколько рублей, он водил в чистое зало и тут вместе с чаем делал и другое утешение. По вечерам иногда он обходил старых своих приятелей-букинистов, которые в то время расплодились на всех мостах и у скверов главных улиц, и собирал их в знаменитый тогда трактир

Михайловский: здесь для этих покупателей он раскошеливался уже на десятки рублей. Всеми этими угощениями он, так сказать, закрепощал своих покупателей.

Шестидесятые годы, изобиловавшие разными реформами и полною свободою, были самыми блестящими для книжной торговли; в те годы книжная торговля, ничем еще не стесняемая, доставляла большую пользу ее производителям, почему многие из мелких книжников и нажили капиталы. Это главным образом происходило оттого, что спрос на книги во всех классах общества развивался, а книгопродавцев, как крупных, так и мелких, сравнительно с настоящим временем, было менее чем наполовину; да притом же и не было такой массы периодических изданий, которыми теперь, в большинстве, удовлетворяется публика, а книжная торговля тормозится.

Екшурский в то время торговал так хорошо, что до конца своей жизни вспоминал об этом.

«Эх, — говорил он, — как мы прежде торговали! Бывало, летом раньше семи часов утра выходишь в лавку, а уж тут тебя дожидается партия золоторотцев да спичечников; поторгуешь часов до девяти, глядишь, в выручке-то и скопилось рублей семьдесят, а ведь покупателей-то на рубли мало было, — больше все на копейки. Полная лавка наберется разной шишгали с утра-то, только успевай повертываться — и достать книжку надо, и сосчитать, кто на сколько взял, и деньги получить, да надо и посматривать в оба, чтобы другой с полки-то за пазуху чего не пихнул».

Такие успехи по торговле развили в нем до некоторой степени жадность к наживе и скупость; положим, что он не отказывал иногда своим покупателям-золоторотцам давать пятачки на хлеб или на похмелье, но более этой суммы на истинную нужду трудно было у него выпросить. Характерною чертою его следует считать и то, что, приходя к какому-нибудь приятелю в лавку или встречаясь с ним у себя, он никогда не осведомлялся ни о здоровье, ни о чем другом, и первый вопрос его был постоянно таков: ну, как наживаешь деньги? продал ли сегодня хотя рублей на полтораста? И если кто говорил, что плохо, то и он начинал жаловаться, что в данное время тоже плохо наживает.

Но все-таки, если было у него время, он вел приятеля в трактир и там заводил речь о прежних золотых днях.

Через излишнюю стяжательность и скупость Екшурский погубил сам себя: в 1891 году он был убит своим сыном, которому отказал в сравнительно небольших средствах для открытия своей торговли. Но я не буду описывать этого процесса, потому что о нем в свое время много было уже писано во всех газетах.

Это был последний из книгопродавцев Апраксина рынка, начавший свою торговлю в допожарное время. На нем я и покончу.

Теперь в Апраксином рынке, исключая Холмушина, о котором было уже сказано, находятся только два книгопродавца[1]: Т. Ф. Кузин и А. Ф. Нарышкин, получивший лавку по наследству от своего дяди Игнатия Архипова. Первый из них так же, как и Холмушин, занимается торговлею исключительно народными книгами и картинами, а у Нарышкина хотя и имеется большой выбор книг новых и подержанных по всем отделам для частных покупателей, но более всего он занимается комиссией для иногородных книготорговцев и ведет это дело довольно аккуратно и честно.

Впрочем, в корпусе, выходящем на Фонтанку и принадлежащем также к Апраксину рынку, находится и еще книготорговля В. И. Губинского, но это скорее книжный склад, преимущественно собственных изданий. Однако о торговцах настоящего времени я теперь не намерен писать, а опишу, как сумею, букинистов-мешочников.

II. БУКИНИСТЫ-МЕШОЧНИКИ

Кроме книгопродавцев, имевших постоянную торговлю на местах, то есть в магазинах, в лавках или так где-либо раскладывавшихся со своим товаром, — в то время существовал еще особый тип букинистов-мешочников, которые носили книги в перекидных мешках.

---

[1] Я не считаю книгопродавцами Максима Алексеева и двух Михайловых, у которых торговля ведется преимущественно бумагою, а книги являются как случайный товар.

Такие мешки делались обыкновенно $2^{1}/_{4}$ аршина длины и $^{3}/_{4}$ ширины; оба конца их зашивались наглухо, а посередине одна треть оставалась не зашитою, таким образом они могли наполняться с обеих сторон и перекидывались через плечо. Эти букинисты разносили свой товар по преимуществу интеллигенции того времени, как то: академикам, профессорам и прочим любителям, библиоманам, а самыми лучшими их покупателями были богатые офицеры Военной академии и кавалерийских полков гвардии. Несмотря на то что большинство из них ходили в армяках, подпоясанных кушаками, и в сапогах, смазанных дегтем, им нередко удавалось попадать в кабинеты богатых княжеских и графских домов, потому что они являлись, большею частью, поставщиками таких книжных редкостей, которые достать было довольно трудно. Через них же можно было приобрести все что угодно, как дорогие распроданные издания на русском и иностранных языках, так и книги, не дозволенные в продаже — политического или порнографического содержания. Из числа этих букинистов-мешочников были довольно интересные типы, на которых не мешает остановиться впоследствии, а теперь я хочу сказать о них в общих чертах и о приемах их торговли.

Все эти букинисты были люди, так сказать, разбитные, то есть ловкие, изворотливые и смелые. Они выходили, в большинстве, из свихнувшихся приказчиков книжных магазинов или с Апраксина двора, почему все вообще знали хорошо книжное дело. Кроме того, они отлично умели делать фальсификацию книгами — положим, что фальсификацией в то время занимались и апраксинские книжники, но более всего она практиковалась букинистами.

Фальсификация производилась таким образом: в хорошие книги, оказывавшиеся неполными, вкладывали листы из других книг, подходящих по формату и по печати, на титулах подчищали численность томов, чисто, почти незаметно; из какой-нибудь нестоящей и рваной книги вклеивали конец и затем отдавали в переплет. Все эти переработки были настолько аккуратны, что только опытный человек мог заметить такую фальшь: такими книгами бу-

кинисты нередко снабжали своих покупателей. Впрочем, надо сказать, что они частенько бывали и вполне полезными для некоторых господ, потому что без них иному довольно трудно было бы найти нужную книгу, а они хорошо знали, у кого из книгопродавцев какие имелись редкости, а также знали и то, кто каких книг более придерживался.

Когда у них не было своего товара, а у них зачастую его не случалось, то они брали его на снос из лавок Апраксина рынка, то есть брали книги, чтобы только «предложить» покупателю, и если продавали, то обязаны были заплатить условленную цену, а если нет — возвращали их обратно. Но не всегда у них были готовые покупатели, приходилось их разыскивать. Тогда, наложив мешки товаром, а иные, вместо книжек, и пустыми ящиками из-под сигар, ходили по улицам и, останавливая богатых господ, преимущественно военных, предлагали им интересные или выдающиеся сочинения. Конечно, богатые господа на улице у них не покупали, но очень часто, принимая их предложения, делали им заказы. Излюбленным местом ловли покупателей служили им Военная академия, Академия наук и университет. Для этого некоторые из них постоянно, от 2 и до 4 часов, бродили около сказанных зданий и каждому, выходящему оттуда, предлагали свои услуги.

Но самая блестящая у них торговля была в то время, когда войска находились в лагерях. В лагерях, исключая той поры, в которую производились маневры, доступ к офицерам, пажам, кадетам и проч. был гораздо свободнее, чем в казармах, а потому у них и сбыт интересного товара был несравненно изобильнее. Иные из них, которые были, как говорится, покрепче, зарабатывали в лагерное время, в продолжение полутора-двух месяцев, по пятисот рублей. Следует заметить, лишь бы только не оскорбить кого, что в те времена военные люди были както падки вообще на все то, что считалось недозволенным цензурою, и за томик лондонского или брюссельского издания на русском языке платили десятки рублей. Надо сказать правду, что тогда многие из них цены деньгам не знали. Деньги для них зарабатывали крепостные крестьяне, а потому таким господам стоило только написать

своим родителям или управляющим, и им высылалось на все нужное и излишнее.

Когда же войска выходили из лагерей, то букинисты расходились по дачам. Так, они ездили торговать в Царское Село, в Павловск, в Петергоф, в Лесной корпус, в Новую Деревню и другие дачные места, в которых в прежнее время господа проживали частенько до глубокой осени.

Следует также сказать, что между ними была большая солидарность-сообщительность. Так, в городе они ежедневно сходились в одном трактире на углу Большой Мещанской, ныне Казанской улицы, и Вознесенского проспекта, где для них была отведена и особая комната. Сходясь тут, они перекупали и выменивали друг у друга товар, передавали один другому адреса господ, а иногда составляли компанию и отправлялись за покупкою; тут же они уговаривались, кому куда идти торговать. Если удавалось купить товар или расторговаться, то они опять собирались в тот же трактир и совершали разные сделки. Конечно, сделки эти заканчивались чаепитием, закускою, а иногда и попойкою.

Отправляясь торговать в лагеря, они все останавливались в одной харчевне, и у них между собою были распределены полки, где кому торговать. А когда они перебирались на дачи за Неву, то их пристанищем был трактир Налисова на Черной речке. Здесь им также отведено было особое помещение, в котором они одни угощались и спали и оставляли товар, когда нужно было съездить за чем-либо в город.

Кроме торговли по домам, в лагерях и по дачам, букинисты являлись еще посредниками торговли между рынком и магазинами. Очень часто случалось кому-нибудь из апраксинцев купить хорошие книги, которые он считал выгоднее продать в магазин, чем постороннему покупателю, потому что по рынку хотя и ходило много собирателей книг, но последние были уверены, что в рынок попадали книги за бесценок, и старались приобрести их дешево, почему иной книжник, хотя и состоятельный, отчасти совестясь сам нести книгу в магазин, отчасти не имея времени, посылал букиниста продать ее. Кроме того, в те времена на рынок много попадало так называемого темного товара.

Этот товар таскали переплетчики, служащие в типографиях, а зачастую и прислуга сочинителей и издателей книг.

Лавочникам было неудобно самим носить такой товар продавать в магазины, чтобы не выказать себя с неблаговидной стороны, то есть чтобы не обнаружить занятия темною торговлею, и они отдавали его всегда на комиссию букинистам, которые и распродавали по магазинам. В магазинах хотя и знали, каким путем приобретен товар, но не отказывались покупать повыгоднее, а особенно у кого подобные книги находились на комиссии, потому что, распродав комиссионные экземпляры, оставленные, положим, из 20 %, могли их заменить более дешевыми. И это в старину практиковалось почти у всех книгопродавцев: в иных магазинах пользовались такою выгодою сами хозяева, а в иных приказчики без ведома хозяев.

Впрочем, в магазины букинистам случалось ходить и с своим товаром; им приходилось довольно часто и самим покупать в домах хорошие книги, а еще чаще случалось у разных писателей выменивать новые издания. Приобретя такой товар, они прежде всего отправлялись к Вольфу, в то время еще только начинавшему торговать и по новости покупавшему лучше других.

Маврикий Осипович Вольф и сам ходил по рынку, собирая нужные или просто недостающие в его магазине книги, а в 6 часов вечера принимал всех книжников, приносивших ему книги на продажу. Близ задних дверей магазина у него был поставлен стол и стул, и вот туда приносили мешки с книгами, выкладывали их на стол, а Маврикий Осипович садился на стул и рассматривал товар. При покупке он любил поторговаться и никогда не назначал сразу окончательной цены. Он покупал новые и подержанные книги и никогда не справлялся, каким путем достались они тому, кто приносил их.

Но нередко у букинистов случался и такой товар, который не только не покупали в магазинах, но и на толкучке трудно было сбыть. Тогда они тащили его к Ивану Тимофеевичу Лисенкову, в полной уверенности, что хотя и дешево, но все-таки продадут. Хотя я имел в виду описывать только типы апраксинцев и других букинистов,

но полагаю, что нелишним будет сказать несколько слов и о Лисенкове.

Иван Тимофеевич Лисенков, — как видно из его воспоминаний, напечатанных в весьма редкой книжке «Материалы для истории русской книжной торговли» (СПб., 1879)[1], — в молодых годах служил у московского книгопродавца О. Л. Свешникова, в течение восьми лет ездил торговать по ярмаркам, преимущественно по Малороссии, Новороссии и к Макарию, что ныне Нижегородская, а в 1826 году перешел на службу к М. П. Глазунову, который поручил ему заведовать его книжным магазином в С.-Петербурге. Прослужа 10 лет у Глазунова, в 1836 году он открыл собственный довольно большой магазин, который находился, как я уже упоминал, по Садовой улице в доме Пажеского корпуса. Сам по себе он был большой оригинал. Одевался он по-немецки, всегда чисто выбритый и всегда в цилиндре. В обращении со всеми постоянно был вежлив, тих и, кажется, никогда ничем не возмущался.

Иван Тимофеевич не отказывался ни от какого товара, который ему приносили, покупал все и без выбора, почему букинисты, распродав ходовые книги по другим магазинам, с остатками всегда направлялись к Лисенкову. Принесет, бывало, ему букинист пачку пуда в полтора и положит на выручку.

— Здравствуйте, Иван Тимофеевич!

— Здравствуйте, здравствуйте, почтеннейший, — отвечает Иван Тимофеевич, снимая шляпу и кланяясь.

— Вот, Иван Тимофеевич, я вам принес книги хорошие. Не купите ли?

— Покажите, покажите, почтеннейший, посмотрю, — и, развязав пачку, начинает рассматривать книги.

— Да, книги, все книги, хорошие книги, — приговаривает он, рассматривая, и затем спрашивает: — А сколько же стоят ваши книги?

— Восемь с полтиной, Иван Тимофеевич.

— Восемь с полтиной дорого. Нет, я так не куплю. Кабы подешевле, я бы купил.

---

[1] Эта книжка издана Глазуновым в количестве 100 экземпляров.

— А сколько для вас стоят, Иван Тимофеевич?

— Семьдесят пять копеек, извольте.

— Что вы, что вы, Иван Тимофеевич? За такие книги и в таких переплетах...

— Да-с, и переплеты хороши. Только я больше не могу дать. Если угодно, я вам помогу завязать пачку.

— Нет, покорно благодарю, Иван Тимофеевич. Да вы покупайте.

— Я покупаю, извольте получить семьдесят пять копеек.

— Нет, нельзя, убыток будет. Давайте настоящую цену. Ну, хоть пять целковых.

— Нет, как можно пять рублей! Пять рублей дорого.

— Ну, я три рубля возьму с вас.

— Нет-с, и трех рублей не могу дать.

— Так сколько же вы окончательно дадите? Ведь надо же прибавить.

— Извольте-с, я прибавлю вам три копеечки на булку.

— Вы уж хоть рубль давайте для ровного счета.

— Нет-с, я уж больше ничего не могу дать.

Наконец букинист решается отдать. Иван Тимофеевич вынимает из выручки 75 копеек и затем 3 копейки.

— А это вам на булку, — говорит он, — когда будете чай пить, и купите булку. А водочки-то не пейте, не надо водку пить.

Лисенков часто делал большие объявления для иногородних, рекламировал в этих объявлениях свой товар и за брошюру в два печатных листа назначал иногда рублевые цены.

Но следует также заметить, что Лисенков, при всей своей скупости и какой-то мании к спекулятивному торгашеству, был человек небесполезный. Он хотя немного, но занимался и изданиями, а главная его заслуга состояла в том, что он выпустил два издания «Илиады» в переводе Гнедича, с которым он очень дружил, и также два издания «Пана Халявского» Квитки-Основьяненко и от этих изданий составил себе капитал.

Иван Тимофеевич умер в 1877–1878 году и похоронен в Невской лавре, рядом с Гнедичем. Он еще при жизни

сделал себе надгробный памятник и сам составил надписи, которые считаю нелишним здесь поместить.

Надписи на камнях над могилою Ивана Тимофеевича Лисенкова:

Сверху

Отрадно
живым
Отошедшим.

В ногах

Река времен в своем теченье
Уносит все дела людей.
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства, и царей.

(Между третьей и четвертой строфами не особенно ясно высечен на камне юноша, возлежащий с книгою.)

В головах

Родятся люди, чтоб лет несколько поцвесть, потом скорбеть, дряхлеть и смерти дань отнесть. Один шел малый путь, другой прошел поболе, в гробу покоятся сном крепким в равной доле!..

(Высечено без разделения строф.)

На всех глядит неумолимо смерть
И точит лезвие косы...
Бьют часы, проходят минуты, и все ближе к смерти.

С правой стороны от ног

(На средине сверху)

Неувядаемый цвет живая речь поэзии.

(Левее)

К гробам усопших приступая,
Сознай, сколь тщетна жизнь земная.
И твердо в жизнь иную верь!
Что смертный? Бренный злак в пустыне.
Я тем был прежде, что ты ныне;
Ты будешь тем, что я теперь.

(Правее)

Гробницы, гробы здесь на явке
Стоят, как книги в книжной лавке.
Число страниц их видно вам;
Заглавье каждой книги ясно;
А содержанье беспристрастно.
Подробно разберется там!

С левой стороны от ног

(Левее)

Уходит человек из мира,
Как гость с приятельского пира.
Он утомился кутерьмой.
Бокал свой допил, кончил ужин.
Устал — довольно! отдых нужен:
Пора отправиться домой!

(Правее)

Прохожий! Бодрыми шагами
И я ходил здесь меж гробами,
Читая надписи вокруг,
Как ты мою теперь читаешь?
. . . .
Намек ты этот понимаешь?
Пр.... же!.. До... сви...

(Внизу)

Золотые правила жизни:

I. Употреби труд, храни мерность — богат будеши. II. Воздержно пий, мало яждь — здрав будеши. III. Делай благо, бегай злого — спасен будеши.

На нижнем камне в головах

Всем добро, никому зло, то законное житье.

В ногах

Юбиляр
50-ти летия 26-го сентября

(Ниже)

1870

На нижнем камне с левой стороны

Отдежурил.
Завяла жизнь... и я
Угас.... И, е, к, ъ, т.
18 г. (Безвестный.)

Прочие стороны нижнего камня тоже все иссечены разными изречениями, но их прочесть трудно; полагаю, довольно и того, что написано.

После смерти Лисенкова наследники перевезли книги на Фонтанку к Симеоновскому мосту, открыли там торговлю и до сих пор распродают товар.

Перехожу снова к описанию букинистов. В числе старых книгопродавцев не один Иов Герасимов был неграмотный, были также и из мешочников такие, которые не знали, что называется, аза в глаза, но безграмотность искупалась памятью и не мешала им вести книжное дело. Я упомянул об этом только потому, что и из числа грамотных книжников невелик процент людей начитанных, пристрастных к чтению. Это происходит не от недостатка времени или нежелания читать, а просто потому, что книжнику нет возможности увлечься книгою: как бы она ни была хороша, как бы она его ни интересовала, он всетаки смотрит на книгу как на товар, и у него всегда является соблазн ее сбыть, чтобы получить прибыль. Но все-таки книжникам приходится кое-что прочитывать, знакомиться с содержанием книги, хотя бы для того, чтобы знать, что предлагать покупателю, почему букинисты-мешочники, если и не были людьми образованными, начитанными, но не были и совсем невеждами, и из числа прочих торговцев выделялись кое-каким знанием и развитием.

Сделав общий очерк торговли букинистов-мешочников, я теперь приступлю к описанию нескольких типов этих исчезнувших уже книжников.

Вначале я упомянул, что все они были люди разбитные, то есть ловкие, изворотливые и смелые. Но особенною ловкостью и развязностью из них отличался Николай Московский, известный более между книжниками под именем Графа.

Представительный по внешности и развязный на словах, Граф (настоящим именем его книжники почти совсем не называли, а всегда величали Графом) обладал такою смелостью, что часто в дом или в гостиницу, к какому-нибудь именитому господину, являлся без приглашения и с особенным тактом умел предложить и заинтересовать его своим товаром. При продаже какой-нибудь книги он так умел обставить покупателя, что тот ему платил за рубль пять и десять рублей и был в восторге от своего приобретения, а при покупке дорогие и редкие издания забирал за ничтожную цену.

Бывали такие случаи, что Граф наживал по сотне рублей в день и мог бы составить хороший капитал, но он не берег денег и прокучивал их. Кроме того, он имел особенное пристрастие к шикарству и самозванству, любил, что называется, пустить пыль в глаза. Когда ему удавалось устроить какое-нибудь выгодное дело и заполучить хороший барыш, то у него непременно являлась фантазия выказать себя богачом, а иногда и именитостью. Он покупал или брал на время хороший костюм, ездил на лихачах по богатым ресторанам, гуляньям и там кутил, как миллионер, — даже сигары для шику закуривал пятирублевыми кредитками.

Один раз он в своей мании к самозванству дошел до того, что купил офицерский костюм и саблю и в такой одежде не только разгуливал по Невскому, по садам и ресторанам, но заходил в именитые дома и рекомендовал себя графом, отчего и получил это прозвище. Другой раз они с Екшурским забрались в дом к какому-то богатому господину в Поварском переулке (рассказ самого покойного Екшурского), желавшему продать свой дом. Граф, выдавая себя за сына известного винного откупщика, а Екшурского за своего поверенного, окончательно сторговал у этого господина дом, очень выгодно для последнего, причем оставалось только ждать его на другой день совершить запродажную запись и вручить домовладельцу задаток. Домовладелец, видя у себя таких выгодных покупателей, предложил им очень приличное угощение и, кроме того, в своем экипаже приказал кучеру отвезти

их домой. «А мы, — добавлял Екшурский, — проехались сперва по Невскому, а потом подкатили прямо к трактиру». В третий раз он под каким-то предлогом тоже зашел в богатый дом; с ним был товарищ, одетый в костюм крайне неприглядный и рваный, почему последний и остался ждать Графа у ворот. В этом доме его пригласили завтракать; за завтраком Граф вспомнил о товарище и сообщил хозяевам, что он не один, но так сумел отрекомендовать оборванца товарища, что те принуждены были пригласить и его к завтраку. Много было и других проделок у Графа, но следует сказать, что все подобные штуки он проделывал совершенно бескорыстно, просто, как говорится, из любви к искусству.

В 1865 году Граф имел ларь у Александровского — ныне Екатерининского — сквера, но тут дела его уже были не блестящи, он считался одним из самых небогатых книжников, торговавших на ларях. Затем он куда-то скрылся, говорили, что уехал в Москву, и с тех пор о нем не было никакого слуха.

По ловкости, изворотливости и способности на разные проделки вторым после Графа следует считать еще недавно сошедшего со сцены в книжном мире Гаврилу Волкова, который так же, как и Граф, был очень дельный букинист, также способный пустить пыль в глаза и посамозванствовать, но только с тою разницею, что у Графа почти все проделки были бескорыстны и совершались, как я сказал, ради искусства. Волков же самозванством и пусканием пыли в глаза непременно преследовал какую-нибудь корыстную цель.

В молодости своей он был хорошо знаком со многими писателями и вхож в дома именитых господ; кроме того, у него много было знакомства между офицерами кавалерийских полков, которых он снабжал более всего порнографией во всех ее видах. Он был смел до отчаяния и много промышлял книгами, не дозволенными цензурой, за что в начале шестидесятых годов ему пришлось поплатиться. Однажды князь Г., которого Волков остановил на Невском проспекте, предлагая всевозможные книги, приказал принести ему «Колокол» Герцена; Волков не

задумался исполнить поручение князя и на другой день отыскал требуемое, явился к нему на квартиру, которая находилась в Аничковом дворце. Здесь его сейчас же арестовали и отвели в Третье Отделение, а затем перевели в Литовскую тюрьму, откуда он вышел только по милостивому манифесту. В тюрьме он познакомился с некоторыми выдающимися дельцами темных профессий, через которых впоследствии тоже имел своего рода выгоду. По выходе из тюрьмы он знакомил этих дельцов с Вс. Крестовским, который черпал у них материал для «Петербургских трущоб». Впрочем, Волков после ареста долго не мог оправиться, но в начале семидесятых годов, через одного из тюремных товарищей, он сразу разбогател и начал заниматься крупными покупками книг, преимущественно остатков и целых изданий. При подобных покупках он всегда выдавал себя за московского или какого-нибудь провинциального книгопродавца и так умел вести дело, что автор или издатель книги охотно уступал ему свое издание для распространения, по уверению Волкова, чуть не по всей России. Смело можно сказать, что устраивать подобные покупки не находилось ему равного: он как будто заранее знал, в чем заключается конек того лица, с которым ведет дело, и потому так и действовал на него.

Раз он пришел к моему знакомому издателю Кожанчикову купить тысячу экземпляров одной детской книги, рекомендуя себя при этом домовладельцем из Коломенской улицы и распространителем общеобразовательных книг в провинции, причем просил Кожанчикова, чтобы он уступил ему товар половину на деньги, а другую на вексель. Во время беседы с Кожанчиковым он так заинтересовал его рассказами о своем знакомстве с разными выдающимися писателями, что тот, как говорится, и уши развесил, послал для него за бутылкою водки и целый день удерживал, слушая его рассказы. На другой день повторилось то же, и Кожанчиков уже готов был уступить его предложению, однако, спохватившись, навел о нем справки у книгопродавцев и отказал в продаже. Но Волков и тут недаром вел рассказы, он взял у Кожанчикова на несколько рублей игрушек для своих внучат

и, конечно, не заплатил денег. Впрочем, Кожанчиков не обижался на это; он сказал мне, что Волкова можно неделю слушать, платя ему по три рубля в день за рассказы.

Кроме своей деятельности по продаже и покупке книг, Волков с сестрою открыл в Красном, или близ Красного Села, харчевню и мелочную лавку, но тут дело было не в торговле, а в том, что, имея большое знакомство между офицерами, доставляя по-прежнему им разные книги, он вместе с тем от имени сестры ссужал их небольшими деньгами за большие проценты. Для характеристики его деятельности на этом поприще не мешает привести следующий случай.

Однажды Волков ссудил служившего в конвое его императорского величества князя N небольшою суммою под расписку.

Через месяц или полтора он, прослышав, что князь получил деньги, явился к нему с предложением каких-то книг. Князь, купив у Волкова книги, отдает вместе с тем и долг, занятый у него под расписку.

— Ах! Ваше сиятельство, — говорит Волков, — действительно, мне деньги очень нужны, но я сегодня пришел к вам только предложить вот эти книжечки, так расписку-то вашу и не захватил с собой. Впрочем, все равно, если можете, так уж позвольте мне должок-то, а я, как приду домой, так и разорву вашу richсписочку.

— Хорошо, — отвечает князь, — наверно вторые деньги с меня не спросишь?

— Нет, как это можно, ваше сиятельство! Вы уж будьте покойны.

Проходит после этой получки месяца два, Волков обращается к одному из своих приятелей, букинисту Груздеву.

— Андрей, — говорит он, — хочешь заработать красненькую?

Груздев был человек без средств и притом семейный.

— Как красненькую не хотеть заработать! — отвечает он. — Да за красненькую я для тебя что хочешь сделаю. Ведь ты меня не пошлешь же кого-нибудь душить или поджигать.

— Нет, я пошлю тебя только в Царское Село — вот по этой расписке получить деньги. Видишь ты, этот князь мой хороший знакомый, он занял у меня деньги и сказал: «Вы уж не беспокойтесь ко мне ездить за деньгами, я сам пришлю». Да вот и не присылает. Мне самому совестно ехать к нему за получкой, а деньги-то нужны, так уж я лучше тебе красненькую дам за то, что ты съездишь к нему да получишь. Я и надпись сделаю на расписке, что доверяю получить тебе.

Груздев, ничего не подозревая, поехал в Царское Село. Придя в квартиру князя, подает ему расписку.

— Вот, ваше сиятельство, — говорит Груздев, — Волков послал меня получить с вас по этой расписочке.

— Как, — вспылил князь, — ведь я ему заплатил долг!

— Я не знаю, — сказал оторопевший Груздев, — он послал меня к вам и говорил, что не получал.

Тут князь еще больше озлобился и, показывая на лежавший на столе револьвер, проговорил:

— Если бы он сам ко мне теперь явился, так я бы его, подлеца, сейчас из этого револьвера застрелил, как собаку.

«А я стою, — рассказывал покойник Груздев, — ни жив ни мертв, хотел было бежать, да и то боюсь. Потом князь несколько раз прошелся по комнате и, подойдя к столу, вынул из него деньги и отдал мне».

— На, отвези ему, подлецу, — сказал он, — только скажи, чтобы он мне не попадался на глаза.

Но Волков и приятеля своего надул: он не только не отдал обещанные десять рублей, но и за проезд Груздев с трудом получил свои деньги[1].

Подобными проделками везде и всюду Волков настолько испортил свою репутацию, что в настоящее время и знакомые, и покупатели, и торговцы от него отстраняются. Притом же и пьянство настолько его заело, что он совершенно опустился и теперь попеременно находится или в больнице, или в Вяземской лавре.

Был между старыми мешочниками-книжниками и такой оригинал, которого нельзя пройти молчанием. Это

---

[1] Этот факт может подтвердить старик Курочкин, тоже бывший букинист.

памятный еще всем книгопродавцам и собирателям книг букинист Семен Андреев, известный более под именем Семена Гумбольдта. Такое прозвание он получил отчасти потому, что своею физиономией (фигурою) действительно был похож на бюст Гумбольдта, а вместе с тем и потому, что любил пофилософствовать: он всегда в трактире сидел за чтением какой-нибудь книги и непременно критиковал и рассуждал о прочитанном.

Гумбольдт зарабатывал очень хорошие деньги и никогда не пил никаких спиртных напитков, но при всей своей безукоризненной трезвости он имел пристрастие к биллиарду и к женщинам. На биллиарде он проигрывал не только десятки, но и сотни рублей. Раз, я знаю, накануне Пасхи, у Гумбольдта не было денег ни гроша, он отправляется к одному именитому графу, которому доставлял очень много разных редкостей.

— Ваше сиятельство, — говорит Гумбольдт, — завтра Пасха, у меня нисколько нет денег, а нужно пальто и еще кое-что купить, да нужно и на праздник на расходы. Позвольте у вас попросить в долг денег, я после праздников принесу вам книги и рассчитаюсь.

— Сколько же тебе, Семен? — спрашивает граф.

— Да позвольте уж сто рублей.

Граф, будучи очень богатым и вместе с тем очень добрым, приказал камердинеру дать ему сто рублей.

Семен, получив эти деньги, вместо того, чтобы идти в рынок и купить себе что нужно, отправился в трактир к Симеоновскому мосту и там через два-три часа все сто рублей спустил на биллиарде. Затем снова отправился в графский дом и у швейцара выпросил еще семнадцать рублей, с которыми опять вернулся в трактир и опять проиграл из них четырнадцать рублей. Но самым излюбленным коньком Гумбольдта был театр. Он до того увлекался театром, что не пропускал ни одного выдающегося спектакля, а если играла какая-нибудь знаменитая актриса или танцовщица и ему самому не удавалось достать билета, то он платил за него барышникам тройную цену, и если у него не было денег на билет, то продавал в убыток товар и все-таки попадал в театр. Увлечение его театром

было так сильно, что, сидя иногда в компании за чаем и рассказывая про виденный им спектакль, он вдруг вскакивал со стула и начинал распевать какую-нибудь арию.

Надо сказать, что Гумбольдт действительно был странный человек. Он в продолжение восьми лет не имел ни паспорта, ни квартиры: иметь паспорт он считал лишнею формальностью, а квартиру — лишнею обузою. При хороших делах он ночевал в гостиницах, в которых его знали и часто делали доверие. Когда же дела его были плохи, он или выпрашивал у кого-либо из своих знакомых ночлег, или ночевал на улице. Все его состояние было на нем и при нем. В баню он ходил очень редко — через месяц и через два — и в продолжение этого времени никогда не менял белья. Несмотря на то что в деревне у него была земля и порядочный дом, в котором жила его мать с сестрами, он никогда не позаботился послать им письмо, чтобы выслали паспорт, и попал туда только поневоле, быв забран где-то полицией и отправлен этапом.

Конечно, при такой жизни он нередко прибегал и к разным неблаговидным поступкам как с своими покупателями, так и с торговцами и наконец уже не пользовался ничьим доверием, но все-таки его везде терпели и принимали, потому что через него можно было достать какую угодно книгу, хотя бы она никогда не поступала в продажу.

Гумбольдт ходил с своим товаром ко всем писателям, редакторам и собирателям книг, но, кроме того, был допускаем более, чем прочие букинисты, и в дома разных знаменитостей и лиц высокопоставленных.

Его следует считать уже последним из букинистов-мешочников (да и он в последнее время уже не носил мешков), и с ним совершенно исчез старый тип букинистов.

Чтобы покончить с букинистами, не имевшими постоянных мест для торговли, следует упомянуть еще о Суслове и Вишневском.

Первый из них, торговавший прежде с мешками и вследствие невоздержанной жизни проторговавшийся до последней книжейки, начал промышлять тем, что переписывал произведения Баркова и с успехом продавал их

в трактире в Толмазовом переулке своим собратам букинистам, которые, в свою очередь, находили покупателей на этот товар, преимущественно из молодежи купеческой складки. Затем, установившись немного, Суслов занялся скупкою всевозможной неполноты. Скупая у торговцев неполные книги и журналы по дешевой цене, он составлял полные экземпляры, отдавал их в переплет и опять продавал тем же торговцам.

Хотя эта торговля и не давала больших барышей, но все-таки после него осталось более двухсот пудов разного товара, за который книгопродавец Хлебников заплатил пятьсот рублей.

Вишневский начал свою торговлю с рук, затем стал ходить по аукционам, а впоследствии начал делать объявления в газетах о покупке книг. Так как ранее его делал объявления только Н. И. Герасимов и других подобных конкурентов еще не было, то дело его шло весьма успешно. В то время плата за объявления была недорога, почему он каждую неделю и публиковал раза четыре в «Голосе», что покупает книги по хорошей цене.

Являясь в дом за покупкою, он в большинстве случаев выдавал себя за любителя, старался выбирать только лучшие книги и отказывался от других под предлогом, что таковые у него уже имеются или не требуются в его библиотеку. Ловля на эту удочку вначале была вполне успешна, и он в короткое время заработал порядочные деньжонки, но его пример увлек и других, и дела его под конец шли небойко. Все же Вишневский, как человек ничего не пьющий, работал недурно и после смерти оставил тысяч шесть наличного капитала и небольшую, но довольно ценную библиотечку.

III. ТОРГОВЦЫ С ЛАРЕЙ

После пожара, уничтожившего в 1862 году Апраксин рынок, апраксинцам отвели места для торговли на Семеновском плацу. Книжники, в большинстве, также переселились туда, но некоторые пристроились торго-

вать и в других местах. Так, Холмушин временно открыл торговлю в *магазине русских изделий* по Невскому проспекту, у Казанского моста в доме Ольхина, человека три или четыре — в проходах Гостиного двора, а иные мелкие торговцы начали раскладываться с своим товаром в прогалах решеток Государственного банка с Екатерининского канала и у Юсупова сада.

На Семеновском плацу для торговцев место отведено было временно, кажется на два или на три года, почему на другой же год многие из книжников и начали перебираться во вновь отстраивавшиеся корпуса Апраксина рынка; но только теперь они не группировались, как прежде, в одном месте, а открывали свои лавки кому где пришлось. Впрочем, об апраксинских торговцах я уже писал, а теперь скажу, что знаю, о букинистах, торговавших с ларей.

Первые лари были открыты у Думы, затем они начали располагаться и на мостах — на Казанском, Полицейском, Синем, Аничковом и других. Первыми основателями торговли на ларях были Лепехин и Петр Ефимов, за свою лысую голову прозванный Беранже, а за ними постепенно начали открывать лари и другие торговцы, так что в 1865 году книжных ларей по улицам и на мостах расплодилось более пятнадцати. В это время на ларях, исключая упомянутых выше, торговали следующие лица: Федор Семенов с братом Андреем Семеновым (тогда еще мальчишкою, а впоследствии сделавшимся крупным книгопродавцем и владельцем двух домов в Симеоновской и Фурштатской улицах, умершим в конце прошлого, 1895 года), Иван Семенов, Сергей Васильев, Хлебников, братья Доновы, Н. Петров, Осип Бон, Н. Московский, о котором было уже сказано, и в то же время открыл собственную торговлю на Симеоновском мосту раньше служивший приказчиком у Сенковского и у Юнгмейстера И. М. Клочков, отец известного теперь букиниста-антиквара Василия Ивановича Клочкова.

Сначала лари были очень небольшие, наподобие стола с крышкою и с шкафами внизу, вверху же совершенно открытые; на них невозможно было почти совсем торговать в ненастное время: как только начинал кропить дождь,

книги прикрывали клеенкой. Но в 1867 году градоначальник Трепов приказал построить книжникам особый тип крытых ларей, который впоследствии еще усовершенствовали.

Несмотря на то что с таких ларей торговать книгами было не очень удобно — книги портились от дождя, солнца и снега, да и сами торговцы принуждены были выносить жару и стужу, — первые уличные книжники-букинисты торговали очень хорошо. Тут, именно на этих ларях, многие нажили деньги и впоследствии сделались капиталистами.

С размножением книжных торговцев на ларях и цены на их места постепенно росли, потому что бакалейщики и другие торговцы неохотно уступали им хорошие места и при каждых торгах непременно наносили на них цену. Но книжники вели дело, если можно так выразиться, корпоративно. Они раньше торгов в городской управе делали между собою условие: кто, где и за какую цену должен торговать. Если кто из них покупал место дешевле той цены, какая между ними была за него назначена, то обязан был своим товарищам доплатить до условленной суммы; если же кому оно доставалось дороже, то переплаченные им деньги выдавали ему товарищи.

Вообще старые книжники, зачастую ссорившиеся между собою, постоянно ругавшиеся друг с другом и обносившие один другого разными прозвищами, когда дело касалось общей выгоды, тесно сплачивались и умели постоять за себя. Между ними существовал общий дух и, несмотря на частые ссоры, не было разъединенности. При частых покупках книг большими партиями они приглашали друг друга в компанию и покупали товар вместе, после чего одинаковые звания делили между собой и устанавливали цену, ниже которой ни один из товарищей не мог продать книгу, а звания, которых было по одному экземпляру, они разделяли на небольшие партии (нумера) и пускали их в вязку. Когда же случалось, что книги продавали с аукциона из магазинов или домашние библиотеки, то уличные букинисты соединялись и с апраксинскими торговцами и поручали всю покупку вести одному лицу, хотя для виду торговались и прочие; а затем с

каждого, желавшего быть в паю (пайщики, внесшие залог и имеющие право на вязку, называются *хозяевами*, а не имеющие залога, но присутствующие на аукционе, — *племянниками*), брали известный залог, вручали залоговые деньги тому, кто считался благонадежнее, и после того вязали товар.

При *аукционах* они не отстраняли также и неимущих, за иного кто-нибудь клал залог, и его принимали в вязку на правах хозяина; а прочим, которые числились племянниками, по окончании вязки отделяли небольшую часть общего барыша и выдавали смотря по достоинству каждого. Более сведущим, опытным торговцам давали по три и по пяти рублей, а малосведущим — рубль, полтора и два, соображая количество выделенной суммы и число находившихся на аукционе племянников.

Старые книжники не гнушались своим собратом, как бы он ни был неимущ, лишь бы знал дело. Они охотно давали ему работу: посылали по адресам посмотреть и приторговать книги или давали ему их для продажи. Эта общность в деле уравновешивала также и их знание: они между собою охотно делились своим знанием и за чашкою чая в трактире рассказывали один другому, какие издания редки и как следует их ценить.

У букинистов, торговавших с ларей, не было ни у кого особой специальности, они торговали всякими книгами, но все-таки у каждого был какой-нибудь любимый товар, который они часто перекупали один у другого. Так, например, Иван Семенов, носивший прозвание Земский Ярыжка, живший сначала в мальчиках и приказчиках у Холмушина, затем торговавший с мешками и в разных местах на ларях, а под конец имевший лавку в доме графа Шереметева по Литейному проспекту, любил торговать преимущественно древними книгами, как русскими церковной и гражданской печати, так и иностранными — инкунабулами, эльзевирами и т. п. изданиями. Он лучше других знал, какое из подобных изданий реже и в чем заключаются особенности ценных изданий; лучше всех прочих из своих собратий он понимал толк в книгах древнецерковной печати. Известный библиограф Каратаев

очень часто беседовал с Иваном Семеновым в трактире и пользовался его знанием. Между ними были вполне приятельские отношения, и Семенов вместе с Шигиным приобрел его издания по библиографии старопечатных книг.

Собиратели редких книг, гравюр, рукописей и т. п. вообще любили Ивана Семенова, потому что он не дорожился своим товаром и при первом мало-мальски выгодном случае старался продать его, а затем и заменить какимнибудь новым приобретением. С торговцами он отличался особенною общительностью и почти в каждую крупную покупку приглашал к себе компаньонов; зато и у других редкая покупка совершалась без участия Ивана Семенова. Он очень любил вязку, хорошо знал расчет в ней и умел ее вести с таким тактом, что его повышенки при вязке, т. е. барыши, всегда были значительнее других.

Иван Семенов умер в 1884 году. После него торговлю продолжал его сын, Василий Иванович, который тоже в 1894 году умер, а наследники последнего торговали до прошлого, 1896 года, но известный антикваркнигопродавец Л. Ф. Мелин переснял помещение и выжил их из лавочки.

Сергей Федулович Хлебников, раньше известный более под прозвищем Перцова, был московский уроженец и там в молодых годах занимался уличною торговлею книгами и картинами. В пятидесятых годах он был сдан в солдаты и служил в л.-гв. гренадерском полку. Выйдя в бессрочный отпуск, он принялся за ту же торговлю и, будучи чрезвычайно деятельным, скоро расширил свои дела и уже до пожара Апраксина рынка имел там небольшую лавочку. После пожара он сначала принялся торговать в прогалах ограды Государственного банка, а затем снял ларь у Думы.

Хлебников отличался особенным пристрастием или, как говорили, жадностью к покупкам. Он не был разборчив на товар и покупал все — хорошее и худое. Зачастую он покупал такой хлам, от которого все прочие торговцы отказывались. Он так следил за покупками, что по какомунибудь адресу, если ему назначали прийти в девять ча-

сов утра, он являлся раньше восьми. Но коньком его были иностранные крупные издания и всевозможные увражи; дорого или дешево такие книги продавались, он никогда не отпускал их от себя. Впрочем, его считали очень счастливым на торговлю, потому что, как бы дорого ему ни доставался товар, у него всегда находились покупатели.

В семидесятых годах Хлебников опять открыл торговлю в Апраксином рынке и здесь, вместе с книгами, начал торговать и нотами, которых ему удалось купить в одном нотном магазине очень большую партию на вес; а в начале 1883 года, незадолго перед смертью, он прикончил совсем торговлю на Невском проспекте, где торговал с ларя на Казанском мосту.

Хлебников, вероятно, мог бы и еще лучше вести свое дело, но он очень предавался спиртным напиткам. Смолоду он пил почти ежедневно, но вино на него мало действовало, он не терял энергии; частенько случалось, что он вечером бывал совершенно в ненормальном состоянии, а утром, в пять-шесть часов, принимался уже за какую-нибудь работу; но затем он стал пить запоем и в то время не выходил уже торговать.

Но все-таки, несмотря на такую слабость, он составил довольно солидный капитал и купил несколько небольших домов на Петербургской стороне.

После его смерти весь товар в лавке и в кладовых продавался с аукциона. Торговаться приходили все книжники, но они не согласились между собою, и все книги приобретены были гостинодворским игрушечником Соколовым, который через эту покупку теперь сделался довольно видным книгопродавцем.

Земляк и товарищ Хлебникова, Владимир Владимирович Лепехин, более всего любил торговать учебниками. Целый год он скупал учебники и приберегал их до того времени, когда начинали открываться классы. Тогда у него, по его же выражению, начиналась жатва: в августе и сентябре он почти ежедневно торговал на пятьдесят и семьдесят рублей в день. Лепехин был так стоек, что ни в какую погоду не отходил от ларя — тут и обедал, тут

и чай пил, но впоследствии, получив ревматизм, он принужден был расстаться с ларем и передал его со всем товаром другому букинисту, а сам открыл лавку в Думской улице, где начал производить торговлю преимущественно новыми книгами, которые скупал, иногда один, а иногда в компании, целыми изданиями; а затем начал уже и сам издавать разные сочинения. Последние десять лет Лепехин имел кладовую в Апраксином рынке и распродавал свои издания и другие оставшиеся у него книги. Тут его покупателями были только торговцы.

Лепехин был человек очень расчетливый, но вместе с тем очень честный и справедливый. Он умер в декабре 1895 года и после смерти оставил, кроме капитала в несколько десятков тысяч и дач на Удельной станции, до пятидесяти собственных изданий с правами на них и большое количество разнообразных книг, которые купил его сосед, книгопродавец Нарышкин, за три тысячи рублей.

В шестидесятых и семидесятых годах у Думы, сначала на ларе, а потом в маленькой лавочке в серебряном ряду торговал книгами бывший букинист-мешочник Сергей Васильев, иначе называемый прочими книжниками Дяденькою и Пихлером; почему его звали Дяденькою, не могу сказать, но прозвание Пихлер он получил потому, что, большею частью, как и тот, ходил в крылатке и под ней прятал пачки с книгами. Из всех книжников Дяденька один держал себя особняком и, исключая торгов на места, не вступал с прочими ни в какие сделки.

Сначала он торговал, как и прочие букинисты, подержанными и вообще случайными книгами, но потом мало-помалу начал приучать к себе разную молодежь, которая стала носить к нему новые издания. На таком видном месте, где он торговал, заниматься таким делом было неудобно, и у него для этих операций был приспособлен один невзрачный трактир, куда его клиенты приносили книги и оставляли слуге, а последний передавал Дяденьке. Но все-таки шила в мешке утаить было невозможно, и Дяденька был привлечен к ответственности; хотя по суду его оправдали на первый раз, но общее мнение о нем было

не в его пользу. Тогда он, опасаясь, чтобы его проделки впредь не открылись, с Невского проспекта перебрался торговать в Александровский рынок.

В рынке у него, по Садовой улице, была маленькая лавочка, и Дяденька открывал ее постоянно ранее всех других торговцев. Проживая близ этого места несколько лет, я имел обыкновение каждое утро в 7 часов ходить в трактир пить чай мимо его лавки и всегда видел ее открытою; Дяденька иногда что-нибудь перебирал в ней, увязывал, а иногда прикрывал стеклянные двери и, бог весть куда, уходил. Здесь также он был привлечен к суду и хотя очень искусно вел свои дела и умел оправдываться, но все-таки один раз был осужден за нелегальную покупку на месяц под арест.

Дяденька умер года четыре тому назад. В последнее время он торговал уже по Невскому проспекту между Литейным проспектом и Надеждинской улицей.

Я упомянул о Сергее Васильеве и его неблаговидной деятельности не потому, чтобы он был единственно исключительный производитель темного товара (такою торговлею не брезговали, да, по всей вероятности, и сейчас не брезгуют и другие, более его солидные торговцы), а потому, что Сергей Васильев просто имел манию к такой торговле и к другим плутовским поступкам, наживал же от всего этого, сравнительно с прочими торговцами, пустяки; от этого, наверное, более пользовались те, кому он перепродавал товар.

После Сергея Васильева я нахожу уместным сказать несколько слов о торговле братьев Доновых.

Доновы, имевшие ларь на Полицейском мосту, преимущественно занимались торговлею газетами. Старший из них, Михаил Константинович, раньше был разносчиком «Полицейских ведомостей». Когда редакции получили разрешение продавать свои издания отдельными нумерами, то первый за эту торговлю принялся М. В. Попов; его примеру последовал и Донов. Купив место для ларя, Донов, вместе с газетами, начал производить и книжную торговлю. Хотя в книгах он имел мало понятия или, вернее,

никакого не имел, но все-таки дела его шли недурно, потому что газеты и журналы давали очень хороший барыш.

В то время газеты из редакций отпускались на комиссию обандероленные и непроданные экземпляры принимались обратно. Ежедневные издания редакции отпускали по 5 коп. за нумер, а еженедельные, как то: «Искру», «Будильник» и др., по 12 коп.; торговцы же первые из них продавали по 10, а последние по 20 коп. У Донова расходилось всех газет и журналов каждый день до 150 нумеров, что и доставляло ему пользы от 7 до 8 рублей.

Видя такие успешные дела, Донов в скором времени открыл еще два ларя, один тоже на Полицейском, а другой на Пантелеймоновском мостах, и порядком стал развивать книжное дело; но, не имея практического знания в этом деле, не мог его вести так, как прочие букинисты. Притом же к этому времени и газетная торговля стала приносить несравненно меньшую пользу: у него появилось много конкурентов по этой торговле. Прочие букинисты также начали торговать газетами, а разносчики с ними стали появляться уже на всех углах главных улиц и продавать их дешевле прежнего. Кроме того, места для торговли с каждым годом возвышались в цене, а сам Донов повел жизнь довольно слабую, почему в начале семидесятых годов он и принужден был совсем прекратить торговлю. Младший его брат около этого времени умер.

Впоследствии Донов сделался золоторотцем и торговал книжечками по трактирам.

Всех букинистов, торговавших на ларях, перечислять излишне, но все-таки нужно заметить, что и из прочих большинство знали хорошо книжное дело и умели его вести. Особенно удачно шли дела у Андрея Семенова, Клочкова и Н. И. Герасимова: первые два торговали на Аничковом мосту, а последний на Симеоновском. Затем следует упомянуть о теперешнем старосте артели газетчиков, П. Б. Богданове, который хотя не из книжников и мало имеет знания в книгах, но обладает особенною смекалкою и ведет книжное дело энергичнее и выгоднее многих старых торговцев.

Но здесь я остановлюсь. В этой статье я говорил только о книжниках, уже покончивших свою деятельность, а о тех, которые продолжают ее до настоящего времени, я поговорю в следующий раз.

В 1884 году городская управа прекратила продажу мест для торговли по Невскому проспекту и в других многолюдных улицах, вследствие чего букинисты и принуждены были искать помещение в частных домах. Теперь они расплодились в разных местах, но главный центр их торговли — Литейный и Владимирский проспекты и Симеоновская улица.

IV. КНИЖНИКИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РЫНКА

В заключение я должен сказать несколько слов о книжниках Александровского рынка.

Я уже упоминал, что после пожара Апраксина рынка, в 1862 году, апраксинцам для торговли отведен был временно Семеновский плац. Хотя на следующий год и начали вновь отстраивать Апраксин рынок, но сообразно новому плану в нем не могли уже поместиться все ютившиеся прежде тут торговцы, почему и решено было приискать место для нового рынка.

Между Большою Садовою[1], Фонтанкой, Вознесенским проспектом и Малковым переулком во время откупов находилась питейная контора. По уничтожении откупов вся эта местность оказывалась праздною, и вот тут-то и построили еще рынок, назвав его Новым Александровским, в отличие от Александровского рынка, находящегося близ Невского монастыря. В этот новый рынок, вместе с прочими торговцами, перебрались также и некоторые книжники.

Первыми пионерами из книжников в Новом Александровском рынке были — Иов Герасимов, Н. Г. Ваганов и Загряжский, но затем, в скором времени, здесь появились и торговцы с улиц — Алексей Гаврилов, прозванный Дубом, и Брандер. Эти первые торговцы все-таки были

[1] Прежде было две Садовых — Большая и Малая.

настоящие книжники — Загряжский, Ваганов и Герасимов торговали в Апраксином рынке, Дуб раньше торговал на Сенной площади и потом у Государственного банка, а Брандер хотя был и неграмотный, но сначала долго вел небольшую торговлю у Юсупова сада, а затем имел ларь у церкви Вознесения.

Так как в первое время в Александровском рынке книжных лавок было немного, то торговля шла довольно бойко. Известно, что у букинистов главную роль в торговле занимает покупка, а в те годы — годы всевозможных реформ — очень многие сбывали свои старые библиотеки для того, чтобы вместо них обзавестись новыми целесообразными книгами. Кроме того, очень многие обедневшие помещики принуждены были изменять прежний образ жизни и поневоле расставались с своим достоянием и излишнее спускали на рынок, в том числе и книги.

В Александровском рынке в первое время покупок было множество: туда заходили и господа, оставляя свои адреса и приглашая за покупкой на дом, туда тащила и прислуга книги в узлах и корзинках, а также несли татары и тряпичники, покупавшие книги вместе с разным скарбом. Но, кроме случайных, держаных книг, туда поступала масса и новых из книжных складов, магазинов, типографии и от переплетчиков. И вот вследствие такого обилия покупок дела книжников шли довольно хорошо.

Для букиниста случайная покупка — то же, что для спортсмена приз; покупая книги в доме или с рук, ни один самый честнейший букинист не предложит за них настоящей цены, если сам продающий просит дешево или не знает их цену. Но это одна сторона наживы букинистов, и сторона, оправдываемая законом, и потому, стало быть, честная. Но есть и еще другая — именно покупка темного товара, а в прежнее время и такою покупкою не брезговал никто, и об этом свидетельствуют неоднократные судебные процессы. Только нужно заметить, что такие покупки, исключая двух уже умерших и одного и до сих пор здравствующего и продолжающего торговлю, немногим пошли в пользу.

Перехожу к описанию нескольких типов из тех книжников, которые раньше населяли Александровский рынок.

Об Иове Герасимове я уже упоминал, а теперь скажу о его ученике и затем приказчике, Григории Иванове Загряжском.

Загряжский, земляк Иова Герасимова, служил у последнего сначала мальчиком, потом приказчиком, а в сороковых годах имел уже собственную торговлю в Апраксином рынке. После пожара он так же, как и другие, перебрался на Семеновский плац, а когда отстроили Александровский рынок, перевел свою торговлю в него. Это был человек тяжелый, ни с кем не уживчивый и вместе с тем, если сказать правду, не совсем добросовестный.

Нелюдимость его была так велика, что он не только ни с кем из торговцев не сходился, но даже ни с кем не кланялся, да и смотрел на всех как-то исподлобья.

Загряжский, как настоящий старый букинист-апраксинец, торговал всевозможными книгами, русскими и иностранными, и в этом отношении надо отдать ему справедливость, знал хорошо их цену и достоинство; а также, как ученик Иова Герасимова, он понимал толк и в книгах церковнославянской печати, и этого товара после смерти оставил своим наследникам большое количество.

Но он был торговец старого апраксинского пошиба, а прежде, я помню, в Апраксином рынке существовали пословицы: не побожиться — не продать, не обмануть — не продать. Этих правил он и держался всю свою жизнь, а потому если нужно было купить у него какую-нибудь книгу, то прежде следовало ее перелистовать от начала до конца; да и перелистывая, необходимо было тщательно просматривать, а то очень часто, для счета страниц, у него вкладывались листы из другой книги и так отдавались в переплет или брошюровку.

Торговцы знали хорошо такую манеру Загряжского, и когда им приходилось что-либо покупать в его лавках, то всегда проверяли и просматривали каждую книгу, как говорится, досконально; но посторонние покупатели очень нередко попадали впросак. Особенно таким образом подсортированный или, вернее, подделанный товар у него в большом количестве заготовляли на Вербную неделю, во время которой он ежегодно снимал три или четыре места

у Гостиного двора, и на ярмарку в город Ладогу, куда он постоянно ездил к 8 июля.

Не могу наверное сказать, насколько было достаточно состояние Загряжского до пожара, но когда он торговал на Семеновском плацу, я хорошо помню, что его лавка была далеко не обильна товаром. Зато в Александровском рынке он очень скоро расторговался, а когда подросли у него сыновья, то он имел дом по линии Вознесенского проспекта и Садовой улицы и пять лавок. Кроме случайных покупок — в домах и у себя в лавках — он имел и постоянных поставщиков дешевого товара, который покупал не только книгами, но и в листах. Такой товар его сыновья и мальчики в свободное время брошюровали, сшивали и оклеивали в обложку.

У Загряжского было четыре сына, но сыновья его, исключая старшего, который в настоящее время имеет три лавки (одну в Александровском рынке, другую по Литейному и третью по Владимирскому проспектам), были горчайшие пьяницы; двое младших уже померли, а второй, размотав оставшуюся ему в наследство часть товара, бросил семейство и теперь нанимается к гробовщикам в факельщики.

Около того же времени, в Александровском рынке, открыл книжную торговлю Николай Гаврилович Ваганов (его отец был родным братом Семену Васильевичу Ваганову), но вследствие своей слабости не имел постоянной торговли, а носил свой товар в мешках, как и прочие букинисты-мешочники. Николай Гаврилович обучался книжному делу у своего дяди Семена Васильевича, у которого жил с мальчиков, а по смерти его открыл собственную небольшую торговлю. Он хотя был и не из бойких торговцев, но все-таки книжное дело знал довольно порядочно. Первое время — лет семь или восемь — он торговал очень недурно и вел себя хорошо. Он выписал из деревни младшего брата, приучил его также к книжному делу и имел уже три книжные лавочки. Когда же подрос у него брат, то он отделил его, дав ему одну из лучших лавок по Вознесенскому проспекту, а сам остался торговать в двух небольших лавках. Но затем Николай Гаврилович начал выпивать и вместе с тем сводить знакомство с раз-

ными духовными лицами, преимущественно с монахами, а также с начетчиками духовных книг; да и сам стал зачитываться духовными книгами.

Ваганов был человек женатый и имел уже троих или четверых детей, но, несмотря на это, он однажды, встав рано утром, вынул из своих карманов ключи от лавки, бумажник, в котором находился паспорт, разные торговые записки и семнадцать рублей, оставил все это на столе и сам скрылся неизвестно куда. Прошло два, три дня, неделя, все поиски за ним оказались тщетными: о нем не было никакой вести.

Жена, заявив полиции об его исчезновении, начала продолжать торговлю. Но так как дело вести порядком было некому, то, поторговав с полгода или немного более, она сдала сначала одну лавку, а потом и другую и уехала в деревню.

Где пребывал и по какому виду проживал Ваганов, неизвестно, но только на третий год после своего исчезновения он прислал из Сибири письмо, в котором извещал, что заарестован; а потом, через некоторое время, и самого его привезли на родину этапом. По возвращении на родину он месяца три или четыре проживал дома, находясь более в соседнем с его деревнею Улейменском монастыре, а потом опять приехал в Петербург.

Здесь нашлись для него благодетели из прежних товарищей, снабдили его товаром и помогли снять небольшую лавочку в том же Александровском рынке по Вознесенскому проспекту. Николай Гаврилович снова заторговал. Но это продолжалось недолго: не прошло и полгода, как опять пришла ему мысль бросить торговлю и уйти. Он опять в одно утро, оставив на квартире ключи от лавки, исчез бесследно.

С тех пор прошло уже более четырех лет: о нем нет никакого известия, а товар его и посейчас гниет у хозяина лавки, которую он снимал.

Алексей Гаврилов, прозванный Дубом, начал торговлю книгами с своим отцом, будучи еще мальчуганом. Отец его, «дедушка Гаврила Старый Дуб», как мы его звали в

отличие от сына, был уроженец Костромской губернии и раньше занимался малярным мастерством. Оставаясь на зиму в Петербурге, он, за неимением работы по своему ремеслу, начал приторговывать мелкими духовными книжками и картинами, сначала вразноску, а потом с ручных санок, которые устанавливал постоянно на одном месте — по Садовой улице, у Спаса на Сенной, против часовни. Так как он вел себя довольно крепко — за что и прозван Дубом — и вместе с тем был до некоторой степени начетчиком и умел натолковать своим, по большей части малограмотным, покупателям, в чем заключается интерес предлагаемой им книги, то торговля его шла недурно. Когда же он начал немного стареться, то окончательно бросил свое мастерство, привез из деревни сына и стал заниматься торговлею зиму и лето. Кроме торговли народными книгами, они начали заводить торговлю также и прочими старыми и новыми книгами, которые они покупали на домах и с рук у посторонних лиц, отчего товар у них постоянно прибывал и улучшался. Зимою сани, а летом тележка всегда были переполнены книгами, и, кроме того, у них было много товару в кладовой.

Таким образом они благополучно и довольно прибыльно проторговали до 1866 года, а когда, по приказанию Ф. Ф. Трепова, запретили торговлю разносчикам с постоянных, приспособленных ими мест на главных улицах, тогда и Дуб с сыном переселились торговать на Екатерининский канал к Государственному банку. Тут они торговали сначала на решетке и с тележки, а затем сняли у пешеходного мостика пустовавший ларь. Но с ларя им не пришлось долго торговать, их место перекупили другие, и в 1867 году они сняли лавку в Александровском рынке на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта.

Вскоре после переселения в рынок Алексей Гаврилов женился и разделился с отцом: молодой Дуб остался торговать в лавке, а старый снял себе в Малковском проезде подвальное помещение для кладовой и тут торговал, разваливая свой товар на рогожке. Но Старый Дуб под конец обессилел и торговал уже плохо, а в начале восьмидесятых годов он кончил земное существование, не оставив

после себя никаких средств. Молодой Дуб первое время вел дело довольно хорошо; он охотно покупал всякий товар и еще охотнее его сбывал, не дожидаясь больших барышей. Он хотя и знал ценность книгам, но не любил их выдерживать и очень часто купленный товар перепродавал другим книжникам. А если ему приходилось покупать книги с товарищами, то он всегда старался только о том, чтобы получить причитавшуюся ему часть барыша, а товар уступал другим. Несмотря на то что Алексей Гаврилов торговал книгами почти с детства, он не имел к ним никакого пристрастия, смотрел на них только как на товар и во всю свою жизнь не прочел ни одной книги, не поинтересовался содержанием ни одного сочинения.

Но так как по Вознесенскому проспекту от Садовой улицы его лавка была первая и желающие продать книги прежде всего заходили к нему, то Алексею Гаврилову волей-неволей довольно скоро пришлось переполнить ее и находящийся под ней подвал товаром, и, кроме того, он сколотил небольшой капиталец, так что, исключая других денег, одних выигрышных билетов внутренних займов у него было около 20 штук. Но, верно, уж место это такое, что чуть не каждый книжник тут спивается, так и Алексей Гаврилов стал выпивать сперва понемногу, а затем — больше и больше, и под конец лет семь или восемь сряду, по его словам, он не бывал ни одного дня трезвым. Но он был довольно крепок, редко упивался, да и притом же был очень скуп и всегда любил, чтобы его махорили, т. е. угощали. Некоторые торговцы знали такое пристрастие Дуба к даровому стаканчику и пользовались им. Бывало, угостят его на гривенник, а рубль или два выторгуют у него на товаре. Но все-таки как ни был крепок Дуб, а водка подточила и его дубовое здоровье, и в конце восьмидесятых годов он от пьянства в одни сутки свалился и умер.

После смерти Алексея Гаврилова его жена с приказчиком продолжала торговлю, но и тот года через три умер, вследствие чего она, продержав еще несколько времени лавку, принуждена была продать ее теперешнему владельцу, слепому книгопродавцу Щетинкину.

При каких условиях начал книжную торговлю Брандер (его настоящее имя Александр Федоров, но почему-то все его называли Брандер), с достоверностью сказать не могу. Помню только, что в конце пятидесятых годов он раскладывался с книгами по решетке Юсупова сада, а в 1867 году открыл ларь у церкви Вознесения. Вследствие своей безграмотности он мало имел понятия в книгах, но так как был человек непьющий и аккуратный, то вел дело очень прибыльно и в начале семидесятых годов открыл довольно просторную и изобильную товаром книжную лавку в Александровском рынке по Садовой улице. Не имея сам достаточно опытности в книжном деле, Брандер взял себе сведущего приказчика и торговал очень недурно. Но его торговля продолжалась недолго, года через два он умер, а его лавку взял за себя бывший его приказчик Конин. Последний вначале вел дело очень толково, но затем, сдружившись с писателем Омулевским, Автократовым и другими, начал манкировать торговлею, погуливать и пить и в конце концов, года через три, совсем проторговался и в последнее время перебивался уже как золоторотец.

Кроме этих старых торговцев в Александровском рынке начали открывать книжные лавочки и разные новички. Из них много было таких (да и теперь их немало), которые раньше были совсем непричастны к книжному делу и брались за него не из пристрастия к книгам, а их просто соблазняли барыши, которые получают книжники от своего товара. Но такие торговцы редко выдерживали книжную торговлю до конца: большинство их, поторговав несколько лет, переходили на другое дело или, не сумев справиться с такою сложною торговлею, совсем прогорали; а некоторые, посдержаннее и более сметливые, хотя и продолжали книжное дело, но перебирались торговать куда-нибудь в другое место.



Н. И. Свешников и Н. С. Лесков. Спиридоны-повороты

Очерк,
составленный Н. С. Лесковым
на основе материалов
Н. И. Свешникова

На Спиридона поворот солнца на лето, а зима на мороз.

Л. Н. Толстой и И. С. Аксаков неоднократно пробовали печатать описания, сделанные грамотными простолюдинами. Опыты эти многим казались интересными, и в самом деле они имели свои достоинства. В бытовом отношении простонародному наблюдателю иногда бывает доступно то, чего человек другого круга не видит и с натуры описать не может.

Я имею теперь в моих руках такой же труд простолюдина, который и желаю предложить здесь вниманию читателей.

Рассудительный и дельный простолюдин, который известен мне много лет, вдруг сник и пропал с глаз моих. Обыкновенно он являлся ко мне с предложениями услуг по «книжным редкостям» или с просьбою «поддержать его», когда на него находила известная «русская слабость». В этом последнем случае он пропивал все до последнего лохмота на своем грешном теле и «погибал»: ему надо было помочь. В нынешний раз он долго и сильно крепился, но, наконец, «его достигло»: он не удержался и два года тому назад исчез без следа. Я думал, что его или убили, или он утонул, или опился, потому что живой он все-таки дал бы о себе знать или как-нибудь объявился бы, но о нем не было ни слуху ни духу, и вдруг я стал неожиданно получать от него письма из далекого уездного города. Сначала он известил меня, что «лишен столицы и попал на высыл», а потом начал описывать, как он всего этого уподобился, что потом по

пути к отцам видел и что, наконец, сыскал «на месте родины».

Эти простые и совершенно безыскусственные описания я здесь и предлагаю.

Мой корреспондент начинает с того, как он поддался своей слабости, — пропил все. И ко мне ему «стало прийти не в чем и просить совестно». Тогда он пошел еще к какому-то фотографу, — «снялся типом», и опять напился, а что с ним дальше последовало, о том наступает нижеследующее, им самим написанное повествование.

ПУТЕВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЛИШЕННОГО СТОЛИЦЫ

I. ПЕРВЫЕ МЫТАРСТВА

Я не мог возвратиться на квартиру, во-первых, от стыда, а во-вторых, из-за того, чтобы меня хозяин не вздул: он иногда исправлял своих жильцов собственноручно, да и мне раз от него больно попало. Вот я и начал скитаться — днем по кабакам, а на ночь отправлялся в ночлежный приют.

Было часов восемь вечера, когда я пришел. Ночлег стоит пять копеек; за это дают еще вечером кусок хлеба и чашку похлебки, а утром — кусок хлеба, кусок сахару и кружку чаю. Поел я похлебки и пошел отыскивать номер койки, который значился в моем билетике. Отыскал и лег. Лежу, а не спится мне, все думается: как мне завтра показать себя людям в таком типе? Стыдно идти по городу-то!

Через полчаса приходит, ложится сосед и спрашивает меня:

— А что, здесь обходу за это время не было?

— Нет, — говорю, — не было еще.

— Ну, так гляди, что сегодня придет.

— Почему ты так думаешь?

— Слышал, — говорит, — что был приказ, чтобы все свободные полицейские к девяти часам вечера собирались в участок.

Это меня как холодною водой обдало, инда дрожь пробежала по телу. А что, как и в самом деле, думаю, будет

обход? Ведь меня возьмут, и мне не миновать этапу... Не уйти ли мне поскорее вон из приюта? Да куда идти? Уж поздно; да и в таком одеянии... Подумают — мазурик, и все равно заберут; да и не вытерпишь, смерзнешь. Ну, думаю, будь что будет.

После одиннадцати часов слышу вдруг в столовой, через которую обычно впускают и выпускают ночлежников, голос командует:

— Стой! Не все ходите: двое городовых с дворниками останьтесь тут и никого не выпускать вон; двое встанут там у лестницы, чтобы не давать переходить ночлежникам сверху вниз и не пропускать также наверх; а остальные пойдем со мной: начнем сперва снизу.

Взошли к нам, и голос опять скомандовал:

— Эй, молодцы, вставайте-ка! Подымайтесь!

Поднял я голову и вижу, это помощник пристава, а мимо меня прошли околодочный и до десятка городовых. Прошли первую нашу палату и спустились вниз; на некоторое время все смолкло; потом, вижу, снизу начинают городовые кое-кого, по одному и по два, провожать в столовую. Это те, у которых совсем не оказалось вида или есть вид, да просрочен.

Я сел на нары, перекрестился и дожидаюсь своей участи. В это время подходит ко мне мальчуган лет четырнадцати и спрашивает:

— А что, дядя, у тебя есть паспорт?

— Есть, — говорю, — да просрочен.

— Так ты, — говорит, — поди ко мне; у меня под койкой доска вынимается, — туда можно залезть под нары, а я опять лягу на свое место и никому невдогад будет, что там есть человек: я прошлый обход так спас одного.

Я было обрадовался, что могу спастись от обхода, но потом раздумал: а что если кто-нибудь увидит да докажет или сама полиция каким-нибудь образом догадается? Тогда мне еще хуже будет.

— Нет, — говорю мальчугану, — спасибо, я не пойду.

— Что же, тебе гореть[1], что ли, хочется?

---

[1] Гореть — быть арестованным. — *Здесь и далее примеч. Н. С. Лескова.*

— Ничего, — говорю, — я не пойду.

— Ты дурак, — сказал мальчик, — либо сам в «спиридоны» хочешь, — и отошел от меня.

«Спиридонами-поворотами» называют тех, которых высылают без осуждения за неисправность в бумагах, и прозвали их так потому, что их ушлют, а они назад возвращаются.

В полчаса снизу в столовую наводили много беспаспортных. Полиция перебралась к нам наверх и по порядку пошла осматривать паспорта, по одну сторону нар — помощник, а по другую — околодочный. Дошла очередь до меня. На нашей стороне осматривал околодочный.

— Документ? — обратился он ко мне.

Я подал ему паспорт и отсрочку.

— Февральская, — говорит он помощнику, — двадцать шестого.

Помощник обернулся.

— Отсрочка?

— Да, отсрочка.

— Взять.

— Ваше высокоблагородие! — взмолился я. — Я завтра, ей-богу, сам непременно добровольно отправлюсь на родину... оставьте меня, ради бога.

— Ну, завтра там, в участке, скажешь, и разберем, а теперь, некогда тут... отправляйся. Попал в «спиридоны»!

Городовой проводил меня в столовую. Там не долго с нами канителились: поставили по два в ряд, пересчитали, окружили городовыми и дворниками и повели в участок.

Когда нас привели в участок, то комната, в которой помещается так называемый арестантский стол, была уже полна разного народа: тут были мужчины и женщины, захваченные в другом приюте и в Вяземском доме. Все это были «спиридоны», беднота и такая же рвань, как и я; казалось, были даже еще и хуже меня. Некоторые были выпивши. Шум, смех, ругань заглушали и вопросы, и ответы. Околодочные кричали: «Тише!» — но их нисколько не слушались. Писцы и околодочные работали, не разгибаясь; по вискам у них тек пот. Я простоял долго сзади,

а потом постарался пробраться ближе к решетке, чтобы меня скорее записали и отослали в арестантскую.

Арестантская была тут же рядом: она довольно высокая, но почти полутемная; дверь с маленьким окошечком выходила на коридор, где дежурили городовые, над дверью был небольшой просвет, в котором становилась лампа, а в противоположной стене, почти под самым потолком, были два маленькие окна с решетками; по стенам прилажены скамейки, а середина совершенно пустая.

Когда я попал в арестантскую, то в ней народу было еще немного и я успел занять место на скамейке; но народ все прибывал и скоро мест не хватило. Не только на скамейках, но и на полу уже нельзя было сесть, а надо было стоять. Шум и гам были несмолкаемые, а от духоты делалось тошно. К счастию, в этой тесноте пришлось быть не особенно долго: часу в третьем нас стали снова вызывать и, перекликав всех (с лишком девяносто человек), вывели на двор, поставили по четыре в ряд, пересчитали и, снова окружив городовыми и дворниками, отправили в часть. Был уже четвертый час ночи, когда нас привели в Спасскую часть и там опять начали вызывать в канцелярию, обыскивать, а потом переправлять в общую арестантскую.

В части арестантская была втрое более, чем в участке, но зато она была набита народом из других участков; нам не хватило места на нарах, и мы начали укладываться кто — под нарами, а кто — в проходах и среди пола. Я выбрал было место себе под нарами, хотел там немного уснуть, но оказалось так сыро и холодно, что, несмотря на сильную усталость, я не мог вылежать и получаса: принужден был вылезти и на корточках уселся около нар. Ночь прошла совершенно без сна. В восьмом часу утра стали выкликать и разводить по участкам: я попал опять на прежнее место.

Некоторые из арестованных оказались старые знакомцы и «спиридоны», уже опытные, а из какого-то участка в подбавку к «спиридонам» привели фортовых[1]: один из них был здоровый, плотный мужчина лет под

[1] Фортовый — мазурик.

тридцать, по фамилии Ки-лев, а другой — лет двадцати — плашкет[1]; оба они одеты были прилично по-русски, как сенновские торговцы.

Ки-лев стал хвастать, что он шестнадцать лет «ходит по музыке»[2], что он сиживал и в предварительной (тюрьме), и в кресте[3], и этапы по разным городам ломал.

К некоторым арестованным стали приходить посетители, приносили пищу, табак и даже водку. Ки-лев воспользовался этим случаем и попросил одного из посетителей притащить ему сороковку. Выпив водку, он опять начал выхваляться и ко всем привязываться.

— Вот как у нас, — говорил он, — мы и под арестом достанем и выпьем. А вы «спиридоны» — рвань, и больше ничего.

— Да, ведь, ты богач. Что про тебя и говорить. Ты, я думаю, карася[4] за голенищем имеешь, — посмеялся какой-то назначенный к высылке.

— Обязательно карася имею. Мы без карася никогда не бываем. На воле всегда финоги[5] водятся и в тюрьму с деньгами идем.

Взошли городовые, околодочный, но Ки-лев не унимался, при них же еще ударил кого-то. Вот тут-то ему и начали насыпать: попало ему и в ухо, и в рыло, и под бока, и нос в кровь разбили, и перевели в одиночную камеру.

Мы сидели очень долго — далеко за полдень — и сильно проголодались.

Часа в три вызвали человек двадцать «спиридонов» и отправили с городовыми в домовую контору за справками.

В домовой конторе нас продержали часа два потому, что некоторые «лишенные столицы» были такие, что не помнили наверное, в котором году они были и прописаны. Особенно долго пришлось конторщикам прокопаться с одним «спиридоном», раньше лишенным столицы и высланным в Мологу.

---

[1] Плашкет — тщедушный, недоросток.
[2] Ходить по музыке — мазурничать.
[3] Крест — новая тюрьма на Выборгской.
[4] Карась — десятирублевый красный билет.
[5] Финоги — вообще кредитные билеты.

— Да ты в котором году спиридонил? — спрашивал его конторщик.

— В восьмидесятом.

Начали перерывать, пересматривать книги — не нашли.

— Ты врешь, ты, верно, здесь не прописывался?

— Прописывался. Я уже восемь раз оборачивался и брал справку, вон из той книжки, кажется... — показывает на одну из лежащих в шкафу книг.

Начали рыться в той книге и дорылись — нашли.

— Э, э, брат, — сказал конторщик, — вон ты какой: ты не восемь раз спиридонил, а больше! Тебя сюда двадцать семь раз приводили справки делать. Вон тут и в книге сколько о тебе «спиридонок»-то (отметок) наставлено.

— Так что ж поделаешь? И еще приведут. Высылают на родину, а я там как кость обглоданная — никого нет, и никому я не нужен, — за неволю опять Спиридону поклониться пойдешь.

— А здесь тебе что уготовано?

— Здесь я сызмальства и все-таки могу хлеб достать.

— Хорош и ты, приятель, — говорит конторщик царскосельскому. — Второй год как выслан, а двадцатую справку о тебе делают.

— Так я разве дальний? Меня вот в понедельник отправят в Царское, а уж во вторник-то я и опять буду здесь Спиридону кланяться.

По окончании справок нас опять привели в участок и опять заперли в арестантскую. Тут мы просидели долго — часов до девяти вечера. В это время всех «спиридонов» вызвали к столу, написали о каждом отношение в сыскное отделение и отправили опять в часть ночевать.

В части арестантская опять была полна народу, опять лечь места не было, и мы вторую ночь провели без сна.

На следующее утро, рано, на пороге нашей камеры, с пачкой бумаг в руках, явился смотритель и закричал:

— Слушать, кого буду вызывать, и отвечать живо, и сказывать каждый свое звание, однофамильцев не путать, особенно Ивановых да Петровых.

После переклички поставили всех «спиридонов» в ряды и сосчитали, а потом стали вызывать на двор.

На дворе снова поставили в ряды: спереди мужчин, а сзади женщин-«спиридонок», и все мы тронулись, окруженные со всех сторон полицейскими, в сыскное отделение. Когда нас вели по улицам, народ останавливался, показывал пальцами. На женщин говорили: «Дамы из помойной ямы». Те хлестко отругивались. Совестно было, страшно, но, по счастию, я не встречал никого знакомых.

Когда же привели в сыскное, то уже справочное отделение, в которое нам следовало прежде всего явиться, было битком набито народом и мы не могли туда взойти и остались на лестнице.

Справочное отделение состояло из двух комнат: в первой из них стоял стол и за столом сидел один чиновник — худощавый, с седыми усами, похожий на военного писаря. Перед ним лежала громадная книга; он вызывал «спиридонов» и записывал в эту книгу.

Между арестованными ему встречалось немало старых знакомых, особенно петербургских, шлиссельбургеких, кронштадтских и других ближних местностей.

Всех записанных «спиридонов» препровождали в смежную комнату, которая вся была заставлена проволочными дугами с адресными листками. Здесь опять сидит чиновник, который спрашивает:

— Как тебя зовут? — а сам в это время все листки перекидывает. «Спиридон» говорит свое имя и звание.

— Под судом был?

— Никак нет-с.

— За кражу судился?

— Нет, не судился.

— В тюрьме сидел?

— Нет, не сиживал.

Чиновник как будто не слышит ответа, тщательно просматривает листки и, вглядываясь в лицо арестованного, продолжает:

— Сколько раз сидел — раз, два?

— Я не сиживал, — повторяет «спиридон».

— Ну, ступай к караульным.

Из справочного отделения нас препроводили в длинный коридор, в который выходило несколько дверей и над одной из них была надпись: «Дежурная комната».

Коридор этот был тоже полон народа, и здесь «спиридоны» смешивались с «фортовыми» и с прочими. Кто мог, уселся на скамейке, кто на подоконнике, кто на корточках прижался к стенке на полу, а большая часть стояли. «Фортовые» и здесь возобладали на все лучшее, а «спиридонам» досталось хуже.

В левом конце этого коридора была комната, разделенная решеткою; за этою решеткой сидело несколько чиновников-писцов, и один из них вызывал нас. Когда дошла очередь до меня, то он сделал какую-то пометку в бумагах и приказал отправить в следующую комнату.

Это была арестантская, куда сажали приводимых в сыскное арестантов для наложения о них резолюции. Она разделялась на три части: сначала шла маленькая прихожая, налево — небольшое отделение для женщин, а прямо — для мужчин.

Тут тоже было достаточно людей, но здесь были уже не одни оборванцы, а и довольно чисто одетые мошенники. Эти пили чай и закусывали: это все были «фортовые». Между ними были очень бойкие, которые хвастались своим знанием.

Один молоденький говорил:

— Я уже теперь вот шестой раз здесь, а как прошлый раз был, так ко мне сам Путилин подходил с своею лаской и говорит: «Ты признайся, Павлуша, откровенно: кто с тобою на этом деле был?» — «Право, — я говорю, — не знаю, вот бог — не знаю». — «Да врешь, что не знаешь. Неужели ты с незнакомым так и пошел на дело?» — «Да, — я говорю, — с незнакомым пошел». — «Да как же так? Ну, расскажи еще раз». Несколько раз заставлял меня рассказывать, думал, что я собьюсь. А вот, я говорю, лежу я на горячем поле[1], подходят ко мне двое. «Что ты, — говорят, — мальчик, лежишь? Пойдем с нами в портерную». Я говорю: «Денег нет». Они говорят: «Пойдем, мы с тебя денег не спросим — нам одним скучно». Ну, я говорю,

---

[1] Горячее поле — у Московской заставы.

я и пошел с ними. Они там потребовали сразу полдюжины; это выпили — еще потребовали. Я и опьянел. Потом они и говорят: «Мы видим, что ты фортовой, — хочешь с нами идти на дело?» Я говорю: «Куда?» — «Да уж пойдем, дело хорошее, по катиньке[1] заработаем, а то, может, и больше». Я сперва было не хотел идти, а потом побоялся, думаю, теперь уж темно стало, а я выпивши, так они меня, пожалуй, вздуют, — ну, я и согласился. Путилин говорит: «Ты все врешь, Павлуша, — я так, хотел тебя пожалеть; думал, что ты покажешь, с кем был, так я бы тебя и освободил, чтобы тебе, молоденькому мальчишке, в неволе не сидеть, а ты вот не хочешь признаться; так я же тебя теперь заморю и в предварительную не отправлю, а здесь заморю». Сказал это, да так и ушел. А я думаю: «Нако гвоздь тебе, выкуси, а я не выдам товарищей».

— А где ты сгорел[2]? — спрашивает его другой.

— В Лесном. Мы с Митькой Щукой да с Хрипатым были. Я им один узел навязал — передал; они снесли за дорогу, а меня в домухе-то[3] и остремили[4]. Они увидели, что стрема, — ну и лататы[5].

— А что, ты смолки-то[6] запас ли? — в другом углу спрашивает один арестант другого.

— Еще бы! Я целую восьмушку запас. Надо поскорее подушку делать.

И он сейчас же оборвал низки у своих штанов, достал из фуражки иголку с нитками и, усевшись на полу, принялся шить небольшой мешочек.

Когда мешочек был готов, то в него высыпали табак, разровняли по мешочку и начали простегивать, как простегивают подкладку с ватою: потом обмяли эту подушку и, вырвав из середины пальто несколько ваты, вшили табак под подкладку. А другой устроил такую же подушечку и положил ее под след ноги, вместо стельки.

---

[1] Катинька — сторублевый билет.

[2] Сгорел — попался под арест.

[3] Домуха — дом, квартира, домушник — квартирный вор.

[4] Остремили — захватили, стоять на стреме — сторожить, чтобы не захватили.

[5] Лататы — убежать.

[6] Смолка — табак.

— Ну-ко, брат, свернем здесь хорошенькую да посмолим[1], — разговаривают еще двое, — разве что в части еще придется курнуть, а в пересыльной уж, брат, шабаш — дожидайся, когда на этап пойдешь, тогда и покуришь.

— А давай я тебе в пересыльной сколько хочешь смолки, хоть папирос достану! — вмешивается в их разговор вертлявый мальчишка лет тринадцати.

— Ты-то, разумеется, достанешь, тебе как не достать! Ты там «молодкой» станешь, так и чай, и кофей распивать будешь.

Мальчишка понял намек и отошел, но не обиделся. Этим здесь не обижаются.

Несмотря на то что из сыскного несколько партий уже отправляли по разным частям, народу у нас все прибывало, и часа в два дошло до того, что положительно невозможно было переступить с одного места на другое. Несмотря на скверную, холодную погоду, оба окна были настежь раскрыты, но и это мало облегчало воздух. Часа в три отправили нас в Нарвскую часть.

Мы очень обрадовались, что наконец попали на место. Мы знали, что нас более таскать не будут, а отсюда перешлют прямо в пересыльную.

II. ВЫСТУПЛЕНИЕ

Первым делом, по прибытии в Нарвскую часть, мы бросились занимать каждый себе место на нарах, затем попросили помощника смотрителя послать для нас в лавочку, так как мы были очень голодны.

Только что мы успели напиться чаю, как к нам прислали еще партию «спиридонов», а затем через полчаса и еще, и опять все чистые «спиридоны». К вечеру набралось «спиридонов» человек до семидесяти и опять и здесь не хватило места.

Эту ночь, несмотря на страшное множество паразитов, кусавших мое тело, я, однако, уже спал и проснулся

---

[1] Смолить — курить.

только в шесть часов, когда староста стал вызывать желающих посылать в лавку.

Посуды у нас ни у кого своей не было, а казенная посуда состояла только из двух больших дырявых жестяных чайников да двух полуразбитых кружек, но арестанты народ изобретательный: тут место стаканов и кружек заменили разные глиняные горшочки, деревянные чашечки и перерезанные пополам бутылки, причем у верхней части горлышко затыкалось пробкою и она делалась наподобие бокала с ножкою без донца.

После чаю, у кого было запасено, так принялись жечь махорку, кто доставал иголку с нитками и усаживался чиниться. Некоторые же расхаживали взад и вперед по камере и рассказывали друг дружке, где и как их арестовали, а я от нечего делать принялся рассматривать по стенам разные надписи. А у меня над головою сверху значилась следующая надпись: «Петька — дохлый — тенор сидел за побег от могильщиков с Митрофаньевского кладбища»; внизу сделан был рисунок углем; с правой стороны виднеется кладбищенская решетка, за нею памятники и могильные кресты, а в левую сторону — молодой, худощавый парень в рваном пиджаке и опорках, заломя фуражку на затылок, удирает от двух дюжих мужиков в русских кафтанах. «Вот он бежит!» — гласила надпись под рисунком. Немного далее, по той же стене, нарисованы были два конвойные солдата с ружьями, а между ними, в арестантском халате, шагает тоже худощавенький с бородкою арестант. Под этим рисунком было написано: «Сашка лужский, по прозванью Пробка, горит в предварительную в доску»[1]. Затем на другой стене тоже был рисунок: рослый тюремный унтер-офицер одною рукой пригнул голову плашкетика, а другою, сжав кулак, накладывает ему в шею, а внизу было подписано: «Иван Иванович в пересыльной ставит банки». Кроме того, еще на всех стенах было много подписей — кто, когда, сколько времени сидел и куда пошел.

После обеда, в скором времени, в нашу компанию был сделан подбавок, или, как арестанты выражаются, «прислано подаяние», — из сыскного привели еще чело-

[1] В доску — вдосталь, совсем.

век пятнадцать, почему в коридоре на доске обозначили: «Административных 84 человека».

Из всех этих восьмидесяти четырех человек только трое не были уже раньше высылаемы.

Административные арестанты, или «спиридоны», у «фортовых» арестантов не в чести, а в презрении, — это народ все оборванец и не мастера себе помогать по-острожному. Они только и знают: терпеть до места, а оттуда уйти и в тех же лохмотьях назад воротиться. Между всеми нами не было ни одного человека, у которого бы нашлось одежи хоть на один рубль. Кроме нескольких, как-либо случайно зашлявшихся или пропившихся, вроде меня, остальные без исключения были стрелки[1] разных категорий: кто стрелял по лавочкам, кто на стойке, кто на ходу, а кто — сидя на якоре[2].

Большая часть всех «спиридонов», находившихся теперь в арестантской, были люди ближние, а особенно много шлиссельбургских; все это был народ еще молодой, но уже «лишенный столицы». В своем кругу между «спиридонами» они почти все имели уже какие-либо прозвания, например: Барбас, Борзой, Пышка, Танцуй, Книн, Штучка и т. п.; молодые мальчики всегда носили женские клички: их звали Анютка, Акулька, Грушка и т. д. — все женские имена — и заигрывали с ними без всякого стыда и стеснения.

Были здесь двое «фортовых»: один из них красивый и еще очень молодой, армянского типа, а другой лет тридцати, юркий, вроде трактирного полового. Они вели такой разговор:

— Ты, Жук, теперь за что?

— За бочонки[3], в конке свистнул было, да и втрескался.

— Ноньчи не прежнее время; прежде я тоже по ширманам[4] работал, а ноньчи бросил.

— Нет, мы год по конкам не худо работали. Нас ходило постоянно четверо. Бывало, как заметим у кого

---

[1] Стрелок — нищий.

[2] Сидеть на якоре — значит просить сидя, притворяясь калекою.

[3] Бока, бочонки — карманные часы.

[4] Ширман — карман.

лапотошник[1] или бока рыжие[2], так и смотрим, как выходит — и мы за ним, а на платформе-то и притиснешь — срубишь[3], да и в перетырку[4]. Товарищи были ловкие и ходили все чисто.

— Да, вот так-то еще можно бы работать, а то что теперь по ширманам шмонить[5]? Другой двадцать ширманов ошмонает, а что? — двадцать лепней[6] достанешь много что на колесо[7], а я в худой домухе-то все на петуха[8] возьму, а попадись в такту, так и сразу схватишь кусок.

Между всеми происходившими тут разговорами я только помню один разговор, который не относился ни к разным мазурницким проделкам, ни к арестантским неприличным выходкам.

Разговаривал худой старик с книжником. Оба были «спиридоны». Разговаривали они о книгах, о разных сочинениях, и старик выказывал большое знание русских книг. Я долго прислушивался к их разговору, наконец, и сам вступил в него. Потолковав несколько, я заинтересовался узнать, кто мой собеседник.

— Я, батенька мой, — отвечал старик, — называюсь Иван Николаевич. Отец мой был купец, трактирщик, — впрочем, он давно уже умер, а имение наше все пошло с молотка, вот, может быть, знаете теперь гостиницу «Москву», что на углу Невского и Владимирской, это отец мой держал прежде: он и открывал это заведение (тут, я помню, лет тридцать назад не гостиница была, а небольшая харчевня); да, кроме того, у него был еще хороший трактир на Гороховой улице. Отец мой сначала не захотел меня приспосабливать по своей части, а по одиннадцатому году отдал в мальчики на Перинную линию, и я там прожил всего семнадцать лет: пять лет мальчиком, а потом — приказчиком. Потом я связался с кое-какими приятелями, тоже купеческими сынками, стал с ними кутить,

---

[1] Лапотошник — бумажник.
[2] Рыжие — золотые.
[3] Срубить — сорвать, вытащить.
[4] Перетырить — передать.
[5] Шмонить — шарить, искать.
[6] Лепень — платок.
[7] Колесо — рубль.
[8] Петух — пять рублей.

играть и с места свернулся. Отец сперва было повел меня строго, несмотря на то что мне было двадцать семь-восемь лет, он отдавал меня к своим знакомым трактирщикам в половые или на кухню, да разве мог я в этой должности исправиться, я только больше приучался к пьянству; наконец отец отослал меня на Валаам: думал, что там пост и работа меня исправят — не тут-то было, я как оттуда вернулся, так еще больше стал пьянствовать; в это время отец помер, а я стал опускаться все ниже и ниже, попал пьяненький под административное распоряжение, выслали меня на три года в провинцию, а там я себе не мог достать никакого дела; Христовым именем опять сюда повернулся, меня забрали и опять выслали на три года, а я опять воротился, да вот и теперь высылают. Так все и хожу взад да вперед.

— Сколько же вам лет? — спрашиваю я.

— Мне всего еще пятьдесят второй год.

— Вам годов-то еще немного, а вы уж совсем стариком смотрите.

— Что делать, батенька! Все брожу по пересылке; если все сосчитать, я уж под сорок этапов отломал. Тяжело, всего напринимался.

— А там, в своих местах, разве нельзя куда-нибудь пристроиться?

— Пристроиться... Да куда там пристроишься-то? В столице, что ни говори, ведь народ добрей и простодушней: здесь зла долго не помнят и на весь век за быль человека не осуждают, а там одно применование, что вы «подзорный», так вам и конец, — не только что в услужение, а и на двор-то не пустят; да, притом же, куда я высылаюсь, в Бронницы, так там теперь столько наших «спиридонов», что и проходу от них нет. Теперь я уже и не волную себя: я спокойно так порешил, что мне придется помереть на этих этапах.

Ивану Николаевичу сделалось тяжело, и он отошел от меня.

На нарах, в рваном полушубке и валеных сапогах, лежал здоровый, большой мужик; он подозвал меня к себе и говорит:

— Ты, кажется, угличский?

— Да, угличский.

— Вор?

— Нет.

— «Спиридон-поворот»?

— Да, — говорю, — паспорта нет.

— Ну, так будь товарищем, нам с тобой вместе идти.

— А ты тоже угличский?

— Да, я Высоковской волости.

— А за что высылаешься?

— За то же, за что и ты. Ты, в случае, в пересыльной, а особливо в Москве, старайся рядом занимать место, — мы, по крайней мере, присмотрим друг за дружкой.

— У нас взять нечего.

— Положим, что так, да ведь если и хлеб утащат, так не евши насидимся. Будем беречь друг друга.

— Ну ладно.

В день, назначенный для отправки в пересыльную, нас подняли очень рано. Чуть только рассветало, сам смотритель вошел уже со списками и, вызвав человек около шестидесяти, объявил, что мы отправляемся в пересыльную. В пять часов утра уже был готов кипяток и «принесена лавочка», т. е. то, что выписано из лавочки, а вслед за тем раздали нам пайки хлеба и подали обед.

По окончании обеда нас стали вызывать в коридор, где каждому объявляли, куда и на какой срок он высылается. Долго это тянулось.

В пересыльную мы попали хотя еще рано — в восемь часов, — но там уже шла приемка и нам пришлось с полчаса или больше дожидаться под воротами, что нам крайне не нравилось, потому что погода в этот день была и сырая, и холодная, а одежда на всех на нас была так худа и легка, что если с семи человек снять да на одного одеть, так и то нельзя было согреться. Но тут все-таки все были смирны, никто не смел уже не только возвышать голос, но и разговаривать, потому что все понимали, что попали в ежовые рукавицы.

Когда нас ввели наверх в коридор, где помещается приемный и отпускной стол, то писарь прежде всего заявил:

— Слушай! Кого буду вызывать — откликаться живо и говорить, куда высылается.

А Иван Иванович, старший надзиратель, сказал:

— Если у кого есть деньги больше двадцати копеек, то сдавать сейчас же, когда вызовут, а то после не пенять — найдут, так отберу и спущу в кружку без всякого помилования.

После вызова сейчас же начинался обыск и обыскивали очень строго, — даже за ушами и в волосах смотрели; но все-таки «фортовые» арестанты умели перехитрить надзирателей и, у кого были деньги и табак, все ловко прятали.

По обыске в смежной комнате цейхгаузный надзиратель осматривал имеющиеся вещи и выдавал казенную одежду, состоящую из серого халата, пары толстого белья и босовиков; тут же, за спиной надзирателя, шло переодевание и выгрузка у кого что было зашито или припрятано.

Когда все переоделись, то нас засадили в одну камеру и заперли.

В петербургской пересыльной содержаться довольно сносно, хотя спали мы вповалку и без подстилки; но так как мы уже одели стираное казенное белье и, по большей части, новые и полные халаты, то нам было не холодно. Притом же и пища тут очень порядочная и в достатке, но чем особенно арестанты остаются довольны, так это тем, что камеры ни днем ни ночью не запираются и можно походить по коридору.

«Кандальщики» и разные должностные лица из арестантов, как то: камерщики, коридорщики, стоповщики, банщики, повара и проч. — это здешняя аристократия, не то что мы, «спиридоны». Они настоящие острожники и смотрят на «спиридонов» свысока. Они получают ежедневно подаяние булками, сайками и т. п., и такого подаяния у них всегда много накопляется, и они его нам не дают, а продают. Точно так же они продают и хлеб, который у них остается. Иногда же бывает «общее подаяние». Это раздают на всех вообще, и тогда достается что-нибудь и «спиридонам».

Едва только успели, по окончании обеда, отпереть нашу камеру, как к нам являются два барышника.

— Ну, налетай, налетай! Кому надо булок? Мягкие булки.

Вслед за этими вошли еще трое и стали спрашивать:

— А нет ли у кого, ребята, смолки? Ну, налетай на пискарик[1].

Смолку, или табак, если кто ухитрится пронесть, продают очень дорого, но не сами из своих рук (потому что отнимут), а сдают на комиссию в майдан или майданщику[2]. Сам же майданщик держал табак двух сортов: «кандальщикам» и «фортовым» как людям более почетным, и денежным, он давал чистую махорку, а для «спиридонов» перемешивал ее с еловою корой и с вениковыми листьями и продавал очень дорого: на пять копеек он давал махорки не более как на две папиросы, и то очень маленькие. Считали, что майданщик выручал за осьмушку махорки более двух рублей.

Опытным арестантам теперешние тюремные порядки не нравятся, и они с сожалением вспоминали о том времени, когда тут ходили все в своем платье, проносили с собой деньги и торговали своими вещами, играли в карты и в кости. Теперь ничего этого нельзя.

За все время пребывания моего в пересыльной я не видал ни смотрителя, ни других служащих тут чиновников, но старшие и младшие надзиратели смотрят постоянно: все они народ рослый, здоровый, большею частью из фельдфебелей, нисколько не церемонятся и нередко производят собственноручную расправу, а потому арестанты их очень боятся.

Обедают арестанты в коридоре, где к наружной стене приделаны столы на петлях, которые по окончании обеда опускаются вниз. Обед состоит из двух кушаньев: суп, щи или горох, а в воскресенье лапша и крутая каша; а на ужин варится: один день — гречневая, а другой — «пшенная размазня», и все это довольно вкусно и сытно.

---

[1] Пискарь — пятак.

[2] Майданщик — это то же, что маркитант в войсках; у него имеется все потребное для арестанта — дозволенное и недозволенное; они устраивают тоже разные игры, делая при этом сбор за кости или за карты. За передачу майдана одним лицом другому платят отсталые или выходные деньги.

Наконец наступил день, что начали собирать к отправке на два этапа: прежде царскосельских и колпинских, а потом по Шлиссельбургскому, Ладожскому, Олонецкому и Архангельскому трактам. Шлиссельбургских «спиридонов» было так много, что хотя и набран был полный комплект (пеший конвой по этому тракту более шестидесяти человек не берет), но добрая половина из них осталась еще в пересыльной дожидать следующего этапа (за это время выступившие дойдут и, может быть, уже опять воротятся). Царскосельским и колпинским не дали никому казенной одежды, потому что им переходу предстояло только до вокзала, а там их отвезут по чугунке; но зато шлиссельбургские и ладожские почти все побрали полняки (т. е. полный комплект одежды и обуви) и сейчас же стали рассчитывать, сколько они выручат за продажу этой самой одежды, когда, выйдя на волю в Шлиссельбурге, опять возвратятся назад в Петербург.

— Ведь нас там, — говорили они, — совсем не держат. Где и держать-то? Вот во вторник в 12 часов нас приведут в полицию, а оттуда сейчас в управу (мещанскую), а управа сряду и отпускает, и одежи не отбирает. Наши так и отписали в губернское управление, что управа не может отбирать у нас одежду, потому что нельзя, чтобы по городу голые заходили. Зазор будет. К нам ведь шлют много панельных барышень (т. е. гулящих женщин). Нельзя же заставить их голым телом светить.

Наконец, всех ближних «спиридонов» отправили, и во вторник, после обеда, пришел надзиратель и громко закричал:

— Кто по Московскому тракту, выходи на коридор и слушай! — И вывалили мы все дальние «спиридоны» на коридор: всех оказалось около трехсот человек. Это шел так называемый прямой этап, с которым следовали только те арестанты, что высылаются или в города, лежащие на пути по тракту, как то: Вышний Волочек, Тверь, Клин, или кто до Москвы и дальше. Вызов начался с тех, которые идут еще за Москву; в число этих попал и я. Следующие в один город стали подбираться партиями; я пристал к углицким.

Кандальщики (у нас их было двое: один — чухонец старик, не умевший слова сказать по-русски, осужденный за грабеж с убийством в каторгу навечно, а другой — колпинский красивый, молодой парень, осужденный тоже за грабеж) и общественники (так называются те, от которых отказывается общество и они отсылаются на поселение) расположились в переднем углу: у них оказались полные мешки калачей и саек, чай и сахар, и они после ужина устроили тут себе пирушку (только без выпивки) и держались особняком, а молодой колпинец, натянув на выбритую сторону головы красиво вышитую ермолку и опоясавшись широким вышитым кушаком, к которому привязываются кандалы, старался показать себя тюремным аристократом.

Плохо мне поспалось последнюю ночь; сколько разных дум приходило мне в это время в голову; вспоминалось мне и хорошо прожитое время, и являлось сожаление, зачем я опустился и вот иду по этапу, куда-то домой к отцам, а нет у меня ни дома, ни отцов, и что я там буду делать? Чем жить? Зачем я туда протащусь, ведь у меня там никого и ничего нет: ни родных, ни знакомых, ни кола, ни двора?

В среду, 30 марта, часов в 8 утра, по обыкновению, пришел фельдшер с надзирателем (фельдшер в пересыльной ходит ежедневно), спросил, все ли здоровы. Затем нам выдали по два пайка хлеба (пайки в дорогу выдаются более обыкновенных) и по селедке, а в половине девятого дали нам обед, а после обеда нас вызвали всех в коридор и оттуда уже пропускали на двор. На дворе мы дожидались отправки до 11 часов.

Перед самою отправкой пришел конвойный офицер и вслед за ним молодой человек, по-видимому, из купеческого сословия, который попросил позволить ему раздать нам денежное подаяние, на что офицер охотно согласился. Нас вывели на передний двор и поставили по порядку: впереди были поставлены два кандальщика, за ними по две пары закованных в наручни, а затем шли незакованные по четыре в ряд, в хвосте же партии на ломовые подводы поместили женщин и навалили арестантские узелки и котомки, а у ворот в наемную карету

посадили двоих ссыльных из привилегированного сословия. Когда таким порядком партия была расположена, то молодой человек, начиная с кандальщиков, стал обходить и раздавать всем подаяние: кандальщики и находящиеся в наручнях получали больше, а нам он давал — кому по десяти, а кому и по пяти копеек. Когда дележка была окончена, то офицер скомандовал:

— Конвойные, направо, налево по местам! Сабли вон! Марш!

Ворота на Демидов переулок отворились, и партия тронулась в ход.

Около ворот и на другой стороне переулка стояли с узелками родственники и знакомые, провожающие арестантов, но им тут никому не было разрешено ни сделать передачи, ни переговорить что-либо, и они должны были для этого провожать партию до вокзала.

Дорогою до вокзала все шли ровно и спокойно; масса публики во всех местах останавливалась, смотрела и, как это и всегда бывает, делала какие-либо замечания на наш счет (на Банковской линии я встретил знакомого книгопродавца Лепехина, но, конечно, от стыда постарался отклониться от его взгляда). Некоторые из прохожих хотели было нам сделать подаяние, но их до этого не допускали.

На дворе вокзала Николаевской железной дороги, когда мы остановились в ожидании посадки в вагоны, нам тоже было роздано подаяние тремя женщинами; две из них, кажется, были барыни, а третья — купчиха-староверка, которая, как говорят, не пропускает ни одного этапа, чтобы не раздать всем подаяние, затем я уже не знаю, какие именно деньги — подаянные ли, или, как некоторые говорили, приварочные, раздавал конвойный унтер-офицер по пятнадцати копеек на двоих, а в заключение всего этого из какой-то русской булочной оделили нас по булке. Я, по совести сказать, не имея ни копейки денег, был очень обрадован щедротами этих добрых людей: я знал, что на эти деньги могу и дорогою, и в Москве чайку попить, табаку покурить и письмо послать.

На платформе, на далеком расстоянии, стояли пришедшие провожать, но их и тут не пустили к нам: дозво-

лено было допустить родственников только к привилегированным, а другие должны были дожидаться до тех пор, пока нас усадили и перевезли на некоторое время в конец двора на запасный путь. Наконец, счастливцы дождались этого времени: под окна вагонов (конечно, на почтенном расстоянии) стали подходить их родственники и знакомые, и каждому посылали с конвойным какую-нибудь передачу.

Но вот настал и урочный час. Пассажирский поезд стукнул в наши вагоны, их прицепили, раздались свистки, и мы тронулись в путь к Москве.

Как только мы уселись в вагон, первым желанием у нас явилось, как бы разжиться табаком: товарищ мой, из части, знал, что этим можно разжиться у конвойных, и, улучив минуту, подошел к одному из них с вопросом: нет ли у него продажной восьмушечки? Тот ему ответил, что сейчас нельзя, а когда поезд будет на ходу, то он ему и даст, и таким манером мы на первой же станции за 15 коп. приобрели восьмушку махорки.

— А чайку можно будет у вас напиться? — спросил я того же конвойного.

— Будет и чай, — отвечал он, — только раньше Любани заваривать не будем.

— Ну, подождем.

Первые станции в вагоне было тихо; все как будто немножко пригрустнули; но потом мало-помалу разговоры пошли пооживленнее, а особенно когда отвели душу чайком у конвойных по пятачку с человека, то многие уже и забыли свою грусть-тоску: одни начали шутить и подсмеиваться над своим положением, — представляли, как они придут домой и что скажут, а другие песни запели. Одним словом, сутки в вагоне для нас были самым привольным временем: кури сколько хочешь, пой песни, разговаривай — как знаешь, на чай только пятачки припасай, конвойные рады стараться; да и за другим за чем-либо, если б вздумалось, можешь послать, лишь денег не жалей. Никто не стеснялся тем, что было очень тесно, — спать совсем негде было, всем чувствовалось тут вольготнее, чем в какой-либо тюрьме, а просидевшие долгое время

под арестом и отправляющиеся на свободу считали это путешествие праздничным.

На другой день ровно в час мы прибыли в московский вокзал. Простояли мы с полчаса у платформы, затем нас стали выводить из вагонов прямо на двор. Здесь нас встретили московские конвойные с запасом своих наручней и с подводами. Те же, кажется, русские люди, а показались они нам суровее, так что мы все о своих петербургских тюремщиках вспомнили. Перековали нас всех, строго и всё дерзко и громко на нас покрикивая, и потом повели по московским улицам в так называемую Централку, или, форменно, в Московскую центральную пересыльную тюрьму.

Шли мы спотыкаючись и заплетая ногами, и были все печальны и унылы, как точно достигли будто страшного горя, и это было не без причины. Слухи ходили, что будто во всей России нет жестче порядков, как в этой московской тюрьме, и побывавшие здесь «фортовые», насупясь, говорили, что «тут ад».

— Чем же тут хуже? — добивались «спиридоны».

Но «фортовые» нас пространным разъяснением не потешали, а кратко и мрачно отвечали:

— Увидите.

Старичок, петербургский книжник, вздыхал, крестился и, вздыхая, поминал Петербург добром и приводил из какой-то книги, что «нет нигде супротив Москвы безжалостнее».

А вот и *централка*!

III. МОСКОВСКИЙ ЗАМОК

Когда нас подводили к Центральной пересыльной тюрьме, мне вспомнилась старинная заунывная арестантская песня:

Меж Бутырской и Тверскою.
Там стоят четыре башни,
Посередке божий храм.
За стенами нас не видно.
Каковы мы здесь живем.

И действительно, по углам централки (как называют арестанты) стоят четыре огромные круглые башни с маленькими окошечками и, кроме того, еще две такие башни около ворот; между башен идет каменная высокая ограда, а в середине этого находится громадный четырехугольный замок. Взойдя в первые, глухие ворота этого здания, мы очутились на небольшой площадке, с правой стороны которой находится тюремная канцелярия, а с левой — караульный дом.

Пройдя эту площадку, мы взошли в мрачное здание со сводами; в этом здании на левой стороне находится небольшое углубление наподобие алтаря и в нем помещается большое Распятие; тут же направо под окнами стоит большой стол. В этом помещении совершаются приемка и отправка арестантов, а также выдача им писем, посылок и разных справок. Когда нас ввели в это помещение, то, прежде всего, расковали, потом, перекликав, проверили казенные вещи и затем уже начали обыскивать. Приемка продолжалась не особенно долго, и нас повели в следующие ворота в самый замок по отделениям; у ворот доктор спрашивал, нет ли больных. Кандальщики и общественники от нас были отделены, а пересыльные «спиридоны» пошли на особый коридор.

Когда нас пропустили на коридор, то привратник крикнул:

— Парашечник[1], принимай! — И черный, усатый парашечник, по имени Качуй, начал нас распихивать по номерам, но, прежде всего, по-московски, спрашивал у каждого: «Давай за парашку».

Надо было давать ему три копейки или пятачок. Кто имел и давал, того он клал на койку, а кто говорил, что у него нет за парашку, тот получал крепкое слово и должен был сидеть и лежать на полу.

---

[1] Парашечник — от слова «парашка», лохань, которая в запертые камеры ставится на ночь для необходимости; убирающие камеру и выносящие эту парашку называются парашечниками. Здесь же парашечники в настоящее время не что иное, как помощники старосты, которые размещают прибывающих, наряжают на работу, следят за чистотой в камерах и на коридоре, раздают хлеб, обед и т. п.

У меня денег не было, и я остался без места; но этим московский прием не кончился; не успели мы раздеться, как тот же Качуй приходит и уже наряжает меня воду качать.

— Дайте отдохнуть, — говорю, — я сейчас только с этапу пришел.

— Ну, не разговаривай! За парашку не отдал, а на работу не хочешь идти.

— Да у меня, — говорю, — вот только и есть, что на чай: я хочу у старосты чайку попить.

— Ну, это другое дело. Если будешь за чай платить, то останься.

Минут через пять после этого стриженый, почти полунагой арестантик бегал по камерам и кричал:

— Кто чай пить хочет? Пожалуйте к старосте. За три копейки пей сколько хочешь.

Я отправился в смежную камеру, где помещался староста.

Там около двух коек были помещены три скамейки, на которых уже сидело человек до пятнадцати; на койках же стояли два большие жестяные чайника, ведро с кипятком и штук до двадцати кружек; а через проход, на Старостиной койке, стояли корзинка с баранками, деревянная чашка с астраханскими селедками, нарезанными небольшими кусками, и ящик с папиросами — все это к услугам желающих.

Сам староста был еще молодой человек высокого роста, очень развязный, но вместе с тем и солидный. Фамилия его была немецкая, а величали его постоянно Николай Иванович. Говорили, будто он пришел в тюрьму почти что голый за бродяжество и все давал о себе разные показания, которые не подтверждались; а тем временем за его развязность, представительность и аккуратность его сделали старостою; тут он стал хорошо торговать и, нажив порядочные деньги, соскучился и показал правду, что он сын австрийского купца. Это показание, по справкам, будто подтвердилось, и он ждет скорого освобождения.

Рассказывают, будто одно лицо спросило его:

— Для чего ты раньше так не показал?

Он отвечал откровенно и правдиво, что был совершенно беден и стыдился явиться бедняком на свою родину, а теперь в тюрьме поправил состояние, и когда есть с чем домой показаться, он открыл о себе правду.

Отдав старосте три копейки, я получил от него два куска пиленого сахару и мог садиться и брать кружку чаю, или, вернее сказать, цикорию, перемешанного с чаем из винных ягод. Напившись чаю, я пошел приобретать себе ложку; в Московской централке для пересыльных ложек не полагается; каждый должен иметь собственную ложку, иначе может без обеда остаться. Я купил себе ложку за две копейки.

Москва уже дала себя чувствовать, но страх рассеивался, и гнетущее впечатление ослабевало: чувствовалось, что не столько здесь ужасу, сколько за всё и на все стороны надо дать и старанья ожидать.

По камерам бродили разные барышники из арестантов, предлагая кто что попало, а всего больше махорку, по шести копеек за восьмушку. В некоторых местах игра в карты и под ручку на орла и решетку по копейке и по две, а в большой камере, где помещался староста, играли в штосс и еще в какую-то незнакомую мне игру; здесь играли уже в большую: на кону лежали кредитные билеты, а у дверей камеры на коридоре стоял один на стреме, и если шел кто из надзирателей, то он сейчас же кричал в дверь условное: «Двадцать шесть»[1].

В семь часов прозвонил звонок, закричали на поверку, и живо все, повысыпав из камер, начали становиться по два в ряд на коридоре. Когда все встали, то старший парашечник и староста обошли ряды и проверили, все ли стоят в затылок. Когда же они стали на место, то Качуй крикнул:

— Смотрите, ребята, сегодня Ка-ин пойдет, чтоб было тихо, а то попадет.

Сначала все и было тихо, но потом мало-помалу начали жужжать, как мухи, а затем уж все это слилось в общий говор. Но вот за решеткою дежурный закричал:

---

[1] Двадцать шесть — было условлено, — значит остерегись, кто-нибудь идет.

— Сми-р-но! Без разговоров!

Вслед за ним повторил староста, и в коридоре сделалось так тихо, что можно было слышать, как муха летит.

Прежде всего, пришел старший надзиратель (Лаврентьев), или, как его тут называют, «фельдфебель», ловко отмахивая правою рукой по две пары. Поверив наше отделение, он отправился в следующее, откуда также раздалось: «Смирно!»

— Не расходиться! — вслед за его уходом закричал староста, и мы остались на местах.

Прошло времени минут пять, как продолжалась тишина, а потом опять пошло жужжанье и опять пошел общий говор, и довольно громкий. Так мы стояли около получаса, но потом снова раздалось: «Смирно!»

Снова староста повторил: «Без разговоров!» — и снова тишина.

На этот раз по коридору так же быстро зашагал молодой, высокий помощник (смотрителя) с суровым и бесстрастным выражением лица, лишенного всякой растительности, и физиономией, смахивающею на татарскую. Это был — Ка-ин; он ходил один, никого с собою не брал, но и без конвоя арестанты его больше всех боялись; хотя на самом деле он был справедливее и внимательнее прочих помощников, только внимательность его была грубая и резкая. Он нередко в обращении с арестантами употреблял увесистое русское словечко и показывал кулаки, а то случалось, что не ограничивался тем, что показывал, а и смазывал... или, сняв с себя шашку, дул ремнем. Но зато кто обращался к нему с просьбою или с жалобою, тот непременно получал у него удовлетворение скорее, чем у других.

Раз случилось во время его проверки, что безрукий старик из нашей камеры заявил, что у него украли кошелек с двумя рублями.

— Разыскать! — обратился Ка-ин к старосте. — Сейчас же разыскать! Пока я обойду отделения, чтоб было найдено, а то я сам всех обыщу и все перерою.

Староста, конечно, побоялся этого рытья, потому что у него более, чем у каждого, можно было найти недозво-

ленного, и, по уходе Ка-ина, спросил одного арестанта, по прозванию Балда:

— Это твое дело — больше некому: чтоб деньги сейчас были здесь.

Тот начал было креститься, что он не брал денег, но староста ему не поверил и послал Балду искать денег.

Через минуту Балда вышел с подметалом[1], и последний нес в руках кошелек и объявил, что он его поднял у старика под койкой. Староста взял кошелек себе на сохранение.

Другой раз, в поверку того же Ка-ина, один древний еврей, выходивший на поверку постоянно в пальто, шубе, шляпе и с чемоданом, заявил, что у него украли калоши:

— Разыскать! — закричал было Ка-ин, но тут ему заметили, что у еврея пропажа случилась неделю тому назад.

— Как, старый черт, — сказал Ка-ин, — неделя назад, как пропали у тебя калоши, а ты сегодня их спрашиваешь? Что ж ты тогда мне не сказал?

— Да тогда, ваше благородие, шабаш был, — отвечал еврей, — мне нужно было Богу молиться.

— А, тогда тебе нужно было Богу молиться, а сегодня они, может быть, уже в Саратове.

После поверки нам захотелось поужинать, а так как для пересыльных тут ужина не полагается, то мы вздумали было устроить мурцовку (тюрю) из хлеба, воды и соли, но оказалось, что в Москве и соль на запоре у старосты...

Ох ты, Москва, Москва хлебосольная!

Легли без тюри.

Когда мы улеглись на каменном полу камеры, то клопы положительно так нас обсыпали, что я несколько раз вставал и прямо-таки отряхивался, как собака, но наконец усталость взяла свое, и за полночь я все-таки заснул.

---

[1] Подметало — то же, что в Петербурге камерщик: они не ходят на работу, получают подаяние и раз в неделю могут выписывать из лавочки восьмушку табаку.

Наутро, еще чуть только рассветало, нас разбудили на работу.

Назначение на работу производится чрез парашечников; наприм., дежурный приходит и требует от парашечника нужное число рабочих; тот со жгутиком живо входит в какую-либо камеру и начинает отсчитывать: раз, два, три, пять, десять, пятнадцать, шестнадцать. «Пошел! Выходи! Живо!»

Я в это утро после поверки попал на работу на улицу воду сметать. На работе присутствовал сам Ка-ин; он нас понукал, кричал, ругался, меня называл дармоедом и дал еще две банки в спину за то, что я не успел вовремя подобрать несколько воды и она утекла взад; но после работы он смилостивился, достал свой папиросник и выдал нам всем по папироске, а взойдя в замок, дал по два калача из подаянных.

Около двенадцати часов закричали обедать и все высыпали на коридоры с хлебом и ложками.

Щей было вволю, но каши только хватило по две ложки.

— Нет, здесь в Москве кормят-то не так законно, как у нас, — говорили питерские.

— Да, брат, здесь, в Москве, только с голоду не уморят, а уж досыта не накормят, — подтверждали другие.

Очень сильно жалуются на дележку; и впрямь, когда мы принесли кушанье к себе на отделение, то парашечники действительно сначала отделили несколько баков каши для себя и своих приближенных, а также дворянам и татарам послали, а потом уж, что осталось, начали скупо размеривать и всем остальным, и порции вышли обидные.

Кандальщики мне показались люди лучше, чем сброд, высылаемый административно и называемый «спиридонами». Особенно один из кандальщиков — поляк или латыш — показался мне хорошим человеком. Он служил прежде в солдатах, а впоследствии жил дома и занимался бондарным мастерством. Будучи в нетрезвом виде, он рассердился на полицейского надзирателя, взыскивавшего с него что-то, по его мнению, не по закону, пришел в исступление и ударил его ножом в бок так сильно, что тот

мог прожить только шесть часов после этого удара. За это преступление его судили военным судом и он был приговорен к расстрелянию; но виленский генерал-губернатор смягчил ему наказание и смертную казнь заменил пятнадцатилетнею каторжною работой. Теперь он о себе не тужит, он надеется на Сахалине найти по своему мастерству довольно работы, но очень сожалеет о детях, которых у него осталось шесть человек и все мал-мала меньше.

— Бедняжки! — говорит. — Я там в последнее время дом строил, да не успел его отделать: земли не было насыпано на потолке и под пол, так вот жена пишет, что они этой зимой и ноги поморозили, — теперь двое больны... А что, вы не знаете, — вдруг спрашивает он меня, — что, в Петербурге не слышно насчет милостивого манифеста?

— Нет, я ничего не слыхал.

Все долгостроечные арестанты постоянно выдумывают какое-нибудь событие и ждут милостивого манифеста.

Вообще кандальщики более серьезны, сосредоточенны и обходительны с посторонними, а между собою дружны и не любят заводить ссор из-за пустого, как «спиридоны». Они тоже не пристают к начальству из-за каких-либо мелочей, но зато не терпят и не прощают фискальства. Доносчиков они строго наказывают.

Кандальщики находились от нас совсем в противоположной стороне замка; им редко приходилось видеться с другими арестантами.

Над нашим отделением находилось женское отделение, а в верхнем этаже отделение ссыльных. Эти два отделения в хорошую погоду также выходят на двор для прогулки, и здесь молодые арестантки хотя и в казенных халатах и платьях, но стараются также пококетничать, — они, идучи гулять, непременно умоются и причешут свои волосы, а которые из веселых барышень, те даже себе под платье сзади чего-нибудь подсунут, так что у них подобно турнюра выходит. И затем они уже гуляют по две и по три, развязно взявшись под ручки, и сносятся пантомимами с находящимися в верхнем этаже мужчинами.

Всех арестованных в Центральной пересыльной находилось около двух с половиной тысяч.

Дрожь пробегает по телу, когда я вспоминаю о сидении в Московской централке 13 дней. Тринадцать суток пробыть в такой комнате, где постоянно находится шестьдесят человек и более народу, а народ все грязный и рваный, есть которые совсем без рубашек, и все они шумят, галдят, спорят, ругаются, а ночью спать, или, вернее, вертеться на холодном каменном полу, потому что бесчисленное множество различных паразитов и тут не дают покою... И вдобавок между всем этим народом не встретил я ни одного человека, с которым бы можно было хоть о чем-нибудь путном разговориться. Все разговоры только о каких-нибудь кражах, о прошении милостыни, о подсудимостях, о том, в какой тюрьме или в каком замке лучше, а где строже... Напрасно иные люди думают, будто простому человеку протерпеть высылку ничего не значит. Ужасно это тяжело и очень много значит!

Люди, осужденные в арестантские роты и в работы, и те просят и молят, чтобы их не оставляли тут до следующего этапа, а поскорее бы переправляли в место их назначения. Вот как это легко! Но вот в среду на Вербной неделе наконец нас вызвали на этап.

IV. ДОРОГА

Строго нас конвойные вели по Москве: все до одного почти закованные в наручни, мы шли так тесно, что постоянно наступали друг дружке на ноги, обрывали оборы, пугались, а солдаты на нас только грозно покрикивали. Наконец, после полуторачасовой ходьбы мы добрались до Ярославского вокзала и, пройдя через двор, поместились в двух арестантских вагонах. Тесно было, очень тесно сидеть по три человека на скамейке, тем более еще неудобно, что нас не расковывали, но мы знали, что тут езды нам до Ростова не особенно долго — менее полусуток, а потому и не роптали.

В пять часов утра, на другой день, мы прибыли в Ростов; тут, на вокзале, нас встретили местные конвойные и повели в тюрьму.

Пришел надзиратель Иван Васильевич, и смешно ему стало, что он всех нас знает и его все знают.

— Курите, — говорит, — только поаккуратнее, и сидите смирно.

— Будьте покойны, Иван Васильевич, у нас все ребята смирные: мы все идем домой на волю.

— Так, так. Я знаю. Э, да я вижу — тут все знакомые. Ведь ты, кажется, тут проходил, — обратился он к одному.

— Проходил, Иван Васильевич.

— И ты?

— Так точно.

— И ты?

— И я-с.

— Вон и тот тоже, и тот.

— А меня-то, Го-кова-то, Иван Васильевич, разве не изволили узнать? — выскочил еще один из наших мещан.

— Да как тебя не узнать? Ведь ты, кажется, тут недавно был, по осени?

— Так точно. Я, Иван Васильевич, нонешний год вот уж третий раз взад-вперед спиридонствую.

— Частенько же тебя гоняют из Питера.

Двое суток в Ростове мы немного отдохнули. Впрочем, тут уже стали высказывать предположения о том, что кто будет делать на родине. Одни говорили, что останутся дома и поработают свои крестьянские работы, другие — что уйдут куда-нибудь на заработки, а два крестьянина-огородника говорили, что они и не покажутся в деревню, а сряду, по освобождении из волостного правления, сейчас же опять без паспортов, Христовым именем, снова пойдут в Питер, где теперь за их промысел дорого платят.

— Я, — говорил мой дюжий товарищ, — не пойду и к жене, а вот сдам казенные вещи в волостном правлении, да с богом и марш обратно на Углич; в Угличе немножко подстрелю[1] на Пасху, а там и пойду все проселками по

[1] Подстрелю — посбираю милостыню.

Тихвинскому тракту, этак будет лучше, — не так опасно, на урядников не будешь натыкаться, да и посытнее: большой дорогой хуже идти; там меньше подают.

— А у тебя разве детей нет? — спросил я.

— Четверо.

— Так неужели тебе через два-то года и неохота на детей-то посмотреть?

— Да бог с ними. Как их смотреть-то? Прошедший раз меня как привели, так я пришел к жене посмотреть, а там такая беднота, что глаза бы не глядели. Вот и смотри! Я пошел в волостное, у жены последний целковый взял и стал просить паспорта, а они говорят: отдай прежде долгу двадцать рублей, — а мне где взять? Напился я с досады на женин рубль пьяный, да так больше к жене и не показался, а прямо без паспорта и махнул в Питер. Год десять месяцев Бог миловал — жил и работал, да попался, опять взяли.

— Где же ты там мог жить без паспорта?

— Да на огородах. Там сколько хочешь, столько и проживешь без паспорта. Рядишься понедельно, а хозяева все наши же ближние, так в лицо знают, и паспорт им не надо, не спрашивают... Я бы и еще там прожил, не попался бы, да только пошел в город сапоги покупать, а вместо сапог напился пьяный, да городового обругал, вот меня и забрали.

— А домой денег на паспорт посылал?

— Нет. Сначала-то, как пришел, поработал недели три, так послал десять рублей, думал, что жена вышлет мне паспорт, а она не прислала, я рассердился, больше и не посылал.

— Ну а мы с тобой, Володя, как, — заговорил Го-ков петербургскому ремесленнику, высылаемому уже не в первый раз под надзор полиции в Углич, — тоже как освободимся, так и лататы[1] зададим?

— Обязательно, братец мой! Я как освобожусь из полицейского (управления), так первым долгом одену свой пиджак, сапоги, а это казенное: халат, штаны и коты —

---

[1] Лататы — убежать, уйти.

все продам, а потом вернусь опять к исправнику, возьму переводку в Грузино, да и марш.

— И я с вами, — сказал еще один наш приписной мещанин. — Вот у меня есть немного денег отдать за этап, да на билет. Буду просить у старосты билет: даст, так ладно, а не даст, так я и без билета уйду. В Кронштадте, особенно теперь, летом, можно прожить и так.

— Ну а ты как? — обратился один ко мне. — Тоже, я думаю, в Угличе-то и тебе делать нечего? Тоже, я думаю, и ты в Питер опять махнешь?

— Нет, — я говорю, — будь что будет, хоть с голоду буду помирать, а пока не получу чистый паспорт, не уйду из Углича.

На другой день, около обеда, к нам возвратили одного из сопровождавшихся с нами до Ростова.

— Ты что, брат Гусар, не освободился? — спросили его в одно слово Го-ков с Владимиром.

— Да, братцы, дело-то вот какое, что чуть было не освободился, а то чуть-чуть и совсем не сгорел.

— Как же так?

— А вот так. Прошлый раз, как я отсидел в кресте-то, меня прислали сюда по этапу на три года, — ну, мне, известно, бирки-то[1] не дают. Вот я и пошел без нее пешком. Дай, думаю, пройду на Москву, может, там что и сторгую[2]. Вот, пришел это я в Москву, ночевал там в Хамовниках, на другой день иду, вижу — впереди идет чепчиха[3], вынимает из ширмана[4] шмелюгу[5], что-то смотрит в ней и опять ее в ширман. А у меня денег только семь монеток[6] было. Ах, черт возьми, думаю, постой же, я у тебя с кольца срублю[7]. Стал на нее напирать, напирать понемножку, потом, вижу, тут еще идут навстречу, я, как будто опередить ее, прибавил шагу и в то время, как они стали подходить к ней, я между ей и ими проскочил, а сам — уже готово

---

[1] Бирка — паспорт.
[2] Торговать — фортовать, мазурничать.
[3] Чепчиха — женщина не совсем деревенская.
[4] Ширман — карман.
[5] Шмель, шмелюга — кошелек.
[6] Монетка — копейка.
[7] С кольца срубить — взять сразу.

дело — достал шмелюжку и иду пошибче, так — вперед; а она, проклятая, прошла шагов десять, да трекнулася[1] и за мной — шибче и шибче, и пошла. Идет за мной, ничего не говорит, а так вот рядом и идет. А, дери тя черти, думаю, как тут быть? Тут трактир сейчас: я в трактир — и она за мной. Я свернул папироску, да будто пошел за спичками, отошел немножко, так за стол, а сам в это время и выбросил кошелек под стол. Закурил папироску и пошел вон. Я вон — и она за мной. Только доходим до паука[2], она и заявила: «Вот этот, — говорит, — у меня кошелек вытащил!» Я сначала-то обругал ее: «Ах ты, шлюха, — я говорю, — эдакая! Как ты смеешь? Какой у меня твой кошелек? Где он?» А она, проклятая, одно твердит, что взял, да и кончено. Ну, паук и переправил нас в участок. В участке меня обыскали — кошелька не нашли, а она стоит на своем, что я взял, да и все тут. Спросили меня: «Где живешь?» Я показался было на одного земляка, сказал, что вот там-то живу, думал, что меня освободят, не тут-то было: меня сводили туда, а там, известное дело, не подтвердилось. Меня обратно в участок, составили протокол, я уж тут и показался на братнино имя, а брат в Питере живет, да сказал, что паспорт затерял, что, если им угодно, так могут справку послать на родину. Ну, меня, после протокола, засадили, значит, в часть, а там к мировому; а мировой судья не стал так по протоколу судить, потому что я давал два показания о своей личности. А вот теперь привели к становому; он сперва не рассмотрел было бумаги-то, да и отправил в волостное, — у нас волостное-то тут же, в слободе, — чтобы там освободили меня. Вот, думаю, ладно-то, я и обрадовался, а только всходим в волостное, а оттуда выходят наши деревенские, рядом с деревни, они меня знают; ну, думаю, теперь пропал совсем, уличат, да хорошо, что они не назвали по имени, а только по фамилии, так волостной-то (старшина) и не обратил внимания, — он же у нас недавно в волостных-то сидит и меня не знает, — и хотел было освободить заместо брата, а уж тут бегут от станового, рассмотрели там бумаги-то,

[1] Трекнуться — спохватиться, догадаться.
[2] Паук — городовой и вообще полицейский.

чтобы меня, только волостной удостоверит личность, да и опять в стан, — ну, меня, значит, и удостоверили на братнее имя и опять в стан, а из стана вот сюда. Теперь пойду опять в Москву судиться.

— Так ты так на братнее имя и будешь судиться?

— А то как же? Если бы я на свое-то имя показался, так меня бы мировой не стал судить. Ведь у меня теперь до десятка всех подсудимостей-то. А теперь что же? Теперь мне лафа[1]. Ясных доказательств, что я украл кошелек, нет никаких: кошелька при мне не нашли и свидетелей — тоже нет, так я думаю, мировой оправдает, а если и не оправдает, так меня по первой подсудимости будут судить, много что на полтора, на два месяца осудят, потому у ней в кошельке-то только и было сорок копеек.

— Ты, значит, и опять скоро в Питер?

— Да вот как только отбоярюсь от этого дела, так обязательно опять в Питер. Приходите на Сенную в Осташков[2], там увидимся.

В субботу нам следовало отправляться в Углич. В караульном доме нас обыскали, затем через несколько времени явились старший унтер-офицер и писарь и проверили казенные вещи, а потом уже сдали старшему конвойному. Тот, в свою очередь, приказал прочим конвойным перековать нас всех в наручни, и, когда это было готово, он обратился к нам следующим образом:

— Слушайте, арестанты! Кто будет дорогою шуметь, буянить, не исполнять моих приказаний, того буду бить прикладом, а кто побежит, в того буду стрелять. Ваши порционные деньги у меня, и я буду выдавать вам на каждой станции по десяти копеек. Слышали?

— Слышали, — ответили мы.

— Ну, теперь с богом. Марш! Выходите!

Помолясь на ростовские храмы, мы поплелись в Углич.

От Ростова до Углича восемьдесят четыре версты. В тот день, когда мы выходили, погода была довольно пасмурная, по временам шел дождь, снегу хотя уже и

---

[1] Лафа — свободно.

[2] Осташков — трактир в доме Вяземского.

не было, но на дороге было чрезвычайно грязно. Пройдя порядком в городе, мы за городом стали просить старшего, чтобы нас расковали, потому что некоторые уверяли, будто прежде конвойные их водили незакованных, но старший не согласился.

— Нет, ребята, — сказал он, — быть может, прежде и водили вас незакованными, но тогда не такие большие этапы были, а теперь вас очень много шлют, а нас мало: не просите, вас не раскую.

Я на это не особенно обижался, потому что мне пары не досталось, — я был скован один, — и хотя руки у меня были не свободны, идти не тесно.

Тут, идучи, я заинтересовался следующим разговором двух арестантов. Один был Ч-шин, его пересылали из арестантских рот; он и говорит вместе с ним закованному товарищу, по фамилии Г-фскому:

— Ты живал ли в Петербурге?

А Г-фский отвечал:

— Я там пятнадцать лет выжил.

— То-то мне лицо твое как будто знакомо. А ты где жил?

— Я жил сперва по зеленной части, а потом старшим дворником шесть лет выжил, а после сливочную лавку держал в Павловске. А ты где жил?

— А я по мелочной части — живал и пекарем, и приказчиком был.

— Ну, вот, так и есть: верно, где-нибудь и видались.

— Да и ты мне как будто знаком; ты не судился ли?

— Два раза судился. Я в кресте сидел.

— Ну, вот я там тебя и видел. В восемьдесят шестом году?

— В восемьдесят шестом.

— А теперь-то ты надолго осужден?

— На год. Вот уж теперь третий месяц идет.

— У нас с тобой неподалеку сроки сходятся: мне тоже осталось около года. А ты теперь за что судился?

— Со взломом.

— Один был?

— Нет, нас было трое.

— Тех не поймали?

— Я не выдал.

— А кража большая была?

— Не очень большая, ста на три с половиною, да я попал только с серебряными вещами, всего рублей на семьдесят, а остального не разыскали. Мы шли-то не за тем: думали взять тысяч на тридцать, да не в тот чулан попали.

— Тысяч тридцать?! Вот такой-то кусок поддеть, так можно бы пожить.

— Да ошиблись, — ну, да это еще, может быть, и не уйдет. А если это уйдет, так у меня еще на примете дело есть не хуже.

— Ты меня помани: я чисто работаю.

— А вот как отсидим да выйдем, тогда увидим, может, и поработаем; мне в одно место-то самому и показаться нельзя.

— Где это?

— В селе Павлове.

— У кого ж там?

— У моей тетки.

— Что у нее?

— Деньжищ тысяч двести.

— А верно ли?

— Верно: она после брата полотняный магазин в Гостином дворе, в Питере, продала за полтораста тысяч, да еще деньги были.

— А живет-то она с кем?

— С одною старухой. Только две во всем доме живут.

— А деньги-то неужели дома в чулане держит?

— Дома. Стол у нее есть такой дубовый, вроде письменного, с двух сторон ящики: одни — спереди, а другие — сзади, к стене оборочены. Вот там-то и лежат деньги.

— Да ведь они небось обе никуда не уходят? Значит, надо будет брать за машинку[1]?

— Нет. Можно и так. Только нужно время выбрать. Тетка часто к Борису и Глебу в монастырь ездит. У меня и еще есть два места, где тоже дома денег много. Я тебе расскажу после. Вот, кажется, привал.

---

[1] За машинку — за горло.

Действительно, старший скомандовал на привал, и арестанты начали усаживаться на пригорке и вертеть папиросы.

На другой день Ч-шин с Г-фским опять были закованы вместе и опять всю дорогу толковали о том же. Г-фский рассказывал Ч-шину, какие тут по дороге и в окрестностях находятся села и деревни и, между прочим, показал в левой стороне от большой дороги и то село Павлово, в котором живет его богатая тетка.

Последний этапный дом находится в селе Ильинском, в двадцати пяти верстах от Углича. Здесь его содержит трактирщик и лавочник. У него, сзади его дома, в котором находится трактир и овощная лавка, выстроен для этапа особый флигель, окнами в сад. Чай или кипяток тут уже не подавался, как на прочих этапах, в большом самоваре, а половые прямо приносили из трактира в чайниках; они же ходили для нас и в лавочку.

Вот этим-то случаем и воспользовались арестанты. Они задумали тут выпить на славу. Этому плану еще много пособил тот случай, что половой оказался приятелем Ч-шина, деревня которого находилась только в трех верстах от этого села, и вот, посылая полового за чаем, Ч-шин упросил его принести им водки, обещая при этом ему двугривенный за труд.

Тот от этого не отказался и принес водку в одном из чайников, вместо кипятку. Молодцы выпили по две бутылки, им показалось мало, и они послали полового «принести еще два монаха»[1]. Половой и на этот раз выполнил данное ему поручение. Арестанты напились пьяны, и конвойные не могли надивиться, откуда они взяли водки.

V. РОДНОЙ ГОРОД

На другой день, около часу, мы подходили к Угличу. Страшно сделалось у меня на сердце, точно его в тиски зажало, когда я из-за рыжечника (так называется у нас

---

[1] Монах — подштоф.

сосновый лес, принадлежащий городу) увидал золотые главы Девичьего монастыря. Вот тут я родился, и тут я рос в детстве, а потом я двенадцать лет здесь не бывал, а теперь и прийти не к кому. Никого у меня здесь уже нет... Я взглянул на свой серый халат, на коты и на закованные руки... и заплакал... Вспомнилось мне все прошлое время, и особенно когда я во время войны служил санитаром и другим помогал, а теперь иду отряха-отряхою и не знаю, к кому подойти и где преклонить свою голову... Вот моя родина!.. Будет мне здесь хуже, чем во всем свете.

Но вот мы и в городе. Здесь в полицейском управлении приняли от конвойных наши бумаги, проверили находящиеся на нас казенные вещи и отправили всех нас вниз, в арестантскую.

— Последнее мытарство, — сказал мне Го-ков, — завтра будем свободны.

«Да, — опять подумалось мне, — завтра я освобожусь, но в чем освобожусь, и к кому я пойду, и куда я преклоню голову?»

Давай я опять плакать.

Двадцатого числа апреля, в среду на Страстной неделе, в девять часов утра, нас привели в мещанскую управу.

Пришел староста.

— Этапом пришли? — спросил он.

— Да, этапом, — ответили мы.

— Так. Ну-ка, Го-ков, поди-ка ты сюда, — вызвал он первого Го-кова. — Ты, брат, это который же раз таким манером из Питера поворотом прогуливаешься?

— Виноват. Что брешь делать, — отвечал Го-ков.

— Только для Страстной недели я тебя последний раз приму, а больше принимать не буду. Давай за этап полтину.

— У меня ничего нету.

— Ну, ступай.

Другой оказался из приписных: этот всего только второй раз приходит этапом.

— За этап есть у тебя? — спросил его староста.

— Есть, господин староста, — ответил он, — вот, пожалуйте, да нельзя ли мне взять билет на два месяца?

Я ведь не лишенный столицы, я не из Петербурга, а из Кронштадта пересылаюсь.

— Ну, подходи-ка ты, Свешников.

Я подошел.

— Ты это какой же такой Свешников?

— Я, — говорю, — здешний уроженец; здесь у нас дом был у Девичьего монастыря.

— Ага! Это, значит, ты после Ивана Иваныча потомок?

— Да, я его сын.

— Знал я его. А ты что же это, брат, путешествуешь? Ведь ты, кажется, много лет за паспортом сюда присылал?

— Что ж делать, господин староста, запьянствовал — паспорт просрочил.

— С тебя нужно за одежу пять рублей, да за этап полтину.

— У меня ничего нет.

— Скидывай одежу.

Я снял с себя казенный халат и коты и остался в своей рвани.

— Нет ли там у нас лаптей? — спросил у сторожа староста, увидав меня в лохмотье и босиком.

— Лапти есть, — сказал сторож.

— Ну, так дай ему лапти, босиком теперь холодно.

Я обул лапти на босые ноги.

— Что ж ты теперь будешь здесь делать? — спросил меня староста.

Я не мог и ответить и залился слезами.

— Что он будет делать? — отозвался сидевший с ним старичок из торговцев. — Известно, что все они делают: руку протягивать.

— Нет, — сказал я, — этого я не хочу; я лучше за пятиалтынный в день стану что-нибудь работать, а милостыни просить не хочу.

— Ну, брат, мало ли чего не хочешь! А работы-то здесь про вас таких не заготовлено. Много вас теперь в таком питерском уборе ко дворам жалуете, все у нас ходят по миру.

— Иди с богом, — сказал староста.

Я посмотрел: куда идти?

— А куда хочешь!

Так я очутился на свободе и в родном городе без одежды, без крова, и в кармане у меня был один пятиалтынный экономии от арестантского порциона, а впереди восемь дней праздников... во все эти восемь дней никакой работы не делают и никому люди не нужны, — все едят, пьют да целуются.

Куда подеться и что с собой придумать?

Но деться уже есть куда и у нас в Угличе.

— Ступай в «Батум»! — мне сказали.

— А что это за «Батум»?

— Ночлежный приют.

Пошел я туда, в это «заведение», вроде того, как сенновский «Малинник», только гораздо похуже, и переночевал, а когда ночью заблаговестили к утрени, те из высыльных, которые сюда раньше высланы, стали вставать, и я с ними встал... А больше и сказывать нечего... Началось с этой ночи как раз то самое, что предсказывал мне старичок, сидевший с мещанским старостой...

На этом прерываются записки «лишенного столицы». Все вышеизложенное здесь напечатано с рукописи потерпевшего, которая и остается у меня в подлиннике. Помоему, этот опыт литературного изложения не хуже тех крестьянских этюдов, какие выведены на свет Л. Н. Толстым и И. С. Аксаковым. Здесь тоже, на мой взгляд, есть наблюдательность, последовательность и точность в описании, простота и отсутствие сентиментализма в выражении ощущений и здравый смысл, сообщающий весьма простой и безэффектной картине интерес характерного явления, которое достойно внимания.

В виде эпилога, быть может, стоит сообщить, что описатель этого нового хождения на сих днях (в мае 1889 г.) опять возвратился в столицу уже с законным паспортом, но ему здесь не на что было прописать этот свой паспорт, и он чуть с самого же прихода не ушел опять обратно теми же стопами в угличский «Батум».

К счастию, верно или неверно его заключение, будто «в столице люди добрее и проще», но его здесь во всех его отрепках пожалели несколько более, чем на его родине.

Содержание

Н. И. СВЕШНИКОВ И Н. С. ЛЕСКОВ. СПИРИДОНЫ-ПОВОРОТЫ

Николай Иванович Свешников

ВОСПОМИНАНИЯ ПРОПАЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

Редактор *В. Бойко*
Художественный редактор *А. Балашова*
Технический редактор *О. Стоскова*
Корректор *О. Бубликова*
Компьютерная верстка *А. Деевой*

Подписано в печать 25.12.15 г.
Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$.
Заказ № 1607490.

Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su



Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ООО «Ярославский полиграфический комбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-4224-1139-9

9 785422 411399